

Юрий Дружников

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ



Юрий Дружников

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ

Юрий Дружников

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ
И ДРУГИЕ МИКРОРОМАНЫ

Алматы, 2005

ББК 84Р7-44
Д 76

Д 76 Дружников Ю.

Медовый месяц у прабабушки и другие микророманы. /
Алматы, Издательство «Искандер». – 2005. – 262 с.

ISBN 9965-763-02-X

В новой книге прозы Юрия Ильича Дружникова собраны десять самых коротких в мире романов, претендующих на книгу рекордов Гиннеса. Герои микророманов живущего в Калифорнии русско-американского писателя — россияне и американцы — пытаются найти для себя спасительную нишу в переполненном бедами, враждой и равнодушием современном мире. Одиночка-писатель был инакомыслящим в Советском Союзе, а теперь диссидентствует в Соединенных Штатах, и это интеллектуальная провокация, остроумный вызов, брошенный автором русским и американским критикам. В конце книги читатель найдет любопытное эссе Дружникова о новом жанре «микророман», введенном им в литературу.

ББК 84Р7-44

Д $\frac{4702010201}{00(05)-05}$

ISBN 9965-763-02-X

© Юрий Дружников, 2005
© Искандер (обложка), 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Мой первый читатель	5
Медовый месяц у прабабушки, или Приключения генацвале из Сакраменто	25
Деньги круглые	53
Розовый абажур с трещиной	75
Последний урок.....	97
Кайф в конце командировки.....	115
Лишний персонаж в водевиле	131
Тридцатое февраля	151
Вторая жена Пушкина.....	173
Смерть царя Федора.....	231
<i>Послесловие от автора</i>	250

МОЙ ПЕРВЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ

1

Позвонила незнакомая женщина, судя по голосу, пожилая. По имени себя не назвала, сказала, что ее муж велел со мной встретиться. Я осторожно поинтересовался, кто, собственно, ее муж. Она ответила, что скажет потом. Пригласил ее к себе, но она отказалась: лучше на улице. На другой день мы увиделись на площади Революции возле лестницы, ведущей к ГУМу.

Была она с меня ростом, а я не маленький. Возраст неведом, лицо без краски. Из породы худощавых старух, для которых время остановилось. Под прищуренными бесцветными глазами мешки: может, что с почками.

— Давайте отойдем в сторонку, чтобы не толкали, — предложил я.

— Нет, тут лучше, — твердо возразила она. — В толпе нас не так видно.

Глаза у нее бегали, и я подумал было, что у нее, может, не совсем в норме психика. Но она словно прочитала мою мысль.

— Не бойтесь, я в здоровом уме. Очень даже в здоровом.

— Не сомневаюсь, — я старался ее успокоить. — В чем все-таки дело?

— Муж велел передать вам вот это, — оглянувшись, не следят ли за ней, она протянула сверток. — Конечно, лучше бы это уничтожить от греха подальше. Но он так пожелал. Боюсь я не выполнить последней его воли.

Приняв сверток, я тоже инстинктивно оглянулся.

— Да кто ваш муж-то? И сам он где?

— Умер. Неделю назад.

— Извините... Я знал его?

— Он говорил, вы вместе работали.

— Не сказал, где?

— Как же — в газете. Он был у вас цензором, то есть, я хотела сказать, уполномоченным Главлита.

— Цезарь Матвеич? Боже ты мой! Замечательный был, добрейший человек, — безо всяких колебаний кривил я душой. — Все его любили.

Наверно, в голосе моем было недостаточно искренности.

— Он был абсолютно честный и порядочный, — резко сказала она. — Так получилось, что он попал в эту организацию. Не его вина.

— Конечно, — согласился я. — В общем-то, мы все занимались одним делом. Что в свертке?

— Не знаю, — ответила она. — То есть, что это я несу? Знаю, разумеется: это его, ну, как бы сказать, записки.

— Воспоминания?

— Не совсем. Сперва это был его личный производственный дневник. Но после... После он говорил, что все стало смотреться иначе и что эти записи его реабилитируют перед...

Она смутилась, умолкла.

— Реабилитируют? — переспросил я.

— В общем, чтобы внуки о нем плохо не думали. Поэтому приказал, чтобы вы делали с записками, что захотите. Я была против, у нас ведь дети, у них все благополучно. Мало ли что? Но дети тоже решили, как он... Что вы крутите сверток в руках? Спрячьте в портфель!

Я послушно спрятал. Нам все-таки пришлось отойти в сторону, потому что нас толкали. У музея Ленина мы постояли еще несколько минут. Она спокойно, сказал бы, даже отстраненно (что делало ей честь) поведала о том, как закончил свои дни ее муж.

— Он хорошо умер, быстро...

Я никогда до этого не слышал, чтобы так говорили о близком человеке: «Хорошо умер».

— Как это «хорошо»? — спросил я.

— Тихо. Не мучился, как другие. Сердце — и... Всем бы так... Вы когда это... туда?

— Уехал бы сегодня, да не выпускают.

— Выпустят! — убежденно сказала она.

— Могу я вам позвонить, когда прочитаю?

— Разве у вас имеется наш телефон? — опять встревожилась она.

— Нету, но...

— Ну, — заспешила она, — это ни к чему. Я вам все отдала. Желаю, чтобы у вас получилось, как задумали!

Резко повернувшись, она ушла.

Держась за поручень в вагоне метро, я прикрыл глаза, и передо мной возник Цезарь Матвевич Цукерман. Или Цензор Матвевич, как звала его вся редакция. Еще он был Цензор Цезарь, сокращенно Це-Це. Был также эвфемизм «Заведующий тем, чего нельзя». Некоторые звали его просто Цука. Главный фельетонист Аванесян в узком кругу величал его «наш советский Сахаров».

Цукерман был грузным, неторопливым, непременно учтивым человеком. Напоминал он главбуха. Всегда ходил в черных нарукавниках поверх коричневого пиджака. В волосатых руках держал термос, из которого наливал чай по глотку. Еще помню его раздражающую привычку то и дело подтягивать галстук под свой двойной подбородок, будто он сейчас влезет на трибуну или готовится войти в кабинет к высокому начальству.

— Это он хочет сам себя удушить за содеянное, — ворчал Аванесян, которому доставалось от цензора чаще других.

Честили Цукермана при каждом удобном случае. За глаза, конечно. Обвиняли в том, в чем лично он был виновен ничуть не больше всех нас и многих прочих. Лицом к лицу, однако, весь штат, включая главного редактора и замов (нештатным сотрудникам разговаривать с ним вообще не полагалось), держал с цензором дистанцию. Или цензор держался от нас особняком. Никто не мог поправить его — он поправлял всех.

— Мой дядя самых честных правил, — идя от него по коридору, повторял Аванесян всем встречным и демонстрировал страницы фельетона, перемаранные красным карандашом.

Нельзя сказать, что цензора боялись, — он был исполнитель низшего звена. Ничего разрешить он по статусу своему не мог. Он мог воспрепятствовать. Как от врача-онколога, от него в любой момент можно было ждать роковой неприятности.

С ним редко спорили, ибо шанс доказать что-либо был равен нулю. За ним стояла могучая и таинственная организация, которая называлась Комитетом по охране гостайн в печати. Ведомство это точно знало все, чего нельзя, даже, вероятно, знало то, что можно, и это абсолютное, неизвестно как добытое и кем узаконенное нельзя-ведение, эта невидимая всесильная власть над умами пишущих и читающих, вызывали к представителю данного ведомства почтение. Может, трепет. Может, страх. А скорей всего, то, и другое, и третье, вместе взятое.

Все наличное и все происходящее в мире на языке Цезаря Матвевича называлось «сведениями». Сведения он делил на устные и письменные. Устные он любил, включая анекдоты. Громко и заразительно смеялся, прямо-таки трясясь от смеха и вытирая слезы, что доставля-

ло рассказчику несомненное удовольствие, побуждая вспомнить что-нибудь еще более соленькое, хотя, конечно, в известных пределах допустимости. И — он панически боялся всего, что написано или, тем паче, набрано.

Если возникала опасность, о которой вы не подозревали, рот его суровел, глаза холодели, становились зорче. Он шумно и долго втягивал воздух через ноздри, будто стремился запасть им аж до светлого будущего. Конечно, оно было не за горами, но все же лучше запасть. Казалось, сейчас он достанет специальный инструмент, некий инфракрасный бинокль, чтобы разглядеть насквозь не только текст, но и вас. Он действительно вытаскивал большую лупу и, если какая-нибудь буква в самых ответственных словах, вроде «Ленин», «Брежнев» или «Политбюро», отпечаталась не полностью, долго вертел набор под увеличительным стеклом, разглядывая его так и эдак, проникая в тайный смысл неясного знака.

— В каждой букве заложена опасность контрреволюции, — говорил он на совещании и, видя улыбки присутствующих, добавлял: — Каждая буква есть мина замедленного действия. Это я вам говорю со всей ответственностью, я, ваш советчик и друг.

— Но как же нормально работать в такой взрывоопасной обстановке? — спрашивал кто-то. — Мы же не саперы.

— Недоумевать не надо, — назидательно отвечал он. — Я скромный страж интересов государства. Поскольку у вас с государством не может быть конфликта, я защищаю от беды и вас.

В путевом очерке спецкора Шумского цензор Цезарь велел вычеркнуть, что от Москвы до Ленинграда по шоссе 707 км.

— Чтобы американские шпионы заблудились, — прокомментировал друзьям Шумский.

Секретной была длина экватора земного шара.

— Это же стратегические данные, — объяснял цензор.

Если возразить, что эта цифра есть в учебнике для четвертого класса, он бы ответил: «Значит, там она согласована». Или: «Вчера это можно было разглашать, сегодня уже нельзя».

По поводу каждой цифры, факта, имени, события, каждого названия Цезарь Матвеич требовал одного: визы соответствующего компетентного ведомства. Когда ему пытались терпеливо объяснить, что по меньшей мере в отдельных случаях это абсурдно, Цезарь Матвеич с улыбкой отвечал:

— До — я верю вам. Но после — с работы снимут меня.

Ему говорили:

— Чего вы трясетесь?

Он в ответ:

— Лучше трястись в теплом кабинете, чем от холода на улице.

Его стыдили:

— Ну вы и трус!

— По-вашему, трус, — спокойно возражал он. — А по мнению моего руководства, я бдю.

«Бдю» в редакции стало нарицательным. Его афоризмы разносили по отделам.

Однажды он произвел на свет мысль, которая, по-моему, имела основополагающее философское значение для земной цивилизации. И может, для вселенной тоже.

— С точки зрения цензуры, — высказался он, — идеальная газета — это бумага без текста.

— Может, хоть картинки? — осторожно спросил я.

— Картинки — это уже криминал.

Обмануть цензора, подвести под монастырь считалось в редакции подвигом. Рисковали отчаянно: подделывали разрешающие подписи, клялись, что разрешение уже есть, только нет свободной «разгонки» — дежурной машины, чтобы съездить за полученной визой. Уговаривали его подписать, чтобы не срывать выпуск газеты: через пять минут принесем. Вычеркнутое им переставляли в другое место той же статьи в перефразированном виде в расчете на то, что он не будет читать второй раз.

Я тоже так делал, но, может, реже других: я сам боялся очутиться на улице.

Когда ему влепляли очередной выговор за недобдение, эта радостная весть мгновенно облетала редакционные кабинеты. Наиболее нахальные звонили ему и поздравляли, изменив голос, конечно. Он злился, грозил карами руководства за оскорбление чести и достоинства органа, которому он принадлежит, и бросал трубку. Но обиды забывал быстро и, надо отдать ему должное, мстительным не был. А мог бы быть.

Для всякой профессии надобны природные данные, облегчающие работу. Чего у него не было в помине, так это чувства меры в бдении. Поэтому он никогда не расслаблялся и подвох видел во всем. Однажды, когда я дежурил по отделу, он позвонил в десятом часу вечера по внутреннему телефону:

— Вот тут в статье по вашей части я читаю о том, что завтра мы встретим на улице лошадь-робота и не отличим от настоящей. Очень интересно. Кто ж такую лошадь проектирует?

— Да это фантастика.

— Понимаю. А где автор взял идею?

— Где взял? Из головы...

— Отлично! А в головку ему идея откуда попала?

— О, мамочка! Из воздуха.

— Вот! — он уличил меня в чем-то нехорошем. — Точно! Значит, автор мог об этой идее услышать.

— Допустим, мог. Какое это имеет значение?

— Это имеет такое значение, — торжественно проговорил Цезарь Матвейч, — что лошадь где-нибудь проектируют, и он слышал.

— Ну слышал. И что?

— То, что нужна визочка НИИ, который такую лошадь раз-ра-ба-ты-ва-ет.

Черт дернул меня ляпнуть: «Из воздуха». Дело пахло керосином. Статья вылетала из полосы перед самым ее подписанием. Надо было это предвидеть.

— Вспомнил! — бодро воскликнул я. — Автор говорил, что он сам это придумал. Абсолютно точно, сам. Он еще уточнил, что ночью его озарило, встал и записал.

— Он что, лунатик? Не пудрите мне мозги, дорогуша. Мы же с вами материалисты. Из ничего ничего не получается. Я вам гарантирую, что он как минимум где-то подхватил. Что если это еще не запатентовано и заграница, извините за выражение, сопрет?

Он употребил другое слово, более грубое, которое я воспроизвести не решаюсь.

— Допустим, подхватил, — отступал я. — Что тут страшного?

— Как что?! Если он подхватил идейку от людей, работающих в почтовом ящике? Если это изобретение стратегического характера? Допустим, какая-нибудь новая технология для конницы Буденного. Знаете, какой сие пунктик? Подрыв обороноспособности страны. Разглашение сведений, представляющих собой военную и государственную тайну. Во!.. Чувствуете, чем это для нас с вами пахнет?

— Какая же вам требуется виза? — сдаваясь, спросил я. — Министерства обороны?

— Так... Это, голуба, деловой разговор. Сейчас запросим руководство. Не вешайте трубочку, ждите.

Из трубки доносилось жужжание диска городского телефона.

— Варвара Николавна? Цукерман беспокоит. Передо мной статья, разглашающая сведения о том, что завтра выведут на улицу искусственную лошадь. Так-так... Сейчас узнаю.

Теперь Цезарь Матвейч говорил в мою трубку:

— Какая тут у вас лошадь? Электронная?

— Черт ее знает! Наверно, электронная, какая ж еще?

— Электронная, Варвара Николавна... Ага... Уловил... Я и сам точно так полагал.

— Ну что? — нервничал я.

— То, дорогуша моя, что нужна визочка Министерства электронной промышленности, что они эту лошадь не разрабатывают.

— Где же я возьму такую визу в десять вечера?

— И не надо сегодня! Зачем спешить, паниковать, нервничать? Ги-

пертонаия этого не обожает. В суете можно просмотреть еще что-нибудь важное. Сегодня мы эту лошадь спокойненько снимем. Ну ее к лешему вашу лошадь!

— А завтра, с визой министерства, можно поставить в номер?

Все же у меня были кое-какие связи с неглупыми людьми в министерствах, которые могли помочь. Без таких связей они бы согласовывали визы годами.

— Завтра что? — насторожился цензор.

— То! — злился я. — Может, это делают в Министерстве приборостроения и средств автоматизации?

— Во, молодой человек! И меня это беспокоит. Знаете что, голуба? Для подстраховки добывайте визочки обоим министерств. Тогда я снова позвоню руководству, и они укажут, куда еще обращаться.

На мое несчастье, газета печатала фантастику, и этим занимался мой отдел. Если в очередном рассказе на Землю летели представители иной цивилизации, вечером звонил внутренний телефон и хрипловатый голос Цукермана вежливо интересовался:

— Роднуля моя, в Генштабе в курсе, что к нам летят из созвездия Андромеды?

— Не только в курсе, Цезарь Матвеич, но и ничего не имеют против этого.

— Вот и добро! Значит, никаких трудностей у вас не будет. Давайте-ка мне визочку военной цензуры с улицы Кропоткина.

Но была обширная категория сведений, по которым ни виз, ни согласований не требовалось. Цезарь Матвеич начинал хрипло мурлыкать себе под нос какую-то невнятную мелодию и под нее уходил в соседнюю комнату.

— Так я и думал! — он появлялся в дверях и поднимал указательный палец вверх. — Все в порядке. Не надо визы, не надо согласовывать. Это, голуба, просто нельзя упоминать в открытой печати, и все. Вам же легче, меньше хлопот.

И правда, за годы работы опыт «чего нельзя» накапливался. К цензору ходили все реже.

— Жизнь не мила, когда надо идти к Его Величеству Кастратору, — жаловался Аванесян.

Возвращался он счастливый:

— Эта тема тоже обрезана. Я, ребята, становлюсь евнухом.

Фантастика захирела. Наука вымерла. Мысли зачахли. В газете становилось все меньше даже невинных новостей. Ведь на публикацию их каждый раз требовались визочки. При этом никто подчас не знал, в каком учреждении их взять. Вскоре появилось инструктивное письмо, требующее представлять одобрения соответствующих ведомств в цензуру за несколько дней до предполагаемого опублико-

вания — для регистрации в специальном журнале и уведомления центрального руководства.

Цезарь Матвеич с термосом в руках гулял по коридору удовлетворенный:

— Чем больше визочек, тем меньше нервочек.

В отпуск он не ходил. Когда его с приступом гипертонии неожиданно положили в больницу, в редакции появилась симпатичная девушка лет двадцати пяти, коротко стриженная, строго одетая, но со славной мордашкой. Ее прислали с Китайского проезда от Варвары Николавны на временную замену.

— Литснегурочка из Гавлита, — сказал Аванесян, ухитрившись заодно слегка смешать с дерьмом слово «Главлит». — Будто мы не могли воспитать цензора в нашем собственном коллективе.

Аванесян всегда, к месту и не к месту, вспоминал, что он незаконный потомок Пушкина. Что его прапрабабушка согрешила, когда поэт бродил по Кавказу. Этого нельзя было ни доказать, ни опровергнуть. Он носил такие же бакенбарды, и звали его, между прочим, тоже Александр Сергеевич. Словом, Аванесян отправился на разведку, прихватив с собой давно опубликованный и, как он сам считал, неотразимо смешной фельетон. В рукописи, конечно. Дальнейшее мне известно только со слов нашего фельетониста. Я ему, конечно, верю, но за абсолютную правду не ручаюсь.

— Люда, — сказал он с порога.

— Лучше Людмила Павловна, — поправила она. — Слушаю вас.

— Цензор Матвеич, то есть Цезарь, всегда считал, что нужно предварительное знакомство, — Аванесян разглядывал ее самым бесцеремонным образом. — Вы как? В таком же разрезе или, может, с вами заранее не надо? Может, сразу, а?

— Сразу ни в коем случае, — она слегка зарумянилась, не цензорским, но женским инстинктом улавливая двусмысленность.

— Вот и ладушки! Тогда взгляните зорким оком.

Она стала читать. Он отошел к окну, чтобы стол, за которым она сидела, не мешал ее осматривать. Время от времени она поправляла юбку, а он время от времени поглядывал во двор, где работяги скатывали с грузовика рулоны бумаги.

— Ну как? — спросил он, когда ее глаза добежали до последней строчки. — Нравится?

Казалось, Людмила Павловна была немного смущена.

— У нас в университете был спецкурс по фельетону, и лектор говорил, что сейчас фельетон очень актуальный жанр, но проходят они со скрипом. Это правда?

— Так вы журфак окончили? Коллеги, значит! Кому из нас последний день Лицея торжествовать придется одному? Ответ ясен: вам,

Людмила Павловна, потому что вы молоды и прекрасно выглядите.

— Спасибо, — произнесла она. — Кстати, где там у вас в фельетоне происходит употребление алкогольных напитков в рабочее время? В вычислительном центре... Какое? Академии наук? Среди пьющих есть члены партии?

— При чем тут? — удивился Аванесян, почувствовав недоброе.

— При том, что газету читает рядовой подписчик. Зачем ему думать, что члены партии на работе пьют? Сейчас я позвоню Варваре Николаевне насчет вашего фельетона.

— Не надо, а?! — театралью взмолился Аванесян. — Она точно зарубит. Представляете, как будет неудобно, если наша советская цензура негативно отнесется к праправнуку Пушкина?

— Вы разве?..

Аванесян скромно опустил голову, дав ей возможность осознать данный факт.

— Сама-то я что могу сделать? — искренне удивилась Людмила Павловна.

— Вы можете все, если захотите! — так же искренне парировал он.

Она посомневалась, но все же позвонила. Варвара Николаевна спросила, о чем фельетон, помолчала немного и сказала:

— Постойте-ка, они этот фельетон уже раз печатали! Да они просто проверяют вашу бдительность!

— И тут я понял, — заметил Аванесян в застолье с приятелями, — что голыми руками ее не сломать.

Сексуальная атака фельетониста стала заботой всей редакции. В это вкладывали определенные надежды — не на крупное, упаси Бог, хотя бы на мелкие поблажки, на отсутствие придинок. Аванесяну давали советы, подарили новый импортный галстук, предлагали ключи от пустой тетиной квартиры.

— Мне, конечно, удалось, — рассказывал вскоре Аванесян. — И, при наличии моего колоссального опыта, без особых предварительных трудов. Как женщина, должен признать, она весьма мягкая и понятливая. Можете мне поверить, хотя, конечно, каждый может убедиться сам. Но как цензор она — бронепоезд. Никаких уступок даже мне, несмотря на большое и чистое чувство. И родство с Пушкиным не помогает! Гвозди бы делать из этих блядей!

Вскоре, отлежавшись в больнице, снова пришел бдеть Цезарь Матвейч. Людмилу Павловну перебросили в другой печатный орган, и она исчезла, не оставив Аванесяну номера телефона.

В дни, когда все газеты печатали длинные речи вождя, в редакции работали только телетайпы ТАССа и корректорская. Сотрудники от безделья слонялись по коридорам, скидывались на троих. Я столкнулся с Цукерманом возле буфета. В руках у него был черный хлеб.

— Зайдем ко мне, — неожиданно предложил он. — Чайком угощу. Крепким. Настоящим индийским, из заказа. Не то что в этом паршивом общепите.

Отперев английский замок, он пропустил меня вперед в комнату с табличкой «Уполномоченный Главлита. Вход воспрещен». Бывал я здесь не раз. У окна стоял стол — пустой, но при этом грязный. Все пространство четырех стен от пола до потолка закрывали полки, занятые толстыми папками, которые, по-моему, никто никогда не открывал.

— Сейчас схожу по ягодки, — весело сказал Цезарь Матвеич.

— Это как? — не понял я.

— Тут у нас цветочки, ягодки там. По правилам, я должен вас выставить в коридор ждать. Да ладно!

Он стал перебирать ключи, открыл один замок, потом другой и скрылся в соседней комнате. Дверь ее была вся в пятнах от пластилина, которым ее опечатывали перед уходом. Ягодками Цезарь Матвеич называл секретные циркуляры, приказы, инструкции, списки, которые там хранились. Появился он, торжественно внося пачку чаю. При этом не забыл ногой проверить, заперлась ли дверь.

— Индийский! — гордо сказал он, втыкая в розетку кипятильник.

— Страна у них, конечно, отсталая, зато чай — как у людей. Сейчас заварим по-божески.

— Мы же атеисты, — не удержался я.

Он посмотрел на меня внимательно, будто проверяя свои подозрения.

— Слушай, — вдруг соскочив на «ты», с каким-то остервенением буркнул он и взял со стула отпечаток со свежей речью и пока еще неотчетливым портретом генерального секретаря. — О чем этот болтун думает, а? О чем они все думают? В стране нищета, люди живут хуже скотов, все идет в тартарары, а он о торжестве передовой идеологии...

Я втянул голову в плечи, не зная, как реагировать. На всякий случай покосился на телефоны. Цезарь Матвеич с ненавистью швырнул на стул газетную полосу.

— Ведь это же... Это же всё... — он, видимо, на ходу сменил слово. — Ведь это... не так!

Не слышал я, чтобы в обычное ругательство было вложено столько мыслительной энергии. На всякий случай, я не поддержал разговора. Цукерман, разрядившись, раздумал углубляться. Молча насыпал в кипяток заварки. Мы попили чаю, болтая о незначительных вещах. Недопитый чай он слил в термос. Я тихо отчалил.

Положение мое в редакции было непрочным, а стало тревожным. Однажды заведующий международным отделом Спицын, которого все не без оснований держали за стукача неопределенного ранга,дохнул

на меня запахом виски. Виски это регулярно перепадало ему на пресс-конференциях в иностранных посольствах.

— Насчет тебя к начальству приходили, интересовались.

— Кто?

— Из организации, которая интересуется. Между прочим, Це-Це тоже интересовались. Смешно, да? Запомни: я тебе ничего не говорил. Но за то, что я тебе ничего не говорил, с тебя бутылка.

Вскоре я ушел из редакции по собственному желанию, решившись просто писать прозу. С тех пор мы с Цезарем Матвеичем не пересекались. Прозу мою кромсали и запрещали в других редакциях и издательствах иные уполномоченные того же Главлита.

3

Предавшись воспоминаниям, я чуть не проехал свою станцию. Добежав по дождичку от метро до дому, я переоделся в сухое и, пока грелся чайник, развернул сверток.

В трубку была скручена толстая ученическая тетрадь. Обложка ее, вымазанная типографской краской, в пятнах от чая и масла, свидетельствовала: тетрадь служила долго. Была она в линейку. По линейкам струился крупный, почти без помарок, почерк. Название сочинения гласило: «Дневник бывалого цензора».

Сочинению Цезаря Матвеича Цукермана предшествовали два эпиграфа:

«Цензор — строгий блюститель стыдливости и скромности» (Марк Цицерон).

«Согласен на сто процентов. А если что не так, то виноват не цензор» (Цезарь Цукерман).

Я заварил чаю, поставил кружку на пол к дивану, наколол кускового сахара и, отогреваясь от весенней московской промозглости, стал, попивая чаек, осваивать доставшийся мне «Дневник».

Цензор — первый читатель абсолютно всего на свете, и именно поэтому на нем лежит большая ответственность перед всем прогрессивным человечеством, писал в предисловии Цезарь Матвеич. К сожалению, отсутствие в университетах факультетов, готовящих цензоров, и также цензуроведения как самостоятельной науки приводит к тому, что разумно обоснованные ограничения заменяются произволом и вкусовщиной. В результате наша отрасль отстает от требований времени, и в ней работает немало дилетантов.

Данная работа представляет собой первую в истории мировой печати попытку дать начинающим цензорам возможность познакомиться

с ошибками, допущенными их старшими товарищами. И сделать это не по слухам и сплетням, но путем прямой передачи опыта от их более опытных, уже набивших шишки коллег.

Здесь собраны ошибки, своевременно обнаруженные мною лично, промахи, за которые я пострадал, а также ошибки моих коллег, уполномоченных Главлита в различных органах советской печати, радио и телевидения.

Со слов моих наставников, которых уже нет в живых, я записывал для потомков также промахи цензоров прошлых лет. Молодые цензоры смогут учиться на выговорах, полученных старшими товарищами, и таким образом избегать неприятностей, поджидающих их буквально в каждой букве нашей советской массовой информации. Ибо, как сказал большой друг цензуры А.С.Пушкин, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.

Далее в тетради страница за страницей следовали собранные покойным Цукерманом мысли и факты. Из обилия их, которое показалось мне утомительным, я привожу наиболее поучительные на тот случай, если читатель, по завещанию Цезаря Матвейча, почувствует особое призвание и задумает избрать в жизни почетное ремесло уполномоченного Главлита. Ведь с цензурой во многих странах дела из рук вон плохи. Властям просто не на кого положиться. В каждой букве заложена опасность контрреволюции.

Итак, вот о чем я прочитал в дневнике.

Слово «цензор» латинского происхождения. Цензура существует две тысячи четыреста лет, но своего расцвета достигла у нас. Полномочия цензора в Древнем Риме были гораздо шире, престиж выше, материальное положение гораздо лучше. В Риме цензоров торжественно избирали из почетных граждан сроком на пять лет. Даже в царской России цензору было, как пишет Даль, «доверено от правительства цензировать сочиненья, одобрять или запрещать». Мне доверено бдительно следить от Варвары Николавны. Думал об этом, стоя в очереди в буфете, когда шофер директора издательства нес шефу ящик с продуктами из распределителя.

Слово «нецензурный» означает «непристойный, неприличный». Значит, все бесцензурное аморально и неэтично. Это должно вдохновлять уполномоченных Главлита на борьбу за самоцензуру мыслей советских писателей, дабы они не рассчитывали, что их всегда и вовремя поправят.

Важная мысль: мелкая глазная ошибка может превратиться в ошибку политическую. Сегодня в заголовке «Редакционная точка зрения» чуть не пропустили букву «д». Своевременно сигнализировал.

Поступила инструкция, запрещающая публиковать что-либо отрицательное об охране природы. Можно только о том, как хорошо ее охраняют у нас. Причина в том, что президент Никсон обратился к

Конгрессу с призывом: деньги, оставшиеся от программы «Аполлон», истратить на охрану природы. Он сказал: «Америка должна показать пример русским, как мы заботимся о будущем». У нас денег от космической программы пока не осталось, но в газетах должно быть видно, как много делается.

Только что поймал в подписной полосе: «пролетарский унтернационализм». Не злоумышленник ли работает наборщиком? Ограничился предупреждением по телефону по поводу замены буквы «у» на «и» без уведомления Варвары Николаовны.

Какой ужас! В докладе Леонида Ильича по радио сам слышал: «Мы горды тем, что на нашем знамени золотом написаны пять букв — СССР». Трижды перечитал доклад в полосе. ТАСС своевременно исправил пять на четыре.

Рассказала на оперативке Варвара Николаовна. Руководству Главлита позвонили из ЦК и спросили, почему так странно написано в «Правде»: «На строительство не завозят бетон, сварочные аппараты и нижнее белье». Стали проверять. Оказалось, в тексте было «сварочные аппараты и консоли». Машинистка решила, что это ошибка и напечатала «кальсоны». Корректоры решили, что слово «кальсоны» неэстетично и заменили на «нижнее белье». Масштаба наказания не знаю, но при чем здесь цензура?

Московский кинотеатр «Знамя» переименован в «Иллюзион», что может вызвать усмешку читателя. Лучше старое название не напоминать, сообщить так: один из кинотеатров теперь называется «Иллюзион».

Заголовок «Девственность выступлений газеты» без напоминаний с моей стороны корректорская исправила на «Действенность».

В коридоре Обллита встретил коллегу Щ. Он ездил с комиссией в Курск разбираться. Там строится новое здание цирка. Курская газета информацию о ходе строительства закончила фразой: «Завершим цирк к столетию Ленина!» Товарищи не подумали, в результате пострадал цензор.

Трагические устные воспоминания ветерана Главлита пенсионера К-ва. Вместо «Ленинград», рассказал он мне шепотом, было опубликовано «Ленингад». В слове «Сталин» букву «т» заменили на «р». Этот же впоследствии реабилитированный цензор вспомнил, как на Колыме встретил товарища по несчастью. В статье о Средней Азии тот пропустил, что в городе Сталинабаде установлен памятник Сталину, хотя Сталин еще был жив. Товарищ тоже еще был жив, но до послесталинской амнистии не дотянул.

Потребовал снять фразу в статье про зоопарки в США: «Раньше звери жили в клетках, теперь живут в вольерах». Этих намеков на права животных нам не надо.

Тяжело с кадрами квалифицированных цензоров на периферии. На летучке в управлении Варвара Николавна аж покраснела. В районной газете была напечатана заметка о плохой работе станции искусственного осеменения животных. В конце написано: «Сидят колхозники на станции и ждут, пока появится сперма».

Читатели прислали в ЦК партии другую районную газету, которую переправили в Главлит. Там статья о грубой продавщице продмага, которая прячет дефицитные продукты. Если покупатель ей не нравится, продавать отказывается. Статья называется: «Иванова не дает».

Чепе! Снова обнаружил корректорскую ошибку в подписной полосе. «Советская космическая техника» — в слове «космическая» пропущена первая буква «с». Провел в корректорской совещание совместно с руководством газеты на тему о бдительности. Сообщил Варваре Николавне о приказе главного редактора: завкорректорской — строгий выговор, остальным корректорам — обычные.

На Центральном телевидении и радио указание лично тов. Лапина не выпускать на экран людей с бородами, а также без галстуков. Всех заставлять бриться и иметь в студиях дежурные галстуки. Интересно, как они будут выполнять этот приказ на радио? Возможно, однако, что то же правило введут у нас для газетных иллюстраций. Взять на заметку, проконсультироваться заранее как насчет бород, так и насчет галстуков.

Уволен литсотрудник отдела пропаганды В. Он провел интервью с секретарем партийной организации института. Оказалось, что это был не секретарь, а какой-то неизвестный, назвавшийся шулки ради секретарем. Мне поставлено на вид за то, что не потребовал визы. Но давайте мыслить шире: будет ли указание требовать паспорт перед интервью?

Состоялся специальный инструктаж по неконтролируемым ассоциациям. Давались примеры подтекстов. Сложность в том, что для их обнаружения приходится по нескольку раз читать одно и то же, но при этом бдительность ослабевает. Пришел к выводу, что некоторые источники, уже известные, цитировать теперь нельзя. По радио сейчас передают арию из оперы «Демон». Шалапин, как ни странно, поет: «Проклятый мир!» Возможно, их уполномоченный Главлита просто не был на инструктаже.

В день открытия съезда КПСС состоялась премьера комедии Шекспира «Много шума из ничего». Поступило указание заменить название комедии на «Любовью за любовь».

В связи с неконтролируемыми ассоциациями в сводке Центрального института прогнозов я запретил строку: «С Запада надвигается потепление». Сообщил их руководству о двусмысленности информации. Руководство не поняло. Сообщил Варваре Николавне. Она похвалила

меня и сказала, что это необходимо включить в следующее циркулярное письмо. Лучше бы денежную премию.

Я опять недобдел и получил выговор из-за халатности дежурного по отделу иллюстраций. Изображение маршала Гречко при пересъемке тассовской фотографии на цинк оказалось зеркально перевернутым: ордена на правой стороне груди. Обнаружили, когда утром позвонили из Министерства обороны.

Из интервью с директором Института стоматологии: «Каждая страна вносит свой большой вклад в развитие стоматологии. США идут впереди нас в лечении зубов, мы — впереди в теории изготовления протезов». Политически здесь все правильно, но субъективно я страдаю оттого, что у нас теория так далеко ушла вперед.

Внимание! Сокращения в тексте таят опасность. Написано в статье: «Благодаря проведенным мероприятиям, КГБ-2 обслуживает в месяц на 1200 человек больше». Выяснил, что КГБ-2 — это Криворожская городская баня №2...

4

На этом дневник обрывался.

Не окончил своего труда, завещанного Богом, Цезарь Цукерман. Не сделал никаких обобщений, кое-что приукрасил — например, древнеримскую цензуру, которую на самом деле римляне после отменили. Не пришел Цензор Цезарь ни к каким выводам ни на бумаге, ни в жизни. Впрочем, может, и пришел? Ведь распорядился отдать тетрадку. Почему именно мне?

Общались мы мало даже во времена совместной работы. Но и тогда общение носило, как бы это сказать полюбозней, специфический характер.

Он трудился на совесть и при этом, оказывается (вот уж кто бы мог такое о нем подумать?), потихоньку все записывал. Газета часто печатала мои рассказы, куски из выходящих книг, рецензии на них, и он был их первым читателем, самым внимательным. От него, конечно же, не ускользали мои неконтролируемые ассоциации, — ведать не ведаю, как он на них реагировал. Если кое-что проскальзывало, то почему? Не заметил? Может, теперь думаю я, сделал вид, что не заметил?

Потом мой первый читатель первым узнал из секретного циркуляра, что моя фамилия больше не должна появляться в печати. Это тянулось годами. Я не встречался с ним в жизни даже случайно. А он бдил, чтобы я не встретился с ним в литературе.

Давайте взглянем на деяния этого ответственного, я бы даже ска-

зал официального, читателя шире. Вдруг то, что делал Цензор Цезарь, было благом?

Печататься могли только те, кто соглашался приспособиться. Как многие другие, я пытался это делать. Он не допускал в свет подлинных художников, настоящую литературу и тем способствовал сохранению всего достойного в неизуродованном виде. Что, если он давал нам шанс не становиться приспособленцами, остаться чистыми, не лезть в мышеловку? Препятствуя публикации значительных независимых мыслей, цензор заставлял языкастых уходить в намек, в междустрочье, в заоблачные ассоциации и тем совершенствовал культуру письменного общения. Все запрещая, цензура накапливала недовольство, оппозицию, создавала ореол таинственности над диссидентством. Запрет создавал духовный дефицит. Результаты оказывались обратными желаемым. Цензура способствовала прогрессу!

Понимал ли это Цезарь Матвеевич? Чего желал он сам? Вот вопросы, на которые никогда не получить ответа. В нем, видимо, что-то происходило. Для краткости я давеча опустил окончание разговора с женой Цезаря Матвеевича. Но теперь понимаю, что конец этот необходим.

Она резко ушла от меня тогда на площади Революции. Вдруг оглянулась и возвратилась.

— Извините, — сказала она, задыхаясь. — Боюсь я. Может, они следят за такими, как вы.

— Вряд ли. За всеми не уследишь.

— Вы в этом уверены? Я в молодости сама работала в НКВД, правда, простой машинисткой. И уже тогда они старались следить за всеми. Знаете, Цезарь Матвеевич вас часто вспоминал последнее время. Все интересовался разными вопросами.

— Какими вопросами? — спросил я, делая вид, что не понимаю.

Мне хотелось, чтобы она сама объяснила. Пожав плечами, она печально усмехнулась.

— Ну, вы ведь уже одной ногой там...

— Но другой-то здесь, на веревке. Он что ж, тоже захотел туда?

— Нет! — испуганно отрезала она. И уже спокойнее прибавила: — Да кто бы нас выпустил с его секретностью? Он ведь как начинал? Отправлял заявления в высшие инстанции, что в Москве следует открыть еще один почтовый ящик: Научно-исследовательский институт цензуры. После стал жалобы писать руководству, что уполномоченным Главлита не платят премий за перевыполнение плана. А закончил...

Она опять оглянулась, хотя вроде бы никто близко не стоял, и совсем перешла на шепот:

— Он стал решать вопрос, кто был хуже — Гитлер или Сталин.

— И решил?

— Ой, страшно сказать! Говорил, что Сталин хуже, представляете?

Когда читал газеты, будучи уже на пенсии, он мне твердил, что на Главлит надо бросить атомную бомбу.

— Как же Цезарь Матвеич со своим пятым пунктом вообще попал в Главлит?

— Он сам удивлялся. Воевал всю войну, кончил майором. Потом занимался снабжением в армии, пока его при Хрущеве не выперли в отставку. В Главлите у него работал однополчанин, которого туда бросили на укрепление из органов. Представляете, крупный чекист и совершенно не антисемит!

— Не может быть, — подначил я.

— Честное слово! — обиделась она. — Он Цезарю сказал: «У тебя офицерское звание, два ранения, партбилет, куча орденов — попробуем всем этим перекрыть твой генетический дефект».

Я вспомнил канун Дня Победы, на который Цезарь Матвеич явился, увешанный орденами и медалями. Редакционная молодежь тогда над всей этой атрибутикой уже потешалась. Говорили, что ордена на толкучке по пятерке штука покупают.

— Я же сам воевал, — оправдывался он. — Сам! Не дядя!

Кто-то в буфете, не заметив, что Цезарь Матвеич стоял сзади, изрек, что у цензора ордена за обрезание литературы и искусства. Он ведь и в самом деле спустя четверть века после войны еще сражался. Как выразился Аванесян, «под командованием Варвары Николавны».

— Стало быть, генетический дефект успешно перекрыли?

— Перекрыть-то перекрыли... Но потом дети подросли... У нас сын и дочь, оба на меня записаны, русские. Дети стали стыдиться его профессии. Муж собрался на пенсию уйти. И вот...

В глазах у нее остановилось по слезе.

— Его торжественно, с почетом похоронили, — с чувством заявил я.

— Откуда вы знаете?

— Слышал.

Ничего я, разумеется, не слышал, просто хотелось что-то утешительное сказать.

— Хоронить его мы хотели сами. Однако ж приехал представитель редакции, ну, завпохоронами, или как там, и заявил, что Цезарю Матвеичу положена по рангу и как фронтовику гражданская панихида по месту работы. Но муж мне оставил письменное завещание, там написано: похороните меня на любом кладбище, но только под музыку гимна Израиля.

— Израиля? — поперхнулся я.

— В том-то и дело! Об этом я товарищу из редакции шепотом сообщила. Он хмыкнул, как вы сейчас, но обещал доложить руководству. Знаете, действительно раскошелились, заказали оркестр.

— И сыграли гимн Израиля?!

— Сыграли гимн Советского Союза. Для газеты некролог подготовили. Мне велели приехать проверить, все ли перечислены ордена. Сильно написали: «Безжалостная смерть вырвала из наших рядов верного бойца славной большевистской печати»... И дальше так же хорошо.

— Как же, я читал! — подтвердил я.

На лице ее возникло подобие улыбки и тут же погасло.

— Некролог о своем сотруднике цензура не пропустила.

Я поцеловал руку вдове моего самого придирчивого читателя, и женщина тихо ушла.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
У ПРАБАБУШКИ,
ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕНАЦВАЛЕ
ИЗ САКРАМЕНТО

1

О свадьбе объявили на всю Калифорнию и далеко за ее пределы. Съехалось шестьсот гостей, большей частью полицейских, что нисколько не удивило местных любителей широкомасштабных гулянок. Через прежнего шерифа был приглашен бывший губернатор, он же президент Рейган с Нэнси. Они, правда, не смогли прибыть, но прислали поздравление молодоженам. Гости приветствовал фанерный Рейган в натуральную величину. Он стоял на травке с бокалом пенистого шампанского в руке.

А я там был, мед-пиво пил, посколькy замуж вышла моя студентка. Но рассказ сей не о самой свадьбе — тут читателя ничем не удивишь: почти все через нее проходили, и некоторые любят повторять этот ритуал многократно. Почему бы и нет, если жизнь коротка и хочется вместить в себя как можно больше сильных ощущений? Вот о сильных ощущениях после свадьбы, о сладостях медового месяца и пойдет речь.

Как известно, в Америке нынче никто особо не рвется вступать в брак, кроме гостей, в России же — кроме тех, кто норовит в гости. Причем в такие гости, чтобы стать хозяевами. У нас в университете, как во многих других, действуют обменные программы. Группа американцев едет на полгода в Москву, потом студенты оттуда являются к нам. Как вы догадываетесь, мы хорошо платим российскому университету за каждого нашего студента: за общежитие, питание, учебу и культурную программу. Кроме того, студенты везут с собой денежки — давать за то, чтобы текла горячая вода из душа, чтобы замок в комнате запирался, выкупить украденный фотоаппарат или просто чтобы открыли дверь после одиннадцати вечера.

Ну, а когда к нам приезжают российские студенты, кто платит? Угадали, опять мы. У них средств нет. Поскольку экономическая ситуация в Калифорнии и, следовательно, в университете

тяжелая, приходится поджиматься. Последний раз мы посылали двадцать студентов, приняли, вы уж нас извините, только двух — Марину и Любу. На большее финансов не хватило.

Теперь насчет обратно. Пока не было случая, чтобы американский студент там остался. Но однажды парнишка из Калифорнии задержался. Перед самым отъездом российские его приятели организовали прощальную тусовку. Загудел американец с аборигенами и от нехватки специального тренинга в области потребления водки по дороге в общежитие упал и очутился в вытрезвителе. Потом еще месяц лежал в больнице с отравлением всех органов и синяками неизвестно от чего.

Обычно же бывает наоборот. Поехали в Москву двадцать студентов, вернулись двадцать три, или, точнее, двадцать три с половиной. Трое обвенчались: юноша и две девушки, одна даже успела основательно в Москве забеременеть и вскоре тут родила. Ее юный русский муж перебрался в другой штат и, как водится, с концами. Вообще-то, многие из них скоро разводятся, поскольку американцы, как и некоторые другие нации, — не роскошь, а средство передвижения. Дети тут не в счет.

Но не обязательно так цинично. Бывают позитивные романтические исключения. Даже иногда вечная любовь. Ну не вечная (от этого слова веет могильным холодом), а, назовем ее прагматичней, продленная.

Когда студенты из России приезжают в Америку, то назад, вы уже догадались, уезжает лишь какой-то процент. Или, как произошло с двумя упомянутыми моими студентками из Москвы, обратно уехал ноль процентов. Веснушчатая умница Марина вышла замуж за пожилого американца, профессора японского языка, теннисиста и вегетарианца. Марина сразу попросила всех звать ее Мэри.

Едва профессор женился, выяснилось, что у Мэри на родине остались двое детей, и она за ними слетала домой. Ее без труда впустили в Америку, что доказывает: для истинной любви преград нет. Потом к профессору, для ревизии счастья дочери, прибыла в гости моложавая теща, которая, как выяснилось, до распада СССР работала освобожденным парторгом треста «Мосресторан», а после распада, по ее выражению, потеряла веру в коммунизм и хорошо заплатила тем, кто отбирал наиболее талантливых студентов для поездки в Америку.

Тут теща профессора вскоре заявила, что империализм как последняя стадия капитализма — ничуть не хуже коммунизма как последней стадии социализма, и лучше синица в руки, чем журавль в небе. Она решила остаться насовсем и искать здесь работу по специальности. Поскольку у нас в столице Калифорнии Сакраменто треста «Сакресторан» не оказалось, теща сказала, что согласна на должность секретаря партийной организации в любой ресторан. Зять ее спросил:

— Какой партии?

Она решительно ответила:

— Да любой. Какой поручат. Лишь бы должность была освобожденная. Впрочем, освобожденная должность у нее уже есть: теща.

— Мама, — просила ее Марина-Мэри, — когда заходишь в дом, скажи моему мужу «хай».

После этого, когда профессор появлялся с работы, теща говорила дочери:

— Мэри, скажи ему «хай».

— Откуда у вашей Мэри такой славный английский? — спросил я.

— С малолетства ее учила, — загордилась мать. — Предчувствовала, что понадобится. Не для алкоголика, ее первого мужа (я его, подлюгу, еще заставлю сюда нам алименты платить!), а на случай конца коммунизма.

И тогда я понял, почему профессор женился: чтобы разбогатеть на алиментах из Москвы от предыдущего мужа своей жены, само собой в рублях.

С профессором контакт слегка прервался, так как он вскоре получил постоянную позицию в другом университете и уехал с молодой женой, двумя ее испуганными дочками и молодящейся освобожденной тещей. Теща настойчиво хотела жить с ними, и тогда профессор пошел на чрезвычайный шаг. Он сказал теще, что в Америке ночью приходит полиция для проверки, не живут ли родители вместе со взрослыми детьми, что запрещено. Теща посмотрела на него в упор, подумала немного и ответила:

— Намек поняла.

И профессор снял ей неподалеку отдельную квартиру.

Коллега мне рассказал, что теща уже отпечатала себе визитную карточку, где написано: «Такая-то. Освобожденный секретарь. Теща профессора такого-то». Слышал также, что сейчас к профессору собирается мать тещи из города Тобольска. У той пол-Сибири близких родственников, которые внезапно заинтересовались уровнем жизни в Америке.

Оставив в покое тещу, замечу между прочим, что иногда дети от прошлых браков для новых брачных контрактов с иностранцами абсолютно необходимы. Не так давно актриса Большого драматического театра вышла замуж за американского драматурга, который побывал в Петербурге туристом и влюбился наповал. Все было хорошо, кроме языка. Она совсем не говорила по-английски, он — ни слова по-русски. Ее семилетний сын от первого брака, который ходил в элитарный детский сад с иностранным языком, стал их переводчиком и сделал своей маме предложение, которое она приняла. Потом перевел, что мама согласна. Теперь они в Америке, и сын продолжает исправно работать переводчиком между мамой и новым папой с утра до ночи. Ну, а ночью они справляются без перевода. Но это я, извините, несколько отвлекся.

Вторую студентку из Петербурга, Любу, взял в жены полицейский Патрик Уоррен из того же города Сакраменто, да не простой полицейский, патрульный, тот, который летает на вертолете над хайвеем. Где российской гражданке познакомиться с полицейским? Ответ ясен: не упустите шанса, когда вас штрафуют. Люба только-только получила водительские права и взяла у подруги машину покататься. Когда Патрик остановил Любу за превышение скорости, оказалось, она не знала, где у машины спидометр. Он выписал ей «тикет», вскоре нашел ее телефон в полицейском компьютере и позвонил. Люба испугалась.

— Я очень за вас беспокоюсь, — объяснил ей Патрик. — Вы уже великолепно ездите быстро, и теперь вам осталось научиться ездить медленно.

И тут Бог надоумил Любу произнести наиважнейшую в ее жизни фразу.

— Кто же меня научит? — кокетливо спросила она.

Ясно, что ответил полицейский Уоррен. Урок медленной езды продолжался далеко за полночь и закончился в спальне у Патрика. Утром он совершенно обалдел от поданного ему в кровать ароматного кофе по-турецки, который Люба приготовила, пока он спал. После завтрака законченному холостяку Уоррену ничего не оставалось, кроме как сделать своей гостье предложение. Таким образом, штраф, который он Любе выписал, пришлось уплатить ему самому.

Люба, должен сказать, девушка чуть простоватая, но симпатичная и вовсе не глупая. Глазки черные, щечки пухлые, и сама она, видимо, расположена к полноте; пышечка, по замечанию эксперта в этой области месье де Мопассана. И детей у нее на родине не оказалось.

Словом, в церковь вошла Люба Сиделкина и через полчаса вышла миссис Уоррен. Поток гостей на свадьбу напоминал демонстрацию. Грузовичок, полный стеклянных сосудов для приема букетов, скоро опустел, а цветы все несли. Квартал был окружен патрульными машинами и мотоциклами. Несколько гостей приехали на боевых конях. По бокам у собравшихся свисали кобуры с револьверами, дубинки и наручники. Гости за столами, сооруженными на поляне прямо на траве, пили и переговаривались, держа в одной руке бокал, в другой уоки-токи. Шериф разрешил даже салют из винтовок в честь такого события, а его друг, мэр города, дал приказ о фейерверке. Грянул духовой оркестр городских пожарных, и мне показалось, что от ударов тарелок, сверкающих в прожекторах, сейчас начнется внеочередное землетрясение.

Если не считать гостей из университета, невеста была самым образованным человеком в этой толпе: она почти окончила МГУ да еще прихватила полгода в университете Калифорнийском. Встретился мне на свадьбе и профессор японского языка с женой Мариной-Мэри, бывшей поздравить подругу. Они прилетели на несколько часов, оста-

вив детей с тещей. Профессор, между прочим, сообщил, что в теннис больше не играет, некогда, и перестал быть вегетарианцем: теща решила, что это вредно.

— Я так рада за Любу, — шепнула мне Мэри. — Ведь с ее плохим английским мало было шансов выйти замуж.

В разгар свадьбы над столами пронесся ветер. Это зависла грохочущая стрекоза, то есть полицейский вертолет, и строгий голос с неба произнес:

— Именем закона все арестованы! — голос вдруг закашлялся и, решив, что это чересчур, уточнил: — Арестованы только те, кто не любит моего друга Патрика Уоррена и Лубу Сыздалкин.

И поскольку никого не арестовали, всеобщая любовь была разлита на поляне возле дома полицейского Уоррена. С вертолета поплыли вниз сотни белых гвоздик на маленьких парашютиках. На земле их вставляли в пустые бутылки из-под шампанского. О свадьбе передавало радио, телевидение, и знали все. Говорят, без полицейского вертолета и патрульных машин, запаркованных вокруг свадебного мероприятия, скорости на хайвее возросли до смертельного предела.

В конце этой супертусовки, где-то за полночь, когда мы с женой уже собрались тихонечко смыться, подкатился жизнерадостный молодой муж Патрик. Он долго тряс мне руку своей огромной, как ковш экскаватора, пятерней, благодаря за посещение и произнося разные другие вежливые дежурные слова. Под конец поделился радостью. Люба ему сказала (он, конечно, произносил Луба), что у нее прабабушка — грузинка, которая живет в Сухуми.

— Там же пляж лучше, чем в Лос-Анджелесе, и горы красивее, чем в Италии. Одним словом, сказка! Я очень люблю шишки-баб. Там это называется кишлак...

— Шашлык, — подсказал я.

Он посмотрел на меня с восхищением.

— Звучит, как музыка! Главное, — продолжал Уоррен, — я собираю курительные трубки. Их у меня триста семьдесят две.

— И все курите?

— Я вообще не курю! Просто это мое хобби. У прабабушки Лубы в Сухуми, хотите верьте, хотите нет, есть трубка, которую курил сам Сталин. Может, я ее куплю или выменяю, как вы думаете? Я возьму с собой трубку, которую курил вождь индейского племени у нас в Калифорнии.

Короче говоря, они с Любой решили провести медовый месяц у прабабушки и путешествовать по Абхазии. Люба, правда, пыталась его отговорить, но глава семьи твердо стоял на своем.

— Итак, мы едем в Абхазию!

— Там ведь гражданская война, — осторожно заметил я.

Усмехнувшись, он поиграл мускулами.

— Читал об этом в «Нью-Йорк таймс». Между прочим, я окончил полицейскую академию. Но поскольку в Абхазии, возможно, есть своя специфика, я не буду там брать напрокат самолет.

Услыхав это, я понял, что моя миссия как консультанта полностью исчерпана.

Патрик и в самом деле бычок экстра-класса. Темный костюм жениха на нем, казалось, вот-вот лопнет по швам. Галстука с оранжевыми цветами едва хватило, чтобы обвить его дубовую шею. Потомок золотоискателей в нашей долине, он так и дышит здоровьем. Медицина развивается не для него, страховка ему ни к чему, — преступников надо страховать, защищая от таких полицейских. Кто-то из гостей за столом рассказал через уоки-токи, что в прошлом году жених один управился с пятью уголовниками, из которых двое — бывшие боксеры. Уоррен с вертолета, через прибор ночного видения, заметил возню у придорожного мексиканского ресторана. Воры прибрали к рукам дневную выручку. Полицейский вертолет приземлился на ресторанной автомобильной парковке. До прибытия подкрепления Патрику пришлось их слегка помять: к судье всех пятерых доставили из госпиталя.

На следующий день, закрутившись с делами, я забыл про Патрика и Любу. Шли экзамены, студенты нервничали, их напряг передавался мне. На прием стояла и сидела в коридоре очередь нуждавшихся в консультации или спешивших продемонстрировать свой глубокий интерес к русской литературе девятнадцатого века. Некоторые мудрецы ухитрились раздобыть справку о своей умственной замедленности, чтобы писать экзаменационную работу вместо двух часов четыре.

Потом наступили каникулы, и я засел за недописанный роман.

2

Прошел, наверное, месяц, когда у меня раздался звонок. Я даже не сразу сообразил, кто это. Патрик Уоррен вернулся из свадебного путешествия.

— Ну как там озеро Рица, Пицунда, обезьяний питомник, гора Ахун?.. — я попытался вспомнить еще что-нибудь, но мой запас исчерпался.

— Замечательно! Много впечатлений, — сказал он. — Можно мне к вам подъехать?

Я думал, на крышу факультета иностранных литератур сядет полицейский вертолет, но этого не произошло. Уоррен просто пришел и сел напротив меня. Он был такой огромный, что в кабинете сразу стало тесно. Глаз и часть щеки Патрика были темно-синими. Я не стал спрашивать: Уоррен сам обстоятельно рассказывал.

Собирались они тщательно, везли чемоданы подарков. Люба гости-

ла в Сухуми у прабабушки Манико позапрошлым летом. Двухэтажный дом, который построил покойный муж Манико, служивший садовником на даче товарища Кагановича, стоял на самом берегу моря, окруженный виноградником. Там (у прабабушки, не только у Кагановича) море очень близко от кровати: проснулся и — бултых. Кстати, трубка, которая так взволновала Патрика, была подарена Сталиным Кагановичу. Когда у Кагановича отобрали дачу, садовник, муж Манико, трубку нашел и взял себе.

Летом дом и сарайчики вокруг заселяли курортники — восемнадцать семей. Сама прабабушка жила там, где было потише: на краю сада, в сарайчике, стеля себе на полу. Ноги ее внутри не умещались и, как старуха говорила, спали на воздухе. Там же, в сарайчике, она держала в ямке большую старую кастрюлю, в которой хранила деньги. Продав фрукты или получив с жильца плату, Манико раздвигала в полу сарайчика две доски и засовывала под крышку кастрюли рубли, украинские карбованцы, грузинские купоны, казахские тенгю, сомы, латы, зайчики и другие свободно конвертируемые валюты. Сбербанкам Манико никогда не доверяла. Она понимала слово «деньги», проблемы же инфляции — это были глупости, которые ее не волновали.

В саду росли персики и виноград, измельчавшие от старости, но сладкие. Прабабушка Манико раньше возила фрукты на рынок, но со старостью ставила лоток на кругу, возле конечной остановки четвертого автобуса. Шоферы выгребали деньги из кассы, снова прилепляли пломбу и покупали у Манико фрукты. С другой стороны дома, за садом, проходило шоссе, за ним железная дорога, а дальше горы, пологие части которых были покрыты виноградниками, пока Горбачев не ввел сухой закон. Местное начальство его выполнило, виноградники вырубив подчистую. Теперь, когда дует ветер, оттуда на поселок и пляжи летят тучи пыли.

Про это Люба рассказывала своему жениху, когда он приезжал на своем «Форде» со службы и садился обедать. Патрику все нравилось. Он говорил, что очень любит экзотику. Он то и дело смеялся и не мог дожждаться отъезда в медовое путешествие.

Дозвониться в Сухуми оказалось невозможно, письмо послали, но ответа не пришло, и молодожены решили поднести прабабушке сюрприз. В крайнем случае Манико выселит ради них из одной комнаты жильцов. Так думала Люба и учила мужа:

— Скажи: «Здравствуйте, мы из Америки». Уж я сама добавлю: «Познакомься, Манико, это мой муж Патрик. Он совершенно не говорит ни по-русски, ни по-грузински, ни по-абхазски». Ты скажи: «При-вет!» Прабабушка, конечно, ответит: «Наконец-то! Явились, не запылились». Она всегда это говорит, и ласка так и светится в ее глазах. Тут ты изумишь ее русской фразой: «Очень приятно». Дальше все пойдет само собой...

Глядя на карту, Патрик предлагал лететь через Стамбул или Тегеран, но агентство путешествий предложило им билеты до Сухуми с пересадкой на «Аэрофлот» в Москве. Там они могли навестить Любину тетю, сестру матери.

Бабушка Любы, дочка Манико, давно умерла, дедушки вообще почему-то не было. Родители у Любы погибли пять лет назад, когда отец купил «Жигули» и по дороге на Кавказ врезался в бензовоз. Или бензовоз врезался в них— сумма погибших от перестановки участников не меняется. Тетя с мужем оба преподавали в МГУ. Они и помогли Любе попасть на практику в Америку и были очень рады теперь, что их приемная дочь попрактиковалась не вхолостую. Простые русские слова иногда ошеломляют меня своим ясновидением.

Перед отъездом Патрик искал в Сакраменто подходящую майку, и продавец убедил его, что моднее всего будет носить двуглавого орла с надписью по-русски:

*Была тогда счастливой Русь,
И две копейки стоил гусь.*

Значение текста Патрик не очень понимал, хотя Люба ему перевела, но орел ему нравился. В Москве Патрик пришел в восторг от вечно живого Ленина в гробу. Он хотел также зайти в Макдоналдс, но Люба была не в силах стоять в еще более длинной очереди.

Самолет на Сухуми долго не вылетал, а когда долетел, долго не приземлялся «по метеоусловиям». Патрик был очень доволен, что их в полете не кормили.

— Русские лучше нас следят за диетой, — объяснил он жене, — мне это так нравится!

Прилетели ночью, когда ветер разогнал тучи. На летном поле после грозы пахло пылью, звезды светили так же ярко, как в Калифорнии. Любу никто не встречал. Наверное, прабабушка Манико не успела получить телеграмму, которую они дали из Москвы. Такси тоже не было, но шофер мусорной машины аэропорта, узнав, что это американцы, согласился их подвезти. Люба провела переговоры о сумме. Шофер попросил пятьсот долларов, но согласился за три, потребовав эти три доллара вперед.

Луна прислонилась к краю горы, тихо освещая поселок и заменив уличные фонари, которые не горели. Люба разыскала круг, где делал конечную остановку четвертый автобус, и возле круга дом прабабушки Манико. Они выгрузили из мусоровоза чемоданы с подарками.

Люба с малолетства проводила здесь все летние каникулы и знала не только каждое дерево и каждый кустик, но все трещины в асфальте и каждый выпавший сучок в высоком покосившемся заборе. Через этот забор они перелезали вдвоем с Гиви, соседом, сыном продавца

из ювелирного магазина, когда Манико не пускала Любу вечером погулять. С этим соседом у Любы кое-что было, и не вечером, а днем, когда ювелирный магазин на набережной работал и, кроме Гиви, дома никого не было. Сейчас она не хотела это вспоминать. Она шла вдоль забора, за ней Патрик нес два огромных чемодана.

Вот кривая калитка. Люба на ощупь просунула руку в щель, отодвинула засов и подумала, что сейчас залает Тимур. Он всегда лаял при шорохе, полагая, что охальники норовят сорвать персики, свисающие через забор.

Заскрипели петли, а Тимур не залаял. Вдоль тропинки висели веревки, но на них не сушились трусы и купальники многочисленных обитателей. Сарайчики, обычно заполненные дикими курортниками, как пчелиные ульи, были мертвы. Если не считать крика птицы, потревоженной в гнезде, стояла мертвая тишина.

— Ой, смотри! — прошептала Люба.

Дом зиял черными провалами выбитых окон. Луна освещала черепицу, часть которой была проломлена.

— Может, они построили новый дом и этот разрушают? — предположил Патрик.

Люба, не ответив, заспешила к сарайчику, в котором летом спала Манико. Дверь сарайчика была открыта, изнутри доносился запах прируса и сырости. Потревоженные мухи жужжа роем вылетели в дверь.

— Погром какой-то... Просто ума не приложу, что случилось и что нам делать, — в глазах у Любы появились слезы. — Два часа ночи, соседи спят, спросить не у кого...

— Постой-ка...

Патрик опустил на дорожку чемоданы, вынул из кармана фонарик и, освещивая себе под ноги, пошел в дом. Через несколько минут он вернулся.

— Похоже, это взрыв. Там внутри разрушенная мебель, детские игрушки на полу. Может, звякнуть в полицию?

— В милицию, — поправила Люба. — Телефон был на кухне, но летом Манико его отключала, чтобы жильцы не звонили. Сейчас я погляжу.

Патрик осветил ей дорогу, и они вошли в дверной проем. Дверь лежала тут же рядом, в траве. Небо с луной было видно сквозь крышу. Слева газовая плита, за ней кухонный столик. Рядом с ним была тумбочка, на которой стоял телефон. Люба взяла у Патрика фонарик. Телефон оказался на месте. Она сняла трубку и услышала гудок — телефон работал.

Она набрала 02, долго никто не брал трубку, потом кто-то, откашлявшись, произнес что-то по-абхазски. Люба объяснила по-русски, что она приехала к прабабушке в гости, а прабабушкиного дома нет. То есть он есть, но разрушен. И как узнать, где прабабушка и что вообще теперь...

— Слушай, дарагая, — хриплый голос перешел на русский. — Ты

что, одна такая? У всех тут дома разрушены. У всех нэту прабабушки. Что это вообще такое? Звонишь посреди ночи, дэжурным спать не дашь, понимаешь! Арэстуем тебя, эсли еще будешь звонить!

В трубке раздалась короткие гудки.

Люба прижалась к Патрику.

— Может, разбудить соседей? С этой стороны жил ювелир, с той — дедушка Резо, сын Манико...

— Знаешь что, — решил Патрик, — до утра недолго, какие-то четыре-пять часов. Я привык ночью не спать, мне это легко. В конце концов, впереди у нас целый медовый месяц. Сейчас я положу чемоданы плашмя, постелю мою куртку, ты ляжешь. А я посижу, посмотрю на луну. Луна здесь сказочно красивая.

Утром в доме, где жил Резо, сын прабабушки Манико, то есть, так сказать, двоюродный дедушка Любы, послышались голоса. Сонная Люба, вскочив и на ходу проверяя прическу, побежала туда. Боже мой, что там началось! Ее сразу узнали, запричитали. Вокруг нее крутились дети и женщины, большинство из них она не знала. Побежали за Патриком, который ничего не понимал, привели его, принесли их чемоданы.

— Здравсвуйте, мы из Америка, — сказал всем Патрик. — Ошшен приятно.

— Где же Манико? — спросила Люба.

— Сейчас приведем твою прабабу, — отозвался дедушка Резо. — Никуда она не делась.

Он был горбатый, беззубый, седой и давно не бритый.

— Так она здесь? Слава Богу!

Резо ушел в сарай и медленно вывел седую лохматую старуху в белой ночной рубашке до полу. Она шла, опираясь на костыль.

— Манико! — крикнула Люба и бросилась к ней на шею.

— Кто это? — спросила Манико.

Лицо ее перекосила судорога.

— Это же Люба, — сказал Резо.

— Какая Люба?

— Твоя Люба, правнучка.

— Не помню.

— Манико после взрыва память отшибло, — объяснил Резо, обращаясь почему-то к Патрику, — она немножко не в себе. Да тут все не в себе. Видите, что делается? Ты пока садись, генацвале, в ногах правды нет.

Патрик улыбался, но не понимал и поэтому не реагировал.

— Он что, глухой? — спросил Резо.

— Нет, он американец.

Патрик уселся на скамейку, за большой стол под деревом.

— Он настоящий американец? — поинтересовалась черноглазая девочка с двумя тоненькими косичками.

Она подошла к Уоррену и потрогала его за колено. Патрик погладил девочку по голове.

— Настоящий, настоящий, — ответила за него Люба. — Где Тимур?

— Собаку танк раздавил, — ответила девочка. — Совсем недавно.

— Что Ти-мууур!.. — протянул Резо. — Соседа-ювелира со всей семьей убили. Золото у него искали. А мы вот живы пока...

— И Гиви убили? — вырвалось у Любы.

— Гиви первого убили, он отца от них закрыл...

Любе стало страшно, она прижалась к Манико.

— Кто это? — спросила опять прабабушка.

— Говорят тебе, это Люба! — рассердился Резо.

Люба поцеловала Манико, вздохнула и решила раздать подарки, которые они привезли. Открыв чемодан, она увидела, что он наполовину пуст. То же случилось со вторым чемоданом. В обоих чемоданах лежало по паре крупных камней для веса. Патрик потрогал замки.

— Видишь, поломаны? Кто-то в аэропорту, в Москве или Сухуми, отобрал часть вещей себе.

— Это теперь часто бывает, — сказал дедушка Резо. — Хорошо еще, не все взяли. Кастрюлю с деньгами у Манико из рук вырвали, хорошо, что руки целы...

Всем подарков не хватило, начались слезы. Две девочки подрались, одна сказала:

— Лучше бы вы ничего не привозили, тогда было бы всем одинаково.

Люба не стала его переводить Патрику. Тот, увидев, что калитка покосилась и вот-вот рухнет, поднял с земли топор и, подперев плечом столб, стал соображать, как его закрепить. Резо молча принес ему пару досок и гвозди.

Потом сели за стол завтракать. Резо долго извинялся, что у них ничего, кроме брынзы, хлеба да персиков с дерева, нет.

— Война тут идет, — сказал он. — Брат на брата... К маме в дом снаряд попал. Хорошо, что днем, все были кто где, двоих только ранило, их в больницу увезли, и вот маму... Ее немного контузило.

— К врачу ходили? — спросила Люба, пытаясь обнять Манико, но та отстранилась от Любы, как от чужой.

— Доктор обещал, может, Манико оживет, — продолжал Резо. — Она еще хорошо отделалась... Абхазские ополченцы выгоняли грузин из своих домов на улицу. Свои хуже фашистов, звери какие-то. Бог разум у них отнял. Собственных родственников готовы убивать за правое дело. Кто их знает, чье правое? Кто грузин, кто абхаз, кто русский, кто осетин, кто половинка, кто четвертушка? Вон, я и еще два моих брата женаты на абхазах. Наши дети кто? Понимаешь, генацвале?

Люба переводила, Патрик кивал.

— Вы отдыхать приехали? О-хо-хо! Какой-токой здесь теперь от-

дых? Дом разрушен, есть нечего. Канализацию прорвало, все идет на пляжи. Конечно, мы вам очень рады. Но я вам так скажу: лучше от греха подальше уезжайте из Сухуми куда-нибудь еще.

— Как ее зовут? — спросила прабабушка Манико и трянула кипой давно нечесанных седых волос.

— Люба она, Люба! — рассердился дедушка Резо и повторил: — Уезжайте, пока здесь опять не началось...

— Куда же? — растерянно спросила Люба.

— Думаю, — сказал Резо, — лучше ехать в сторону Сочи, поближе к России. Там меньше убивают.

— Спроси у них, Луба, — поинтересовался Патрик, — где здесь ближайший пункт проката автомобилей? Это для нас сейчас самое удобное...

Услышав перевод, Резо грустно улыбнулся.

— Тогда, может, кто-нибудь продаст подержанную машину? — не унимался Уоррен.

— Люба, объясни ему, как это все сложно, — терпеливо сказал Резо, поколебался и предложил: — Знаете что? В сарае стоит «Москвич» Отара, моего сына. Он в Тбилиси и вряд ли сюда сейчас придет. Его здесь врагом объявили. Машина все равно без пользы стоит, бензина нет. Еще говорили, что будут для армии машины забирать... Езжай на ней, сынок. Если только завести ее сможешь. Американцу они, может, бензина дадут?

— Как мы ее вам отдадим? — спросил Патрик. — Сюда вернемся?

— Ни в коем случае! Отар мой женат на русской, мать ее живет в Дагомьсе под Сочи, Люба ее знает. Вот у нее в саду машину и поставишь, когда будете уезжать. Ты поняла, Люба?

Молодые посоветовались. Патрик засмеялся и долго тряс дедушке Резо руку.

«Москвич» стоял в сарае. Нельзя сказать, что он был новый, но голубой его цвет еще можно было угадать в отдельных местах. Патрик видел такие автомобили на выставках старых машин, они стоили дорого.

— Так и быть, — решил Резо. — Полканистры у меня есть припрятанной. Ты ее вернешь полной, идет? Если ГАИ спросит доверенность на машину, дашь им горсточку долларов — это даже лучше, чем доверенность, понял? Еще вот вам два одеяла на случай, если гостиницу не найдете. В машине тоже можно неплохо спать, особенно с молодой женой, так?

— Спасибо, вы очень добры к нам, — вежливо сказал Патрик, и Люба перевела. — Я этого никогда не забуду. Приезжайте к нам в Калифорнию, я тоже дам вам свой «Форд», и поедете путешествовать на озеро Тахо.

— Дети! — крикнул Резо. — Хлеб по карточкам, они его нигде не купят. Принесите им из подвала буханку хлеба и банку абрикосового варенья...

— Можно хотя бы разок взглянуть на море? — осторожно спросил Патрик.

Поняв, чего хочет американец, Резо положив руку ему на плечо, повел за кусты к обрыву. Патрик остановился и замер, разинув рот. Там открывалась голубая даль, чистая и тихая. Где-то на самом горизонте шел дымя кораблик. Под обрывом шелестел о камни прибой.

— Посмотреть-то можно, — стоя позади, Резо качал головой. — Вот море. Но купаться ни в коем случае нельзя: вода отравлена канализацией.

Они вернулись в сад.

— Луба, — сказал Патрик, — у меня есть важный вопрос к Манико. Можно увидеть трубку, которую курил господин Сталин?

Прабабушка молча пожала плечами. Ответил за нее дедушка Резо:

— Как же, знаю хорошо эту трубку. Мама ее очень бережет как память об отце. Я, когда молодой был, ее курил потихоньку от матери. И друзьям давал покурить, потому что всем было интересно. Говорили даже, что она волшебная.

— Где же она?!

— Мама увидела, что я ее курил, и куда-то спрятала. Но куда именно, память у нее теперь начисто отшибло. Я уже искал... Может, она придет в себя и вспомнит... Извини, генацвале!

На прощанье слегка приунывший Патрик вынул видеокамеру и стал снимать все подряд: море, заросший, неухоженный сад, разрушенный дом Манико, замечательный автомобиль «Москвич», который еще не знал, что ему предстоит медовое путешествие, и всех своих новых родственников, выстроившихся с вдруг окаменевшими лицами в длинную шеренгу вдоль забора.

Самым сложным для Патрика оказалось влезть в машину. Дверь была маловата. Он занял полтора передних сиденья, и Любе осталась только половинка. Ноги нельзя было распрямить, но ехать было можно. Мотор не хотел заводиться; Патрик, посмеявшись, открыл капот, повозился полчаса со свечами и карбюратором, и «Москвич» ожил.

Все стояли и махали им вслед. Прабабушка Манико плакала, хотя так и не узнала Любу. Патрик вырулил на шоссе. Наконец-то медовый месяц начался. Этот месяц теперь, когда Патрик мне про него рассказывал, походил на кино, хотя то была просто жизнь.

3

Люба показывала дорогу. «Москвич» скрипел и тарахтел, но бодро катил по разбитой асфальтовой дороге между пустынными пляжами и горами. Проехали пригороды, где стояли дачи известных

не только в Сухуми людей: Берии, Сталина, Кагановича, Микояна. В центре города в изумлении смотрел Уоррен на разрушенные здания, танки на улицах и толпы людей возле магазинов.

— Все так интересно! — то и дело восклицал Патрик. — Похоже, мы с тобой тут единственные туристы.

Остановили их на выезде из Сухуми. Дорога была перекрыта двумя грузовиками и милицейской машиной.

— Патруль! — крикнул усатый лейтенант и стал выяснять:— Оружие? Патроны? Гранаты?

— Это твои коллеги, — объяснила Люба. — Полиция.

Им велели открыть багажник.

— Что в чемоданах?

Чемоданы были почти пустые: все, что не украли, уже было роздано.

— А это что? Бензин из города вывозить запрещено.

Милиционер вытащил канистру с бензином, отдал другому, тот быстро унес ее куда-то в кусты.

— Как же так? — вежливо поинтересовался Патрик.

Ответа он не получил.

— Проезжайте быстрее, не создавайте очередь, не то еще и оштрафуем.

Дорога опять вилась над морем, открывая замечательные виды.

— Знаешь что, — предложил Патрик. — Раз здесь война, Резо прав: нам надо перебраться в Россию, там отдыхать. Судя по карте, это еще миль сто. Смотри, какая красота: я обожаю горы.

Они долго петляли по извилистой горной дороге. В поселках стояли бронетранспортеры, кое-где стреляли. Прохожие на улицах, если их спрашивали, смотрели испуганно. Мелькали магазины, рестораны с окнами, заколоченными досками, мертвые рынки. В одном доме, неподалеку от шоссе, им продали две пустые бутылки, чтобы набрать воды из родника.

Солнце перевалило зенит, когда они, свернув с дороги, остановили машину возле заброшенного сада, спустились с пригорка и под развесистой дикой яблоней расположились перекусить. Вокруг ни души. Хлеб с вареньем, которые дал им с собой Резо, и родниковая вода были замечательно вкусные. Патрик расслабился, прилег на сухую траву. Люба положила ему голову на грудь, и оба они после сидячей ночи провалились в сон.

Проснулся Патрик от шума. Сразу три тяжелых черных лимузина с темными стеклами, шурша шинами, медленно выкатились из-за горы и остановились. Уоррен переводил глаза с одной машины на другую, но некоторое время в них не было никаких признаков жизни. Потом из первого и третьего лимузинов высыпали две группы молодых телохранителей в черных костюмах и галстуках и, осматривая окрестность,

растянулись полукругом. Передняя дверца во второй машине открылась. Лысоватый генерал с золотыми погонами вылез на обочину, огляделся и, угодливо согнувшись, стал открывать заднюю дверцу.

Оттуда долго никто не показывался. Затем до блеска начищенный черный сапог опустился на землю. Некоторое время спустя рядом с ним встал другой сапог. Оба сапога пошевелились, разминая ноги, спрятанные внутри них. Из темноты донеслось кряхтение, мужской голос выругался с грузинским акцентом и спросил:

— Людишек вокруг нэт?

— Никак нет, — отчеканил генерал, — все обследовано.

Опираясь на дверцу и поддерживаемый генералом, на свет выбрался старик с изъеденным оспой лицом и усами, западавшими в рот. Он был в белом поношенном френче с расстегнутым стоячим воротничком, двумя карманами на груди и белой фуражке. Старик посмотрел, прищурившись, на солнце и сказал:

— Как печет, мать его туды-сюды!

Сопя и пошатываясь, старик обошел автомобиль сзади и, пристроившись возле колеса, стал справлять нужду. Патрик смущенно скосил глаза на Любу, но она сладко спала. Старик закончил важную миссию и облегченно вздохнул. Застегивая ширинку плохо гнущимися пальцами, он подошел к краю дороги и сдвинул фуражку на затылок. Посмотрел на горы, вынул из кармана кисет с табаком, трубку и стал ее набивать, трамбуя табак большим пальцем.

Охрана раздвинулась широким кругом, внимательно следя за окрестностями. Генерал уже держал наготове зажигалку. Старик сунул трубку в рот и зачмокал, разжигая ее. Тут Патрика вдруг осенило, кто перед ним. Он вскочил, поняв, как ему повезло в жизни. Ведь второго такого шанса не будет. И он крикнул:

— Господин Сталин!

Едва Уоррен пошевелился, охрана бросилась к нему, навалилась, скрутила. Патрик, конечно, мог их в два счета раскидать, но он торопливо просунул голову между двух молодцов, насевших ему на плечи, и представился.

— Видишь? Это так называемая лычная охрана, — сказал старик генералу, яростно плюнул и растоптал плевков сапогом. — За что же народ вам платит зарплату?

— Виноват, товарищ Сталин!

— Давайте меняться, господин Сталин, — крикнул поспешно Патрик. — Я вам отдам трубку вождя индейского племени, а вы мне вашу трубку.

— Мнэ, вождю всего прагрессивного человечества, ты прэдлагаешь трубку лидера какого-то мэлкого плэмени?

— Да ведь эта трубка, согласно легенде, дает не только власть, но и бессмертие!

— Все это чэпуха! Мы, марксысты — атэысты. Но раз тэбе так хочется иметь трубку, каторую курил лычно товарищ Сталын, на, вазьми. Отпустите его. Генерал, подай ему мою трубку.

Старик, кряхтя, полез на заднее сиденье лимузина.

Бросили Патрика на землю, и охрана мгновенно погрузилась в машины.

— Насчет тэх молодых людэй на травке... — сказал старик генералу. — Он ведь амэриканец... Я эще нэмножко подумал и рэшил: нужно ли агентуре Соединенных Штатов знать, что товарищ Сталын сейчас находится на даче в Абхазии?

— Может, дать команду пройтись по ним из «калашникова»?

— Зачэм пройтись? Пусть гости спокойно отдыхают. Когда отдохнут, пусть товарищ Бэрия с ними бэспристрастно разберется. Я думаю, им нэ надо возвращаться в логово империализма. Пусть такой физычески крэпкий амэриканец поработает на социализм. Трубка же вэрнется к ее настоящему хозяину. Поехали!

Заверещал мотор. Патрик держал в руках трубку, которая еще дымила. Теперь он проснулся второй раз, уже по-настоящему. Открыв глаза, Уоррен увидел, что в руке у него сухой сучок от дерева, подобренный на земле. Шум с дороги и дым действительно имели место. Их «Москвич» проворно разворачивался и катил, набитый людьми с обритыми головами.

Патрик проворно вскочил и в три прыжка оказался на асфальте, но машины след простыл. Ни одной попутки на дороге, шоссе будто вымерло. Бежать вслед глупо. Рука мгновенно опустилась в карман: ключи от машины исчезли.

— Трубка, Луба! — застонал Патрик.

— Какая трубка?

— Трубка вождя индейцев, каторую я хотел поменять на трубку вождя Сталина. Она уехала...

С трубкой уехала их одежда, видеокамера Патрика, одеяла, — все осталось в багажнике «Москвича». Зато бумажник в заднем кармане сохранился, поскольку Патрик на нем лежал.

Как мог убедиться читатель, я стараюсь передать то, что Патрик мне рассказывал, слово в слово, без всякой отсебятины. Если Уоррен для красного словца немного приврал насчет встречи с товарищем Сталиным, я за это никакой ответственности не несу. Недавно читал в каком-то очень серьезном журнале, что даже длинные сны протекают в нашем сознании мгновенно, и трубка вождя могла присниться Уоррену, когда воры уже завели мотор его «Москвича». Жене про этот странный сон Патрик решил ничего не рассказывать.

Люба рыдала и, всхлипывая, говорила, что она не хочет так отдыхать. Патрик ее утешал: отдых ведь только начинается. Но Люба счи-

тала, что он уже кончился. Под деревом на траве оставались банка с абрикосовым вареньем, которую облепили пчелы, и полбуханки серого хлеба.

На тропинке, ведущей с горы в яблоневоый сад, появился белобородый старичок с сумой через плечо, похожий на нищего. Он остановился и попросил кусок хлеба. Люба отломала ему половину оставшегося. Он стал жадно есть. Узнав, что произошло, старичок сказал:

— Так это же уголовники, которых из тюрьмы выпустили. Вот они и делают, что хотят.

— Вы где живете? — спросила Люба.

— Теперь нигде. Я — грек, греков абхазы тоже выселили, как и грузин, и армян.

— Куда же вы теперь идете?

— Все отсюда бегут. Иду я в Батуми, чтобы там перебежать в Турцию. Может, в Турции лучше, здесь очень плохо.

— Далеко до аэропорта? — глядя на заплаканную жену, вдруг спросил Патрик, и Люба перевела.

— Аэропорт? Вы сейчас недалеко от Гагры. Единственный аэропорт тут возле Адлера. Это будет уже за границей, то есть в России. Автобусы теперь не ходят. На попутки не сажают, боятся. Остается вам идти пешком. Дня за полтора-два дойдете.

Патрик с Любой двинулись в путь, прихватив банку с остатками варенья, две пустые бутылки и кусок хлеба. Иногда, слыша сзади гул приближающейся машины, Патрик голосовал, но никто не останавливался.

К вечеру дошли до поселка Гантиади. Патрик все время пересчитывал километры в мили, и получалось, что до аэропорта осталось миль двадцать или двадцать пять. Люба стерла обе ноги и идти не могла. Патрик вызвался нести ее, но пышечка Люба знала свой вес и на ручки не пошла.

В сумерках началась стрельба. Где-то ухали пушки. Сзади послышался грохот, рядом с ними остановился бронетранспортер. С него что-то крикнули по-грузински.

— Кто это может быть? — размышлял Патрик. — Абхазы, грузины, русские?.. По крайней мере, это не воры. Не украли же они танк...

— Это грузины, — сказала Люба.

Любе и Патрику светили фонариками в лица с разных сторон.

— Чего они хотят? — спросил Патрик у Любы, когда два десятка солдат в маскировочной форме прыгнули с машины, окружили их, стали о чем-то спорить по-грузински.

— Вам что, молодые люди? — спросила Люба. — Вы кто такие?

Один из них перешел на русский, сказал:

— Проверка документов, дэвушка. Грузинский национальный формирований. Паспорт, паспорт!

Формирование это оживилось и загалдело, поняв, что перед ними иностранец.

— Луба, — возмутился Патрик, — скажи им, чтобы они немедленно нас пропустили.

Люба перевела.

— Скажи ему, чтобы не дэргался, а то арэстует, — немедленно отреагировал другой солдат. — Пусть дает доллары, доллары! Бэз доллары проход нэт.

Патрика трудно было испугать. Он смущенно смотрел на Любу, не зная, что предпринимают в таких случаях в этой странной Абхазии.

— Дай им десять долларов, — велела Люба.

Они осветили купюру.

— Дэсят? У тэбя там еще есть, а у нас нэт. Нэ дэсят, сто давай.

Патрик дал им еще несколько бумажек, и они вернули ему паспорт.

— Эй, генацвале, дэвушку не дашь нам напрокат?

Этот вопрос Люба не стала ему переводить.

Солдаты стали хохотать, хлопали Патрика по плечу, но потом кто-то рывкнул из бронетранспортера, они облепили машину и, размахивая автоматами, с криками укатили.

Надо было искать пристанища. Уоррены решили идти вперед, пока что-нибудь не найдут. Навстречу им, и обгоняя их, шли в одиночку и группами такие же бездомные люди. Многие из них не знали, куда и зачем бредут. На ночлег их нигде не пускали. Так прошагали они по обочине шоссе, спотыкаясь и присаживаясь на землю отдохнуть, до рассвета, без препятствий прошли спящий в зелени городок Леселидзе, где им сказали, что до российской границы недалеко. Патрик и Люба воспрянули духом, даже смеялись, глядя друг на друга: комары так кусали обоих, что распухшие лица трудно было узнать.

На другой день они почти добрались до границы Абхазии с Россией и шли то ли перелеском, то ли старым парком, когда вдруг с гогомом и улюлюканьем их окружила стая шпаны.

— Дядь, дай закурить! — кричали малолетки.

— Он не курит, — сказала Люба.

Саранча эта, явно бежавшая из мест заключения, галдела, клянчила деньги, колобродила, обезумев от свободы, наркотиков и безнаказанности. Они толкались, бросались под ноги, через них приходилось переступать. Одного Патрик поднял за шиворот и задницу, чтобы убрать с дороги — щенок этот каблуком ударил Патрика в глаз. От боли Патрик аж присел.

Исчезла эта свора в лесу так же внезапно, как появилась.

— Мой бумажник! — спохватился Патрик. — Паспорта, билеты, деньги...

У Любы вырвали сумку с остатками абрикосового варенья. Щека и

бровь у Патрика распухли и стали кроваво-синими. Глаз затек, но, слава Богу, был цел.

Мост через реку Псоу перегораживали бронетранспортеры. С одной стороны моста абхазские, с другой — русские части. Их долго допрашивали сначала одни, потом другие, но тут уже говорил один Патрик. И хотя никто не понимал ни слова, его речи действовали гипнотически. В конце концов им даже дали напиток воды и объяснили, как двигаться к аэропорту Адлера.

Они шли все медленнее, все чаще садились и отдыхали. Полуодетые и голодные, когда уже опять темнело, теряя последние остатки сил, они добрались до аэропорта. На площади перед аэровокзалом женщина закрывала тяжелым замком дверь палатки с кривой надписью «Пельмени». Люба бросилась к ней.

— Женщина, миленькая, дайте нам что-нибудь поесть, мы два дня не ели.

— Не видите, закрыто.

— Мы из Америки, вот он — американец, голодный.

— Доллары у него есть?

— Нету, — смутилась Люба и вдруг (откуда мудрость берется у русской женщины?) вспомнила:— Я вам лифчик подарю, американский. Новый, только надела.

Она спустила шлейки сарафана, чтобы буфетчица могла убедиться в качестве лифчика. Патрик, не понимая ни разговора, ни жестов двух женщин, смущенно отвел глаза от жены, делавшей стриптиз за пельмени. Люба сняла лифчик и протянула пельменщице. Та без особого энтузиазма повертела лифчик в руках, деловито спрятала в сумку, сняла с двери замок и скрылась внутри. Вскоре она вышла, неся перед собой две тарелки, полные пельменей, и кусок хлеба.

Люба и Патрик пристроились на столе, врытом в землю возле двери. Пельмени были холодные, жир застыл, но это не имело никакого значения. Они быстро все умяли.

— На завтрак у меня еще остаются американские трусики, — весело сказала Люба. — Вот что потом?..

— Потом... У меня тоже есть трусы, — скромно сказал Патрик.

Аэровокзал Любу с Патриком цветами не встречал. В зал ожидания пускали только по билетам. Оттуда несло, как из конюшни. Люди спали на мешках и бродили, наступая на спящих. В кассы толпились огромные очереди. Да и что просить в кассе? Дежурные, к которым они обратились, вообще не хотели разговаривать. Патрик своим могучим, как ледокол, торсом пробил полынью через толпу к двери с надписью «Начальник смены». Люба попыталась объяснить, что они из Америки и им надо срочно улететь в Москву.

— Всем надо срочно, — прервал ее пожилой начальник, мельком

взглянув на заплывший синий глаз Патрика. — Но когда получится, не знаю. Рейсы почти все отменяются: керосина нет. Паспорта!

— У нас их украли в Абхазии.

— Билеты?

— Тоже.

— Тогда ничего не могу сделать, идите в милицию. Следующий!

В милиции началось все сначала, но потом вышел какой-то старший чин и пригласил к себе в кабинет.

— Трудный случай... Ну да ладно. Раз вы американские туристы, сделаем исключение. Попытаемся помочь... Но вам придется заплатить. Хорошо заплатить и только валютой.

— Нас ведь ограбили. Понимаете, ограбили!

Люба заплакала.

— Тогда это ваши трудности. Просите у родственников деньги. За так — ничем помочь не сможем.

Под крышей места для них не было. Они отправились спать на поляну возле загороженного летного поля, постелив половичок и прислонив голову к столбу с колючей проволокой. Свет не без добрых людей: половичок им принесла сердобольная уборщица, стащив его в комнате для депутатов на втором этаже аэровокзала. Сделала она это потому, что ее любимый внук удрал в Америку.

С утра они опять, голодные и неприкаянные, слонялись по аэровокзалу и округе. Подкармливала их пожилая уборщица за то, что Патрик пообещал найти ее внука в Америке и помочь. Женщина даже принесла Любе из дома теплую кофточку.

Не было никакого выхода, и никто их не собирался выручить. На третий день небритый Патрик, кое-как умывшийся в грязном туалете, усадив Любу в освободившееся кресло, бродил по залу ожидания, как вдруг услышал хорошее лондонское произношение. Быстрым шагом в сторону депутатской комнаты двигался седой человек в элегантном костюме, говоря через переводчика со спутником в генеральской форме. Их окружала свита.

— Минуточку, сэр! Остановитесь, прошу.

Патрик рванулся вперед, но был оттеснен дюжими охранниками. Он молниеносно оценил расстановку сил и мог бы, конечно, положить их всех четверых за полминуты, но это не входило в его задачу. Последняя надежда ускользала.

— Сэр, я американец. Могу я поговорить с вами? — крикнул Патрик, шагая следом за ними.

На него не обращали никакого внимания.

— Эй, это очень важно! Неотложно! Да погодите же, черт вас побери вместе со всей вашей бандой!

Иностранец наконец приостановился, обернулся, и улыбка едва обо-

значилась на его усталом лице. Он оказался чиновником из английского посольства в Москве. Патрик кратко объяснил ему, в чем дело. Дипломат двинул рукой, чтобы американца пропустили. Охранники ничего не понимали, однако расступились. Патрик кратко описал свои мытарства.

— Боже ты мой! — воскликнул дипломат. — Впрочем, это здесь случается все чаще. Напишите мне ваши имена, адрес и телефон. Вечером я буду в Москве и утром позвоню американскому консулу.

— Но нету здесь у нас ни телефона, ни адреса. Адлер, аэродромное поле, вот и все. Спим на улице.

— Им лучше адресовать на начальника аэропорта, — посоветовал генерал. Он снял фуражку и вытер мокрую лысину. — Я ему поясню.

— Вам, наверное, нужны деньги, — вдруг сообразив, предложил дипломат.

— Сколько вам дать и каких? Фунтов, долларов, рублей?

— Если не трудно, дайте три-четыре сотни баксов и ваше имя, — сказал Патрик. — Я вам верну, как только смогу позвонить в Бэнк оф Америка. Благослови вас Господь!

За доллары через каких-нибудь полтора часа их пустили в аэропортовскую гостиницу. Наконец-то медовый месяц шел на лад. Но поселили их отдельно: Любу в женский номер на шесть коек, Патрика в мужской на четверых. Женский и мужской душ и туалеты были в конце коридора, прогуливаясь по которому, молодые могли предаваться семейному счастью.

На следующий день они выяснили, что авиакомпания «Дельта» восстановила их билеты из Москвы домой. Однако ушло еще три дня, пока «Аэрофлот» продал им новые билеты до Москвы, ибо, сказали им, старые мог использовать тот, кто их украл, что, само собой, полная чушь.

В связи с такой диспропорцией у читателя может сложиться мнение, будто автор стал работать в жанре американского соцреализма, коль скоро у него то и дело получается, что у нас, в Америке, все славненько. Так вот, когда они прилетели в Москву и явились в американское консульство, Патрику немедленно выдали новый паспорт. Любе, у которой давно просрочена студенческая виза, объявили, что ей придется задержаться на несколько месяцев, пока американские компетентные органы разрешат ей въезд к мужу-американцу. Ведь у нее даже российского паспорта нету.

Патрик почувствовал, что за медовым месяцем последует многомесячный пост. Ненависть к американской бюрократии, которую он защищает не щадя здоровья, вспыхнула в сердце полицейского Уоррена. Тут автору хорошо бы повернуть сюжет так: в этот момент неизвестно откуда является умелый чекист-вербовщик, и, кто знает, может, Патрик Уоррен переметнулся бы к коммунистам или еще каким-нибудь «истам». Но сочинять, как уже убедился читатель, не в моих правилах.

Просто из консульства Патрик в гневе позвонил в Сакраменто своему шерифу, тот — губернатору Калифорнии, губернатор — в Вашингтон, из Вашингтона гнев вернулся в Москву в виде вежливой просьбы сделать исключение из правила. От посла к консулу с приказом выдать въездную визу жене инспектора Уоррена явился молодой симпатичный служащий баскетбольного роста и вдруг, увидев в приемной Патрика, бросился его обнимать.

— Генацвале! — прошептал он. — Зачем ты городил весь этот огород, если мы с тобой учились в Сакраменто в одном классе и играли в баскет за одну команду?! Сразу надо было прямо ко мне, и мы бы это дело обтяпали в пять минут!

Конечно, «генацвале» я для красного словца вставил, он прошептал «buddy». И Патрик не ведал, что его кореш служит в посольстве. Я только хочу подчеркнуть негативные стороны американской реальности. В отдельных нетипичных случаях американцы оказываются такими же блажными ребятами, как россияне.

4

— Диета там была очень хорошая, — вспоминал теперь Патрик, сидя в кресле у меня в кабинете. — Мы почти ничего не ели. В итоге я пришел к выводу, что я никогда в жизни так увлекательно и насыщенно не отдыхал. Море впечатлений. Наш медовый месяц Луба и я запомним на всю жизнь.

— Еще бы! — согласился я.

— После поездки у меня забот прибавилось. Деньги на новую машину двоюродному дедушке Резо я уже послал с одним знакомым. В Лондон для дипломата чек отправил. По служебным каналам нашел тут, в Америке, внука уборщицы из адлерского аэропорта, буду посылать ему ежемесячно небольшое пособие и пытаюсь помочь мальчику найти работу.

— О'кей, Патрик, — сказал я, проглотив желание поморализировать на эту тему. — Ведь не только для того, чтобы рассказать мне эту историю, вы приехали в университет. Как я могу вам помочь?

— Слушай, генацвале, — бодро заявил он и, не дав мне секунды, чтобы улыбнуться, тут же перешел на нормальный английский. — Хочу взять курсы русского, грузинского и абхазского языков. Только вечером, после работы.

— Но у нас нет грузинского и абхазского...

Он замялся.

— Тогда только русский. Говорят, он все еще универсальный на всех их территориях.

— Пожалуй. Но вам надо поговорить с директором русской программы профессором Галлантом. У него как раз сейчас приемные часы. Зачем вам грузинский и абхазский?

— Как зачем? — гордо произнес он. — У меня там корни! Знаете, какой смысл в слове «Абхазия»? В переводе это «Страна души»!

Разговор этот состоялся прошлым летом. Зимой нас с женой пригласили в Сан-Франциско на концерт московских артистов. Мы опаздывали, машин на хайвее было немного, я давил на газ, внимательно глядя по сторонам и особенно назад, чтобы не прозевать патруль. Стрелка спидометра зашкаливала за 90 миль. Уже оставалось недалеко, когда я услышал вежливый голос с неба:

— Водитель темно-красной «Тойоты», остановитесь на обочине. Прошу вас, сэр, пожалуйста! Только не под мостом, а чуть дальше, на открытом месте, сэр...

Вокруг нас темно-красных машин не имелось, и деваться было некуда. Пришлось съехать на обочину и тормозить. Черный с белым опереньем вертолет сел на высохшую травку поблизости. Прошло еще несколько минут, пока его лопасти перестали вращаться.

— Хорошо бы дежурил Патрик Уоррен, — сказал я жене. — Наш человек! Но это почти невероятно: патрульных на этой дороге уйма.

И тут Патрик Уоррен собственной огромной персоной предстал перед моим окошком, загородив весь белый свет.

— Сожалею, сэр: я не знал, что это вы, и уже ввел номер вашей «Тойоты» в компьютер. Здесь лимит скорости 65 миль. Вы шли девяносто, это, — он пошевелил губами, что-то подсчитывая, — по-русски будет 140 километров в час, но я вам напишу семьдесят пять миль. Все-таки немного дешевле. Казна у нас в Калифорнии пустая, и штрафы на дорогах превысили 250 баксов.

— Но это же грабеж среди бела дня!

— Я сам возмущаюсь, сэр. Что делать? Все мы кормим этих прожорливых бюрократов, чертовщина какая-то. У вас, конечно, есть шанс обжаловать в суде, но времени потратите уйму, отспорить у полиции трудно. Прошу вас, не гоните. Сегодня на этом участке уже было три аварии, одна со смертельным исходом.

Он вручил мне «тикет».

— Из-за вас, Патрик, — зло сказал я, — мы опоздали на концерт.

Уоррен это понял по-своему.

— Извините, что не могу подкинуть вас в Сан-Франциско: на ту сторону залива мне летать нельзя, там не наша епархия.

Уоррен крепко пожал мне руку ковшом своего экскаватора. В заднее окно я увидел, как вертолет распушил сухую траву и взмыл над хайвеем.

Осенью, зимой и весной я, бывало, встречал Патрика на кампусе.

Он выделялся в толпе студентов своим могучим сложением да еще полицейской формой. Видимо, не успевал до занятий заехать домой и переодеться.

— Здравсвуйте! — всегда выкрикивал он и добавлял менее уверенно. — Я уже хорошо говорит русского языка.

Однажды он вбежал ко мне в кабинет сияющий:

— Поздравляю! Луба родил малчик.

Само собой, он хотел сказать «поздравьте меня».

— Молодцы, не теряете времени зря.

— Знаете, где мы его заделали? Луба с доктором точно подсчитали: в Адлере, на аэродромном поле, когда мы не могли улететь. На поле так пахло полынью, что я не мог удержаться. Правда, там еще пахло керосином от самолетов и изрядно несло из соседнего туалета, но я решил не обращать внимания. Произошло это на половине из депутатской комнаты. Подумать только, какие люди ходили по этому коврику! Может быть, Сталин и Берия. И Каганович. И Горбачев. И этот тиран Микоян!

— Главный тиран был Сталин, — усмехнулся я. — Микоян — мелкий: он был наркомом пищевой промышленности, делал «хат догс».

— Да, конечно, — согласился Патрик. — Все они делали «хат догс». Тепер за два копейка гус там купить нет.

В его понимании российской исторической специфики явно намелился прогресс, я это оценил.

Вернувшись в разгар лета из Европы, я нашел факс от полицейского Патрика Уоррена. Текст начинался словами: «Доводим до сведения всех родных, друзей и знакомых...» Далее факс торжественно сообщал, что Люба опять беременна и ждет второго ребенка. Я позвонил, чтобы поздравить.

— Вы смотрите русские новости? — спросил он. — Там у них продолжают беспорядки. Грузины с абхазами воюют. Молдаване ссорятся между собой. Армяне с азербайджанцами конфликтуют. Таджики с афганцами дерутся... В Чечне кошмар. Это надо пре-кра-тить!

— Надо, — охотно согласился я. — Но как?

— Разве я вам не говорил? Собираюсь опять туда.

— С Любой?

— Боюсь, на этот раз нет. Она ведь ждет ребенка.

— Что же вы будете там делать?

— Как что?! — воскликнул Уоррен. — Во-первых, через тетю в Москве Луба узнала, что прабабушка Манико пришла в себя после контузии. Надеюсь, она вспомнит, куда она спрятала трубку Сталина. Во-вторых, я помню в лицо всех, кто нас грабил. Я их найду. В-третьих, у меня есть колоссальная идея: я решил их всех по-ми-рить.

— Да ну?!

— Хватит им дурака валять! Я бы сделал это в прошлый раз, но оказался не готов. Ведь я был их гостем. Поэтому, когда на меня напали, не мог адекватно реагировать и совершенно не использовал свои значительные физические возможности. И потом, я был без формы, не имел с собой оружия, дубинки, наручников и уоки-токи. Теперь все будет иначе, генацвале!

От этого грузинского слова, произнесенного с калифорнийским акцентом, смех так разбирает меня, что я напрочь лишаюсь дара речи, поэтому остается подвести предварительные итоги.

Уоррены не только растят грузинско-абхазско-русско-американского мальчика, но, как вы слышали, Люба уже опять беременна, о чем поставлена в известность факсами вся Калифорния, особо — президент Рейган с Нэнси и, заказным письмом с уведомлением о вручении, прабабушка Манико.

Но ни Рейгану с Нэнси, ни Манико, ни грузинам, ни абхазам, ни армянам, ни азербайджанцам, ни молдаванам, ни таджикам, ни чеченцам, ни МИДу России, ни ЦРУ, ни ООН еще ничего неизвестно о другом. Ухом не ведет российское учреждение, с любовью называемое в народе Федеральным Агентством Контрразведки, — аббревиатуру, уж извините, при дамах не могу произнести; чекисты, однако, смекнули и быстренько сменили вывеску.

Итак, никто еще не знает, что генацвале Патрик Уоррен сегодня утром вылетел в полной форме из Сакраменто в Москву, а оттуда на Кавказ устанавливать прочный мир. Я добавлю: сначала на Кавказ, потом...

Т-сс... Об этом пока никому!

ДЕНЬГИ
КРУГЛЫЕ

1

Разбудил Машу напряженный разговор за дверью.

— Я устала, устала! Тебе плевать: отвалил в парк и обо всем забыл. А у меня дети...

Это мама.

— Каждый раз одно и то же. Завтра зарплата, завтра! С луны ты, что ль, свалилась?

Это отец.

— Завтра? А дети? Им надо жрать сегодня!

— Делала бы аборты, как все, не стонала бы теперь.

— Сам же сказал: ладно, рожай.

— Мало ли что! У тебя головы нету? С одним-то вертелись на сковородке. Я что, из тумбочки бабки достаю? На кой всякое дерьмо покупаешь?

— Тарелки — не дерьмо, дефицит, все брали.

— Ладно, тарелки... Юбка зеленая откуда?

— Юбку мне Евдокия отдала, ношеную. От тебя такого подарка не дождешься. Почему одна я должна биться как рыба об лед? Вон, у Фаины мужик дак мужик...

Это опять мама. Евдокия — одна соседка, проводница поезда «Москва — Берлин», Фаина — другая, у нее муж в «Утильсырье» талоны на «Графа Монте-Кристо» за макулатуру выдает.

— У Фаины мужик абсолютно ежедневно в дом чегой-то приносит. Е-же-днев-но.

— Он же ворюга!

— На деньгах, между прочим, этого не написано.

— Скоро сядет!

— Пока сядет, он знаешь сколько для семьи нагребет? А ты?

— Фаина и сама будь здоров в колбасном отделе имеет, не тебе чета. Ты шоколадки за справки получаешь. Брала бы деньгами, раз ты у нас такой оперативный работник. Где то, что за прописку дают?

— Так ведь это не каждый день. И потом, начальник паспортного стола почти все себе забирает, знаешь ведь. Зато я талоны лишние на заказы приношу. Есть-то ты каждый день просишь!

Маша хотела выбежать и сказать, что ей ничего не надо. Только не сорьтесь. Ведь это она, Маша, виновата, что родилась. Аборт — такая штука: Маша уже была, потом раз — и нету. Мама ее пожалела. Но лучше промолчать. Ей ответят: «Не лезь! Не твое дело». Хотя почему не ее? Ведь это она да Санька — дети, из-за которых...

Каждый день, едва отец к ночи вернется, мать заводит разговор про деньги. Маша от крика просыпается. Раньше она думала, что деньги — это монеты, которые ей давали на мороженое. Однажды, в разгар ссоры, вынула из своей коробочки:

— Сейчас я вам дам денег.

Отец спросил:

— Бумажек у тебя нема?

Побежала в свой угол за диваном и принесла мелко нарезанные листочки из тетради, которыми она играла в магазин. На листках было написано: «10 рублей», «100 рублей».

— Во-во! — обрадовался отец. — И подари их матери. Пускай купит все, что ей во сне приснится.

Теперь-то Маша прекрасно знает, что такое деньги. Деньги — это то, что нигде не продают, а за что-нибудь дают. Но не всем. Кому больше, кому меньше. Некоторые умные люди знают, где они спрятаны, и сами берут, без спроса. Отец твердит, что ему лично деньги ни к чему, он и без них может упереться рогом и все достать из-под земли. Но не желает, устал. Устал и хочет хоть немного пожить честно, не думая о деньгах с утра до ночи. Мама же говорит, мол, честность и даром теперь никому не нужна. Поэтому папа все же деньги приносит. Он отдает их матери. Мама берет — улыбается и целует отца. Не принесет — не целует.

Сегодня воскресенье. Отец уходит в смену то днем, то вечером, то ночью и даже в воскресенье. Дома он всегда спит или просто лежит на диване, не шевелится и смотрит в потолок. Иногда говорит:

— Вон там опять паутина. Чем же ты целый день занимаешься?

Мама паспортисткой в домоуправлении работает: то полдня утром, то полдня вечером. Они и видятся-то редко, а то бы еще больше ругались.

— Пап, давай телевизор посмотрим?

— За день я такого телевизора насмотрелся, что сыт по горло.

Маша берет книжку, садится к нему на живот и смотрит картинки. Отец дремлет, Маша движется: то вверх, то вниз. Сейчас он, значит, проснулся и, собираясь уходить, примирительно говорит матери:

— Да брось нервы себе трепать! Будто впервой... Выкрутишься!

— Избаловался на всем готовеньком, — ведет свою линию мать.
— Хватит! Бери себе половину детей и поступай как хочешь.

Одна половина детей — Санька, другая — Маша. Конечно, отец возьмет Машу. Санька — разгильдяй, папа с ним все время на взводе. Мама, хоть Санька уже почти с нее ростом, стеганет его отцовским ремнем, если что. Он поревет и бурчит:

— Все равно не буду!

Но слушается, за милую душу.

— Пошли, Машка! — решительно говорит отец. — Ты одета?

— Бант завяжешь?

— Может, тебе еще брильянты в уши? Из-за банта я к напарнику опоздаю.

До Савеловского вокзала они ехали в набитом до отказа автобусе, к парку долго перли пешком через сквер и через стройку. Маша еле поспевала, а когда дошли, обрадовалась: будем кататься! Она сразу узнала папину «Волгу». Серая, крыша красная и номер легкий: 23-43 ММТ. На крыле закрашенный след от длинной вмятины. Это когда папа в самосвал врезался. Но абсолютно все говорили, что самосвал сам виноват.

Напарник дядя Тихон стоял небритый и рукавом от старой рубашки ладно вытирал. Тихон увидел отца с Машей, сдвинул назад фуражку, прищурился:

— Ха! Опять разводишься?

— На день взял.

— Тоже дело. Что разводишь, что не разводишь — один компот. Щас отбивала к тебе с ней прицепится...

— Уговорю! Куда ж мне ее девать? В комиссионку пока детей не берут. Ну как сцепление?

— Ведет сцепление! Ваша милость с бабой цапались, а я тут его подтягивал на яме полчаса. Надо новый диск, на складе говорят, будет после первого. Ха! Какого месяца первое — вот вопрос.

— Диск давно бьет.

— Бьет и все по карману!

— Машка, садись! — скомандовал отец.

Ловко открыв дверцу, она ухватилась за руль, поерзала по сиденью и устроилась напротив счетчика, положив на коленки руки. Силась прочитать цифры, отбитые на счетчике, сморщила нос, на котором красовались три огромные веснушки и целый хоровод мелких. Счетчик показывал одни бублики.

— Ха! Между прочим, с утра у меня опять инструктаж был, — вспомнил Тихон. — Тот же юный пионер в кожаном пинжачке, при красном галстуке с искрой, колесики со скрипом. Парторгу велел меня разыскать и потом удалиться, чтобы мы, значит, наедине остались.

— Взял бы да и схилял. На кой тебе время тратить?

— Зачем же начальство нервировать? И потом, он думает, он меня вербует, да может, звон-то, я его... Пусть говорит, мы послушаем себе не во вред. Ботиночки-то скрипели, а сам расспрашивал, какие слухи насчет высшего руководства и лично насчет самого главного товарища в природе клиентов фигурируют. Ха! Кто их знает, какие слухи? Всякие, верно? Велел внимательно слушать и запоминать. Ну, сообщать, конешное дело, лично ему. Вот, телефончик продиктовал дополнительный, если чего важное, а он в отсуствии. Обещал содействие в случае чего.

— Чего именно?

— Он намекнул, но не уточнил. При okazji в разговорах с пассажирами велел разъяснять, что денежной реформы, дескать, в текущий момент вышестоящие органы не планируют. Это враждебные слухи. Мол, правительство целиком в заботе об трудящихся, понял? А то, говорит, неуместная паника отражается на производительности труда. Надо народ успокоить, чтоб не хмурился. Ха!

— Пускай сами успокаивают.

— Пуцдай-то пуцдай. Но он опять же намекал: дескать, выборочно ставят в машины подслушки. Я, конечно, удивления не изображал, но для порядка спрашиваю:

«В моей-то тачке установлено?»

«Это, — говорит, — мне неизвестно, не я этим занимаюсь. Тебе лично мы, конечно, доверяем, ты наш человек. Только, мол, на случай, если иностранцев везешь. Расширение, мол, с иностранцами производится...»

— Ну и хрен с ними! Наше дело — баранка да счетчик.

— Ха! Мое дело — тебе передать.

Отец плюхнулся за руль, больно задев Машу локтем. Мотор долго не хотел заводиться, чихал и наконец взревел. Отец высунулся по пояс из окошка.

— Ведет, сволочь!

— Ведет не ведет, план отдай.

Нахлобучив фуражку, отец отъехал, вдруг притормозил, дал задний ход, опять поравнялся с Тихоном.

— У тебя в загашнике не завалилось? Начинаю без копыя.

— Ха! Я тебе что, Госбанк? Сам учишь печатать.

— Завтра посчитаемся.

— Раздеваешь меня! — Тихон порылся в карманах, достал две скомканые двадцатипятирублевки. — С тебя процент на портвейн! И за это по дороге заедь к Клавке, пять банок мне на ночь возьми.

— Какие пять банок, пап? — спросила Маша, когда Тихон уплыл назад.

— Не твое дело!

Вокруг кишел автомобильный муравейник. Со всех сторон ползли, пятились машины. Вот-вот столкнутся, но под боком у отца в этой неразберихе не страшно.

— Что за клиент без счетчика? — строго спросил из окошка отбивала, механически пробив время выезда, но придержав путевку.

— Дочка, Андреич, — объяснил отец. — Сейчас по дороге домой завезу.

— Учти, что не положено.

— Учту, учту, за мной, сам знаешь, не пропадет...

Отбивала подышал на штамп, прижал его к путевке и надавил кнопку. Ворота загромыхали и раздвинулись. Отец вырулил на улицу.

— Как же домой, пап? Мама ведь велела, чтоб мы целый день не появлялись...

— Помалкивай, сам знаю!

2

День стоял не солнечный, но и не пасмурный. Ветер вяло закручивал пыль в воронки, медленно гнал вдоль тротуаров мусор вперемешку с листьями. Грузовики застилали улицы сизым дымом. Дым растекался и таял, оставляя запах горелой каши. Проехали потихоньку пустырь и несколько кварталов. Отец лениво глазел по сторонам, изредка чертыхался. Сцепление, наверно, вело не туда. Возле гостиницы на тротуаре стоял чемодан с привязанной к нему авоськой. Рядом нервно бегал мужчина в сером плаще. В одной руке он держал коробку, другой размахивал, пытаясь остановить какой-нибудь транспорт. Отец притормозил, перегнулся, навалившись на Машу, к окошку.

— Куда?

— На Курский. Если можно, поскорей.

— Всем надо скорей. Но если будет пойда, можно.

— Пойда? Что-то я не слышал...

— Это по-восточному, как бы сказать, смазка.

— Ах, смазка! Так бы и сразу. Смазка будет.

Пассажиры открыли переднюю дверцу.

— О, да тут занято...

И расположился на заднем сиденье, обхватив рукой вещи.

— Дочка, — объяснил отец. — Мать нас с ней из дому выгнала. Но мы и сами проживем, верно, Маш?

— Не совсем ведь выгнала, пап!

— Дурочка, я ж шучу.

Застеснявшись, Маша кивнула и стала разглядывать прохожих на тротуарах.

— У меня тоже дочка в Муроме. Вот куклу ей везу. Посмотреть не хочешь?

На сиденье легла коробка. Маша вопросительно взглянула на отца.

— Посмотри, чего ж, руки не отсохнут.

Маша вежливо сняла крышку. Кукла была ослепительная: синие глаза, черные ресницы, желтые волосы. Платье — модное. Даже бусы и часы на руке. Закрыв коробку, девочка сказала равнодушно:

— У меня полно кукол, да, пап? Целых двенадцать штук...

— Такой у тебя, положим, нету, — возразил пассажир. — Я сам торговый работник, весь поступающий товар знаю. Это новинка, импорт из Венгрии. Нету ведь?

— Такой нету, — призналась Маша.

— Скажи отцу, пускай приобретет. Сейчас как раз завоз.

— Приобретешь, — засмеялся отец, — мать ворчать будет...

— Разве ж таксисты мало гребут?

— А торговые работники мало?

— Вроде и немало, — неопределенно протянул клиент. — И зарплата текет, и навар. Но рублю-то цена копеек, сам знаешь.

— Мама говорила, в рубле сто копеек.

— Много она понимает, твоя мама, — проворчал отец.

— По-моему, бабы не виноваты, — сказал пассажир.

— Кто ж тогда виноват?

— Деньги ненаглядные! Они ведь скользят да вертятся. Тут возьми, там отдай. Круглые, что твой руль.

— Пап, почему деньги круглые?

Маша смотрела, как выталкивают одна другую цифры на счетчике. Пассажир глянул на счетчик, потом на девочку, сощурился:

— Круглые? Потому как гуляют по кругу. Вон, вишь, вертятся? Ты даже глаз оторвать не можешь — гипноз! Отец отдает твоей матери, мать продавцу в магазин, продавец в такси садится — опять отцу, отец опять матери.

— А мама мне на мороженое?

— И на мороженое. Детям тоже радость положена.

Отец долго молчал.

— Впрямь круглые, — вдруг согласился он. — Ты их крутишь, они тебя. И все норовят вкруг горла, вкруг горла... Только, по-моему, все ж деньги не полную цену имеют.

Пассажир заинтересованно наклонился к отцу.

— Что же, по-твоему, имеет полную цену?

— Не знаю. Люди-то должны быть людьми. Али теперь уж нет?

— Ну, люди! — клиент расхохотался. — Чего они стоят? Практика

показывает: и копейки человеку за так нельзя дать. Дашь — возьмет и тебя же в дерьмо обмакнет. Жизни цену определяешь, только когда заболеешь, и в карман врачу клади. На людей, брат, надейся, да сам простофилей не будь. Ищи, где плохо лежит! Деньги на деревьях не растут.

— А если б росли? — скосил глаза отец.

— Если б росли, я бы Мичуриным стал. Выводил бы гибриды — полсотенные с сотенными скрещивал. — Пассажир засмеялся, удовлетворенный родившейся мыслью. — Вот какая агрономия, верно, дочка? Учат вас в школе разной ерунде, а как деньги делать — предмета такого нету. Еще называется аттестат зрелости. Вот она, зрелость-то!

Он постучал по карману. Маша хотела защитить школу, но промолчала. Скоро месяц, как она во второй класс ходит. И будет всегда в школу ходить, потому что дома еще скучнее. Санька же в шестом классе. Он про деньги давно все знает. В магазин сам ходит и к отцу в день поллучки едет, чтобы скорей деньги матери привезти. Отец-то еще когда дома появится. Они с Тихоном с поллучки должны в шашлычную зайти. Они уважают шашлычную.

Отец, резко повернув, остановился у стеклянного подъезда Курского. Пассажир стал шарить в карманах.

— Сколько там, дочка, натарахтело?

Маша быстро прочитала:

— Ноль два семь восемь.

Человек протянул бумажку — пять рублей.

— Не мало?

— Ладно! — сказал отец.

— Пятсот копеек, — сказала Маша и стала загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. — Сдачи я сейчас посчитаю.

— Да не считай, — заторопился пассажир. — Вот только куколку у тебя заберу. Ну, прощай, доченька!

Он вылез, вытащил чемодан с авоськой, коробку и смешался с толпой.

— Хороший дядя...

— Все хорошие, пока...

— Пока что?

— Да так... Поехали на стоянку, пока нас тут не прижучили.

На стоянке — толкотня, чемоданы, детский плач, мешки, лица всех наций, дым, ящики, базар, ругань. Наверное, только что пришел поезд. Отец хлопнул дверцей, обошел машину.

— Чья очередь?

Машин нос расплющился о стекло. Она изо всех сил колотила в окно.

— Чего тебе?

— Пап-пап! Посади вон того Гитлера с птичкой.

Отец подмигнул и, пока трое с большими чемоданами ссорились, кому садиться первому, привел за рукав и посадил худого старика в синем выцветшем костюме. У него были смешные квадратные усики, и этим он напоминал Гитлера. Гитлер держал в руке клетку. В клетке сидела на жердочке голубая птица.

— Так я, собственно говоря, молодой человек, вне, так сказать, очереди.

— Знаю! Дочке ты понравился... Куда?

— Собственно говоря, на Птичий рынок.

— На Птичий, так на Птичий...

— Поставьте клетку сюда, — Маше захотелось поиграть с птичкой.

— Пожалста! Я ее крепко буду держать.

Она обняла клетку и просунула внутрь палец. Палец был тоненький, и голубая птица клюнула его, приняв, видно, за червяка. Но не больно.

— Это какая птица?

— Попугайчик, милоч, волнистый.

— Он поет?

— Разговаривает, если не волнуется. Только о чем, неведомо...

Ехали долго, у светофоров были пробки, где светофоров не было, пробки были еще длиннее. Никто не хотел пропускать других, и движение совсем стопорилось. Отец вывернул влево, обошел несколько машин и тут же услышал посвист гаишника. Тот не обращал внимания на пробку, но выискивал, кого бы остановить.

— Нарушаем? Попрошу документации.

Гаишнику, Маша знала, всегда оставляют, если ни за что, то десятку. Но не просто дают, а так, чтобы он не обиделся. Иначе придется ждать, пока он сочинит бумагу в парк, и за ее ликвидацию надо будет давать уже не десять, а двадцать пять. Папа умеет с ними разговаривать: всегда хватает десятки. Но тут разговор пошел долгий. Из-за того, что такси остановлено посреди дороги, машин скопилось еще больше.

Старик все время бормотал что-то, кивал и гладил рукой щеточку усов. Девочка пыталась поговорить с попугайчиком. Тот поворачивал набок голову, прислушивался. То начинал метаться, испугавшись визга тормозов. Иногда Маша оборачивалась, и тогда старик подмигивал ей или тихонько свистел:

— Чифырьть-чифырьть-чику! Чичу-чифырьть!..

Наконец все уладилось.

— Десять? — спросила Маша со знанием дела.

— Как же! — отозвался отец. — Чтoб он ими подавился!

— Извини, сынок, — проговорил старик. — Это я такой невезучий.

При мне всегда что-нибудь да не так.

— Ладно уж, сочтемся...

Когда подъехали к Птичьему рынку, Маша погладила клетку и попыталась посвистеть, как старик. Но не получилось. Она обняла отца за шею и зашептала ему в ухо.

— Ты что — дурочка? Мать же нас убьет...

Но тут же, отстранив дочку, спросил старика:

— Продавать, что ли?

— Собственно говоря, однако, да.

— Почему?

— Тут главное, — старик засмутился, — в какие руки, собственно говоря, отдавать. Если в чистые, тогда совсем задешево и с клеткой. У старухи астма, птицу в доме держать нельзя.

— Тоже правильно! Пятерки хватит?

— Хватит, конечно, хватит! — растерялся старик, вертя в руках деньги. — Только... Вот ведь какая мелодия: мне теперь рынок-то ни к чему. Меня старуха дома ожидает.

— Зачем дело стало? Обрато на вокзал свезем, Маш?

Она кивнула.

— Накладно мне выйдет.

— Да так отвезу! Я уже эту сумму из попугая вычел.

— Счастливы ты человек, — сказал старик. — Знаешь практику жизни.

— Уж счастливый, дальше некуда!

— Сам-то из каких?

— Я-то? Гегемонка, кто ж еще?

— Как-как?

— Ну гегемон. Пролетарий то есть.

— Рабочий класс? Это хорошо. Я вот из кулаков. Так сказать, классовый враг. За это просидел молодость, пришлось...

— Не повезло!

До самого вокзала старик держал пятерку в руках. Как приехали — заморгал, засуетился, вытащил кошелек, спрятал туда деньги и все что-то причитал. Потом полез в карман и вытащил пакетик проса.

— Вот, милоч! Чуть корм отдать не позабыл...

— Попугай теперь насовсем мой? — спросила Маша.

— Твой, твой! — успокоил ее отец. — И Санькин, конечно, тоже...

— Замечательный Гитлер, добрый.

— Откуда ты Гитлера взяла?

— Из телевизора. Только этот лучше. У него, наверно, денег мало...

Отец ее недослушал, вылез таскать мешки. В такси расселся восточный человек в кепке с огромным козырьком, загорелый и в себе уверенный. Багажник и заднее сиденье они с отцом набили мешками грецких орехов и теперь ехали на Черемушкинский рынок.

— Между прочим, как у вас тут теперь с культурным обслуживани-

ем? — первым делом осведомился пассажир.

— В каком смысле? — оценивающе посмотрел на него отец.

— Блондинки, между прочим, на вечер в наличии не имеется?

— Блондинки по червончику штука, — не отрываясь от дороги, сразу сказал отец.

— А брюнетки? — встряла Маша.

— Брюнетки не надо, — отрезал пассажир. — Мы сами брюнеты.

Когда выгрузились на рынке, он напомнил:

— Давай блондинку, только без обмана.

— Вот, — отец достал записную книжку, дал ему карандаш и продиктовал номер. — Скажешь, от Семен Семеныча. По телефону лишнего не болтай, ясно? С ней отдельно рассчитываешься.

— Она Азербайджан уважает?

— Она всех уважает, кто платит.

Восточный человек расплатился за такси и за номер блондинки.

Отец с Машей уехали.

— Зачем ему блондинка, пап?

— В кино сходить.

— А аборт?

— Что — аборт?

— Аборт она будет делать?

Девочка сидела в обнимку с клеткой. Попугай забился в угол, дремал. Они все ездили и ездили. Везли туристов с рюкзаками, инвалида на костылях, за ним семью: мать, отца и двух близнецов. Оба близнеца одинаковыми голосами выли на всю улицу. Высадив их, отец закурил, проехал немного и остановился возле винного магазина. У входа стояла толпа, ожидая конца обеденного перерыва. Такси зарулило во двор.

— Ты к Клавке?

— С чего ты взяла?

— Дядя Тихон сказал.

— Чем болтать, погуляй-ка вокруг машины, погляди, чтоб во двор никого не занесло. Я быстро.

Отец исчез в двери, загроможденной по бокам пустыми коробками. Потом показался снова.

— Никто здесь не шастал?

— Никто!

Он вытащил из-за двери и, прижимая к животу, принес коробку. На ней было написано: «Брутто. Нетто».

— Брутто и Нетто — братья, пап?

— Да помолчи ты!

Он поставил коробку возле багажника и ударом кулака открыл замок.

— Ой, сколько огнетушителей! — воскликнула Маша. — Пять штук!

— Держи-ка! — он дал ей в руки один и стал отвинчивать другой.

Сняв крышку, он опустил внутрь бутылку водки и снова завинтил.

— Секрет, — он первый раз за весь день рассмеялся.

— Какой же секрет? — рассудительно сказала Маша. — Пять бабок дядя Тихон ночью реализует. Только зачем ему деньги? Ведь у него жены нет, ты сам говорил.

— Зато бабы есть, — сурово сказал отец. — Это еще дороже.

— Почему дороже?

— Потому что их много, а он один, поняла?

— Поняла.

Потом они стояли на стоянке, и отец выкурил полпачки сигарет. Маша стала кашлять от дыма, и ей захотелось есть. Но отец ведь работает, попросишь — рассердится. Лучше потерпеть. И она стала кормить попугая. В машину никто не садился.

— Загораешь? — к папе подошел шофер из соседнего такси. — Дай-ка курнуть... Все норовят пешком пройти или в крайнем случае на трамвае, а деньги в чулок.

— Зачем в чулок? — спросила Маша.

— Из чулка они не вываливаются, если не дырявый...

Шофер прикурил и отошел.

— Ну-ка подвинь свою клетку, — пробурчал отец. — К лешему их всех, поехали!

3

У шашлычной на Ленинградском проспекте теснилась очередь. Отец пробрался сквозь толпу, волоча за собой дочь, и пнул дверь. Гардеробщик, фуражка золотом, как папу увидел, сразу засов скинул.

— Лида в смене?

— Тама, куды она деется!

Маша цепко держала отца за карман куртки. В зале пахло дымом, шум стоял, как в бане. Если по ушам хлопать, получается музыка.

— Стой тут, с места ни-ни!

Отец исчез. Когда он вернулся, им сразу показали на столик в углу, возле раздачи. Ничего не спрашивая, официантка Лида принесла два шашлыка и бросила на стол пачку сигарет. У нее, как у Снегурочки, на черных волосах трепетал кружевной кокошник. Лида устало присела на край стула.

— Чо не заходишь?

— Работы под завязку.

— У, ее вечно под завязку, работы-то. И вся черная. Так и жизнь пролетит, как ворона. Радости не видать...

— Дак к тебе же Тихон зачал!

— Ну и чо? Я ему полста в месяц плачу за то, что он меня сюда возит.

— Я, значит, дармовой?

— Венгерский офицер с женщин денег не берет. Может, мне с тобой интересней.

Вынув из кармана зеркальце и помаду, Лида взглянула на себя, обвела помадой губы. Приведя себя в порядок, придирчиво, но без ревности, оглядела Машу.

— Разрежь мне, — попросила девочка отца.

Он разрезал ей мясо мелкими кусками, отломил край булки.

— Чо, дома уже и не кормят? Нынче-то воскресенье...

— Полаялись.

— Заехал бы вечером. Я сегодня в восемь освобожусь, Тихон занят...

— Девать, вишь, некуда, — он глазами показал на Машу.

— Ну и дурак!..

— А мальчонка-то как?

— Ишь, вспомнил! Все папку ждет, а папка — троеженец чертов!

— Почему «трое...»?

— Потому! Чего скрывал, мне все Римка рассказала...

— Насчет чего такого она тебе могла насплетничать? — отец опустил голову.

— Насчет того, на кого ее дочь похожа и где у тебя ночные смены. Да ладно, я не прокурор, гуляй себе дальше...

Лиду звали клиенты, и она, вздохнув, поднялась.

— Деньги-то возьми, — бросил ей вслед отец.

— Ты же в деньги не веруешь, — усмехнулась она. — Все не заработаешь, а мало мне не надо.

— Тут без денег кормят? — спросила Маша.

— Без денег нигде не кормят. Недотепа ты у меня. Вот Сашка, тот все понимает. Как-нибудь враз рассчитаюсь, соображаешь?

— Конечно, соображаю.

— Вот-вот...

Он вынул четвертак.

— На-ка, спрячь в карман для матери, чтобы она не ныла. А то еще растратим!

Дочь спрятала бумажку в карман, дожевала соленый огурец и отодвинула железную тарелку. Отец взял с ее тарелки оставшийся холодный кусок, жир да жилы, прожевал, закурил, надел фуражку и пошел. Маша собачкой побежала за ним.

На этот раз они везли двух болтливых рыбаков с амуницией. Те тоже

спросили про Машу. И опять пришлось объяснять. Предложили отцу заплатить свежей рыбой.

— Протухнет она у меня до конца смены. Не то бы взял.

Маша и не заметила, как уселся бритый парень в пиджачке, явно купленном только что. Даже ярлык не оторван.

— Чего стоишь, ля? Езжай, ля, быстрее!

— Скажи куда — поедем...

— Крути баранку, ля, отсед-а-а-а! — заорал парень, как зарезанный. — Потом, ля, скажу!

Он елозил по сиденью, то и дело озирался. Когда проехали с полквартала, запел, верней, загнусавил что-то, но тут же и оборвал. Вдруг перегнулся к отцу и показал пистолет.

— Сгоняем на дельце, ля? — он поиграл пистолетиком на ладони. — Подождешь полчасочка в одном месте, ля, за углом. Тебе пятьсот тугриков, и вали. Дело чистое, не мокрое, верное. И пять кусков за голенищем, ля.

Бритый убрал пистолетик в карман, открыл окно и харкнул. Попав в соседнюю машину, захохотал.

— Я бы с удовольствием, — осторожно сказал отец, — да вот, вишь, дочку надо срочно везти к врачу, заболела.

Маша хотела возразить, но решила на всякий случай промолчать.

— Ну и дурила, ля! — сказал бритый без особой обиды. — Встань, ля, вон там. Другого, ля, возьму. Дай цыгару и вали отседа, покеда, ля, не пришел!

Бритый закурил, пустил клуб дыма Маше в лицо — так, что она закашлялась, вылез и хлопнул дверцей с такой силой, будто выстрелил.

Отец закусил губу и отъехал бледный и хмурый.

— Анекдот, да, пап?..

Маша все еще кашляла. Ей хотелось сказать отцу что-нибудь приятное. Он грустный все время. Сцепление у него куда-то ведет, вот в чем беда.

— Мне в шашлычной понравилось, — прошептала она ему на ухо.

Он немного отошел, кивнул, подмигнул:

— Ну и хорошо.

— И тетя там красивая, да?.. К маме скоро?

Отец зыркнул на Машу и стал смотреть по сторонам.

— Ладно! — решительно сказал он. — Поехали за рублем, день, вишь, пустой.

Подкатили они к стоянке возле универмага «Москва». Пассажиров было полно, и ни одного такси.

— В Домодедово, в аэропорт! Только в аэропорт везу, — стал кричать отец, приоткрыв дверцу.

— Вот и ладненько, что только. Как раз подходит!

Человек в мятом черном костюме и черном галстуке сразу согласился. За всю дорогу не произнес ни единого слова, а возле терминала расплатился по счетчику. Мелочь вынуть не поленился, копейки отсчитал.

— И это все? — тихо спросил отец.

— Чего ж еще?

— Добавить надо за вредность производства... Не то, смотри, обратно отвезу.

Пассажир испытующе посмотрел на него и вынул из кармана удостоверение ОБХСС. По виду было ясно, что птица невысокого полета, на побегушках, но отец скис.

— Так что? — пассажир продолжал смотреть внимательно, любуясь произведенным эффектом. — Давай к нам прокатимся, актик составим: вымогательство да еще с угрозами. И родственников возишь на служебном транспорте. Тут, в Домодедове, недалеко.

— Да какие же угрозы? — хмуро произнес отец. — Я пошутил.

— За такие шутки, знаешь...

— Мы что, не свои люди?

— Видно, не свои, раз глаз не наметан, у кого брать.

— Ну ошибся, сосчитаемся! У тебя когда день рождения?

— Не все ли равно?

— Может, скоро? У меня для тебя подарок есть.

— Другой разговор. Только это будет взятка. Да еще при свидетелях, — обхээсник покосился на Машу, захлопнул удостоверение и спрятал в карман. — Что за подарок? Я тороплюсь.

Пришлось подняться с сиденья, пойти к багажнику и вытащить пару бутылок водки.

— Держи, не разбей! «Столичная». Себе купил.

— На ночь что ль запасся? — спросил клиент, ввертывая бутылки во внутренние карманы пиджака. Ладно уж, на этот раз езжай. Я сегодня добрый.

Отец проводил его глазами и уселся за руль.

— Скучаешь? — он завел мотор, и рукой, пахнувшей бензином, хлопнул дочь по щеке. — Заплатил по счетчику, и на том спасибо, верно, Маш?

Она кивнула.

Возле аэропорта он съехал на стоянку, пробрался поглубже между машин, опустил щиток с надписью «Обед». Маша тихо сидела, держась за клетку, и следила за отцом. Он толкался у выхода из аэропорта, наметанным глазом отбирая подходящих клиентов. Привел одного и, усадив в машину, велел ожидать. Потом привел второго. Оба ждали молча, озираясь по сторонам. И Маша молчала. Вдруг она увидела в окошко, что отца бьют.

Били его прямо возле выхода, у стеклянных дверей. Их трое, он один. Маша закричала и бросилась на помощь. Клубок крутится — не поймешь, кто где. Бежать далеко, машины сплошным потоком поперек. Плача, она ухитрилась схватить отца за рукав. Но тут же ее сбили с ног, даже не заметив, как она откатилась к стене. Хорошо, что откатилась, не то бы убили и тоже не заметили.

— Прекратите, кому говорят!

— А ну разойдитесь!

Клубок стали растаскивать двое милиционеров, по лени вместились не собиравшихся, но построжавших, когда ребенка сбили на виду у публики. Драка иссякла. Отругиваясь и грозясь посчитаться, отец пробрался между чужими руками и ногами, получил еще удар в спину, но уже увидел дочку, стал на колени и поднял ее на руки.

— Ты цела?

— Цела, цела, — повторяла, рыдая, Маша. — А ты? Ты?

Он принес ее в машину, усадил, и сам сел. Глянул на себя в зеркало, оторвал кусок газеты и молча стал стирать кровь с подбитой губы. Под глазом назревал подтек.

На заднем сиденье, плотно прижатые двумя большими чемоданами, покорно ждали клиенты.

— Что там? — спросил пассажир с «дипломатом» в руке.

— Суки! — цедил отец. — Хотят, чтобы делился. С вас, значит, с каждого, по двадцать пять — им отдай двадцать пять с рейса ни за что. Не то, говорят, шины будем резать. И легавые с ними заодно. Пусть застрелятся, не дам! Как жить-то?

— Надо платить, — рассудительно высказался пассажир с «дипломатом». — Платить, а то порежут. И зубы протезные дороже своих. Такое дело: плати или убьют. Хотя для конкретного случая все одно: дал бы им двадцать пять и за это спокойно взял бы третьего пассажира. А так не дали. Правильно я рассуждаю?

Другой клиент, средних лет деревенский мужик, тихо сопел, забившись в угол, и на всякий случай в дебаты не вступал.

— Машка, ты в порядке? — отец немного успокоился и повернул ключ зажигания.

— В порядке, — неуверенно прошептала она, все еще всхлипывая и разглядывая ободранные коленки.

— Тогда поехали. Матери не говори, что драка была.

Отец опять закурил и вышвырнул в окно пустую пачку. Маша проводила ее глазами. Пачка взмыла вверх, затрепетала в воздухе и шлепнулась на асфальт. В этот момент встречный грузовик поднял ее в воздух. Взлетев, пачка опять упала, заковыляла и тут же распласталась, придавленная другим колесом.

По обеим сторонам шоссе замелькали желтые, облезлые деревья.

Пошел дождь, зашлепал по стеклу один дворник. Другой оказался поломанным. Отец матюгнулся, потом, поглядев на Машу, в более вежливой форме стал клеймить позором напарника Тихона, который выжимает из машины бабки, ни о чем не заботясь.

— Небось, и сцепления не сделал, потому что на слесарях сэкономил, — ворчал он. — Или ждет, чтобы я его у барыг купил.

Пока они развозили двух пассажиров по Москве, на Таганку да на Зорге, совсем стемнело. Зато дождь прошел, только воздух остался сырым и зябким. Маша стала кашлять, мерзнуть, съежилась и положила ладошки между коленок. Отец включил печку. Снизу подул теплый воздух, стало уютно, почти как дома. Девочка заморгала часто-часто и стала смотреть на счетчик, чтобы не заснуть. Цифры прыгали, прыгали, прыгали. Люди выбирались из машины, влезали новые, мокрые. От них летели брызги, и Маша морщилась. Она сидела, вцепившись руками в сиденье, и смотрела вперед, на грязный асфальт, который убегал под машину.

— Все! — крикнул вдруг отец, да так громко, что Маша вздрогнула.

— Эй, довези, дяденька, чего тебе стоит!..

— И за сотню не поеду. В парк, девочки, еду, в парк! Время вышло. Видите, ребенок совсем спит?..

Одна из девочек наклонилась, просунулась в окошко и сипловато спросила:

— Порошочка нету?

— Нету, нету, — бросил он, отцепляя ее руку от дверцы и трогаясь.

— Этим не балуюсь. Других спроси!

— Зубного порошочка, пап?

— Конечно, зубного! Видала их рожи? То-то!

Маша опять задремала. Открыла глаза на въезде в парк.

4

Тут было темно, и стоял длинный хвост машин. Отбивала Андреич, протягивая из окошечка руку, брал у каждого путевку, опускал под стол, затем вытаскивал и грохал штемпелем. Отец тоже достал свою путевку и, как все, сунул в нее деньги, чтобы ему не отметили опоздания, подумав, добавил за вопрос о Маше и сложил путевку вчетверо.

Въехали на мойку, и отец опять вынул рубль и сунул в халат старухе-мойщице, которая включала щетки и тряпкой протирала заднее сиденье.

— У тебе здесь чисто, блевоты нема! — сказала мойщица, но рубль взяла.

Они опять протискивались в лабиринте машин с зелеными огнями. Возле забора отец остановился и стал раскладывать деньги из разных карманов на сиденье, бурча себе под нос:

— Это в кассу, это слесарям, это бригадире, это начальнику колонны...

— А бабушке? — спросила Маша.

Не отвечая, он прикидывал, сколько в той трети, которая пойдет от начальника колонны пополам директору таксопарка и секретарю партбюро. Директор треть своей шестой части отдаст начальнику районного ГАИ, секретарь партбюро — секретарю райкома. Уж кому далее и какие доли, нас не касается. Там свое не прозевают.

— Погоди-ка! — он пересчитал кассу. — Не сходится же...

Вздыхнул, закрыл глаза и, положив голову на руль, полежал.

— Маш! — крикнул он. — Денег-то в выручке не хватает. Старика бесплатно везли, а еще?.. Видно, в драке у меня из куртки выдернули. Четвертачок дай-ка обратно!

Она порылась в кармане платья, извлекла бумажку.

— Так... Червончик на, Маш, спрячь...

Вылезал он из машины медленно, долго растирал затекшую спину.

— Пап, дяденька, который велел Тихону звонить, хороший?

— Чего?!

— Тот дяденька, который со скрипом...

Посмотрел он на нее, устало вздохнул и не стал отвечать. Только зло хлопнул дверцей и исчез между машинами. Когда отец вернулся, Тихон уже сидел на сиденье, на его месте, рядом с Машей.

— Ну и дочка у тебя, юмористка. Сколько, спрашиваю, взяли за день? Дак она мне червонец показывает. Ха!

— День плохой, правда.

— Хитришь, поди. У Клавки приобрел что надо? Я за твое здоровье нагребу.

— До свидания! — вежливо сказала Маша, вылезая на холод.

— Ха! Прощай, цыпленочек!

Взяв дочь на руки, он понес ее, как маленькую. Хорошо, что дождь перестал. Она обняла отца и уткнулась ему в шею носом. Шея пахла шашлыком, бензином и еще чем-то сладким. Автобуса они ждали долго. К себе в Бескудниково, которое отец называл Паскудниковым, дотацились не меньше чем за час. Вышли из автобуса — у Маши застыли ноги и спать расхотелось.

— Пробегишь немного, согрейся, — во дворе отец спустил ее на землю и побренчал в кармане мелочью. — Я за углом сигарет куплю, если открыто.

Во дворе еще повизгивали железные качели. Две девочки в темноте раскачивались, кто выше. Маша подошла к ним.

— Я на такси целый день каталась. Думаете, нет? — она порылась в кармане.— У меня десять рублей есть. Настоящие. Давайте в шашлычную играть...

Когда отец вернулся во двор, Маши уже не было. Он поднялся по лестнице, открыл своим ключом дверь и громко сказал:

— Вот мы и дома!

— Это еще что? — жена обнаружила в его руках клетку.

— Попугайчик волнистый.

— Волнистый? А говоришь, я барахольщица.

— Это не барахло. Машка просила...

— Ты и рад стараться! Да где она-то?

— Разве ее нету?

Он бросил клетку на пол и, оставив дверь открытой, побежал вниз.

— Где шляешься?

Радостная, она поднималась ему навстречу, облизывая языком бумажку от мороженого.

— Наследили-то в квартире! — всплеснула руками мать и побежала в уборную за тряпкой.

Отец швырнул фуражку в угол, под зеркало, и пятерней пригладил слежавшиеся волосы.

— Матери деньги — забыла?

Маша тут же вытащила мелочь.

— И больше ничего? Ну, куда дела?..

— Девочкам я мороженое тоже купила. Им очень хотелось.

— А сдачи?

— Сдачи дядя взял.

— Какой еще дядя?

— Большой такой, небритый.

— Та-аак! Мужик-то уже, конечно, далеко. Но она-то! Крашеная такая, с фиолетовыми волосами? И молчала, крыса! Пошли, я ей хвост оторву.

— Она уже заперла, пап. Нам и то не хотела продать.

— Ладно, завтра я ей выдам! Матери только не говори!

Вошла мать и начала вытирать пол у них под ногами.

— О чем шепчетесь?

— Да вот, деньжат тебе привезли, чтобы утром перебиться. Завтра в парке аванс...

— Наконец-то сообразил, — удовлетворенно сказала мать. — Можешь ведь заработать, когда хочешь. Все люди как люди, а ты?

Пошарив в кармане и подмигнув Машке, отец, как фокусник, вынул пару мятых червонцев. Потом, подумав, добавил к ним из другого кармана пятерку. Мать обтерла ладонь о халат, разгладила банкноты и подняла на отца глаза.

— И за это ты пахал целый день? — она хотела прибавить еще что-то, обидное, но сдержалась. — Что это у тебя под глазом?

— Подрался.

— Уж не в Домодедове ли опять? Не ездят ты туда! Глаз чуть не выбили.

Он промолчал. Мать спрятала деньги в карман, смахнула с отцовского лба капли дождя.

— Зарплату сам завтра принесешь. Саньку посылать не буду.

В дверь позвонили. Вошла соседка Евдокия, проводница поезда «Москва — Берлин». Евдокия привозила острый дефицит, мать ей помогала сбывать: ездила по городу, сдавая вещи в комиссионки.

— Урожай собрала? — спросила Евдокия. — Давай!

— Сегодня ж воскресенье! — удивился отец.

— Конец месяца, — пояснила она. — Комки для плана открыты.

Мать принесла сумочку и вслух отсчитала двести двадцать пять рублей. Полста Евдокия шикарным жестом вернула матери обратно, за труды.

— Зайди потом, — довольная Евдокия упрятала деньги в лифчик.

— У меня кой-что еще есть в наличии. Только не сегодня: хахаль у меня неожиданно сыскался. Сегодня причалит.

Нагло вато подмигнув Маше, она исчезла.

— Сколько ты у нее заначила? — спросил отец, когда дверь за Евдокией закрылась.

— Она ж квитанции проверить может. Но я одно ее платье узбекам на рынке спустила. Шестьдесят себе.

— Вот! И все жалуешься...

— Что ж — на тебя рассчитывать?

— У Евдокии хахаль новый, — сказала Маша. — Участковый, младший лейтенант. У него жена была да сплыла.

— Все-то знаешь! — проворчала мать.

— Евдокия же сама во дворе хвалилась. Мы с папкой, знаешь, где были? В шашлычной! Там соленый огурец дают, шикарный. Санька дома?

— Дома, дома. Где ж ему еще быть...

— Он попугая видел?

Клетку Санька вынес на кухню и поставил на стол. Попугай спал, поджав под себя одну ногу и зажмурившись. Санька опустился на колени перед табуреткой и наклеивал в альбом марки, ловко смазывая их языком.

— Видала? — он показал на только что вынутые из конверта. — Сегодня приобрел. Бабушка мне за четверку по физике денег дала. И у меня свои еще были...

Маша тоже опустила на колени. Вот так марки! Большие, яркие, и

на них звери. Таких даже в зоопарке не увидишь. Санька собирал марки со зверями, и Маша со зверями.

— Иностранные?

— А как же! Вот эти одинаковые, — ткнул пальцем Санька. — Хотел в классе продать, но никто не раскошелился. Если хошь, бери.

Она сразу сгребла три марки.

— Ты мне за шесть штук была должна, — оставшиеся марки Санька засунул в конверт. — Теперь, значит, за девять.

— Где ж я возьму?

— Где? Накопи денег и отдашь. У матери возьмешь на мороженое, так ты сливочное не покупай. Купи молочное, и останется. Поняла?

— Ясно! Берешь на сливочное, покупаешь молочное, и останется. Попугай у нас будет на кухне жить, да?

Все-таки глаза слипаются. Отец уже лежит на диване, тоже вот-вот заснет. Маша молча подходит к матери и просовывает ладошку в ее ладонь. Мать все понимает. Она ведет дочь сначала в ванную, подмывает ее, потом волочит в комнату. Раздевает, набрасывает на худенькое тельце ночную рубашку с розовыми цветами. Ставит рядом с буфетом раскладушку, укладывает Машу, укрывает одеялом, многозначительно взглянув на отца.

— Измучил ты ее вконец, — шепчет мать, на этот раз совсем не сердито.

До Маши сквозь сон едва долетают эти слова. Папа все-таки очень хороший: целый день катал ее на машине. Только на животе вечером не покатались. И официантка Лида хорошая: такой замечательный соленый огурец ели. Мама тоже хорошая. И попугай в клетке отличный. И Санька просто замечательный. Марки купил себе и три штуки мне продал. А деньги такие круглые-круглые. Берешь на сливочное, покупаешь молочное, и оста...

РОЗОВЫЙ АБАЖУР
С ТРЕЩИНОЙ

С некоторых пор Никольский потерял вкус к книгам. Но сегодня читал с интересом. Интерес этот подогревала женщина.

Никольский приподнял очередную стопу томов, пытаясь по весу определить, одолеет ли он их за день. Книги торжественные, как старинная мебель. Ржавые кожаные переплеты отсвечивают остатками золотого тиснения. На некоторых томах — латунные застёжки, дабы мысли из книг не улетели, лежали сплюснутыми до востребования.

Кивнув библиотекарше, дежурной читального зала для научных работников, Никольский отнес стопу на стол, под старинную лампу с розовым абажуром, у которого был отбит край и поперек шла трещина. Вид у лампы был — как бы это поточнее сказать? — неуместный. Похоже, она переместилась сюда, в областную библиотеку, из чьего-то будуара, а раньше была свидетельницей совсем другого, сугубо интимного аспекта жизни.

Роза, библиотекарша лет чуть более тридцати, бедновато одетая, со вниманием следила, как импозантный посетитель уселся поудобнее, помассировал чисто выбритые щеки и поправил галстук, каковой и без того лежал безукоризненно между белоснежных хвостиков воротника. Тряхнув красивой седой шевелюрой, читатель этот вытащил цветные заграничные ручки и пачку линованных карточек. Носовым платком он вытер пальцы, будто собирался заняться не чтением, а завтраком.

Сергей Сергеич Никольский чуть брезгливо листал замусоленные, пахнущие плесенью и мышиным пометом страницы. Доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории коммунистической партии Академии общественных наук при ЦК КПСС, он прибыл сюда в командировку прочесть закрытую лекцию для партактива Гомельской области. Закрытым, как извест-

но, считается то, о чем все знают, но с трибуны можно говорить только вышестоящим. Уже один этот факт давал докладчику некую привилегию. Впрочем, он к этому привык. В уме же Никольский давно держал мысль осмотреть книжный фонд частично сохранившейся домашней библиотеки генерал-фельдмаршала графа Паскевича. Областная библиотека располагалась, между прочим, в бывшем графском дворце.

Привела ответственного гостя к Розе директриса. Директриса — ее сюда перебросили из отдела пропаганды обкома — была полная, но весьма маневренная: Никольский при своем относительно спортивном виде еле за ней поспевал. Она шепнула Розе, чтобы данному читателю (она подчеркнула слово «данному») давали все, что ни попросит, включая спецхран. Перед гостем директриса извинилась, что привела его в зал для научных работников, а не для академиков и профессоров:

— Помещения, соответствующего вашему рангу, извините, пока нету. Вот когда построят новое здание...

Битых два часа вчера ушло у Никольского на оформление: он заполнил несколько бланков, затем специальную анкету — что и для чего он будет читать. Анкету сверили с отношением из академии, ходатайствующим о допуске к данным книгам. Все это была чистейшая туфта. Отношение Никольскому отпечатала его секретарша, подписал он вместо заместителя директора, своего приятеля, сам и поставил липовый регистрационный номер.

Книги Никольский собрался листать не для темы, просто так, для себя. И директрисе было наплевать, кто что читает. Но таковы были правила, сложившиеся не вчера: задачей библиотек давно стало стеречь людей от чтения, чтобы они не прочитали чего-либо такого, чего им знать не положено, даже из глубокой истории. Никольского это нисколько не возмущало. Чтобы читать, надо понимать, зачем читать. Бездельники только портят книги. Что касается ограничений в чтении, то кто ищет, тот найдет. Не надо тему заострять. Он давно выработал принцип, который повторял про себя, но иногда и вслух:

— А мне все нравится!

И если его упрекали в конформизме, объяснял:

— Эка невидаль — всем возмущаться и все критиковать. Это же, как мода. Мода ведь то, что все спешат делать, не так ли? Я оригинал! Нет правды на земле, но правды нет и выше. И потом, братцы, оптимизм с дозой равнодушия — единственный способ убежать от инфаркта...

Никольский всегда верил в великую благодать того, что люди не читают старых книг. Если бы все в один прекрасный день уяснили, что то, о чем они думают, говорят, спорят, уже обдуманно, сказано и доказано, какая бы в обществе наступила апатия! А так — апатия только у избранных, у интеллектуалов. Забывчивость — вот спасательный круг человечества. Мы словно играем роли по давно написанным пьесам и бодро

делаем вид, что открываем новое и идем вперед. Где уж всем! Всерьез ревизуют что-либо одиночки, но у них не жизнь — каторга. Мы не из их числа.

Для самого Сергея Сергеича знания делились на две группы: для других и для себя. И распространение знаний, что были для других, являлось, между нами говоря, просто его службой. Да, книги, которые он пишет, фальшивы, и другими они быть не могут по определению. Так ведь и читатель это понимает, значит, он не обманывает читателя. Но то, что остается вне этого для себя, есть убажнение остатков духа, который пока еще, к счастью, не полностью деградировал, и жить можно.

Книги, что теперь лежали перед историком Никольским под розовым абажуром, были старыми, значит, настоящими. В отличие от современной лжи, которая просто липа, ложь далекого прошлого как бы материализуется. Теряя контакт с жизнью, она перестает быть ложью, становится данностью и не раздражает.

Последней к этим книгам — Никольскому уже все рассказали — прикасалась глубокая старуха, наследница графа. Книги тогда были свалены в подвале краеведческого музея, размещенного во флигеле графского дворца. Каждый день, кроме церковных праздников, старуха, стуча о паркет клюкой, приходила в музей и, купив входной билет, осматривала остатки своей мебели. На билеты уходила вся ее пенсия. Одета графиня была неряшливо и, по слухам, почти ничего не ела несколько лет, только дышала и пила воду. Воздух и вода в Гомеле, хотя и не очень хорошие, но бесплатно.

Переместившись в библиотеку, графиня долго сидела не шевелясь, положив руки на книги и закрыв глаза. Казалось, дремлет или щупает у книг пульс. Потом она медленно листала фолианты. Когда попадались рисунки, бормотала что-то себе под нос, смотрела страницы на свет. Она оживала, разговаривая с нарисованными людьми. Уходила — лицо опять мертвело.

Розе хотелось поговорить с московским интеллигентным человеком, и она еще вчера рассказала Никольскому подробности про неофициальную достопримечательность города. Нечасто в областной библиотеке появлялись столичные гости такого масштаба. Роза зарумянилась, большие черные глаза ее заблестели и ожили. Шепот придал разговору таинственность. Никольский с грустью признался Розе, что у него со старухой есть что-то общее: он, как и она, после многих лет чтения только по делу теперь решил почитать для себя. Без практического выхода.

— Где же она, эта роковая женщина? — спросил Никольский, пристально посмотрев на Розу.

— Книги музей передал нам, мы их — в спецхран. Допуск ей к книгам оформить было нельзя. Кто будет за нее ходатайствовать? Смешно?

— Смешно, — согласился Сергей Сергеич. — Ведь это ее собственные книги, не так ли?

Она печально кивнула, притворив ресницы. Потом подумала и прибавила:

— Директриса сказала, что книги народные.

— Ах, народные... — усмехнулся он. — Действительно, как это я сразу не сообразил?

Так у него с Розой возникло взаимопонимание. Это было еще до того, как они пошли смотреть книги. Роза повела его по железной винтовой лестнице в подвал, бывшее бомбоубежище. Свет был неяркий, но достаточный для того, чтобы видеть корешки. Книги стояли в беспорядке, все равно они почти никому не выдавались.

— Здесь сыро, — поежился он. — Вам не холодно?

— Я привыкла.

Они шли между железными полками, то и дело касаясь друг друга, и обоим это было приятно. Что-то в ней вдохновляет, отметил он, не без удовольствия глядя на ее округлости.

— Ну, девятнадцатый век смотреть не будем, — пробурчал он, — неожиданностей вроде бы не может быть. А восемнадцатый — вот этих толстячков — можно поднять.

Стопы набрались большие.

— Тут есть мальчик, — сказала она. — Он вам все сейчас принесет.

Безо всякого смущения она поднималась над его головой по винтовой лестнице, и зрелище это ему еще больше понравилось.

— Сейчас не надо приносить. Я хочу только заказать. Читать начну завтра, если позволите.

Он едва улыбнулся. Подумал, не пригласить ли ее поужинать, но решил, что пока преждевременно.

— К завтраму все для вас будет готово. Мы работаем с десяти до десяти.

— Запомню.

Помедлив, она прибавила:

— Я завтра с двух.

2

Пришел он часа в четыре. На лекции для партактива было несколько вежливых вопросов — ровно столько, сколько положено, чтобы докладчик остался доволен собой и залом. После обеда с секретарем по пропаганде и заводделами в спецзале обкомовской

столовой Никольского отвезли в гостиницу. Он велел шоферу заехать за ним через час и славно подремал.

Роза к его появлению аккуратно сложила поднятые из подвала книги. Она уже сбегала в центральный каталог и легко нашла книги самого С.С.Никольского, в том числе изданную солидной монографией его докторскую диссертацию «Роль коммунистической партии в создании избытка продуктов питания». Названия двух других его книг тоже были фундаментальными: «Борьба коммунистической партии за чистоту ленинского наследия» и «Коммунисты в авангарде борьбы против мелкобуржуазной идеологии». Заказывать эту трилогию Роза не стала. Интересно, однако, какие полезные идеи он собирается найти по такой своей специальности в восемнадцатом веке? Ах да, он же будет смотреть их без практической цели.

— Я прочитала все книги, которые вы написали, — сказала она, выдавая ему книги. — Интересно...

Врала она вежливо — без восторга и без иронии.

— Не будем об этом, — поморщился он. — У каждого свой крест.

— Вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать, — сухо вато прервал он. — Вот ваши книги действительно занимательные.

Он поднял тяжелую стопу фолиантов.

Роза подумала, не поведать ли ему, как под бомбежкой вывозили эти книги? Розе рассказывала мать, которая тоже здесь работала до самой своей кончины. На некоторых переплетах видны шрамы от осколков. Когда книги везли, на станциях половину растащили солдаты из встречных эшелонов на самокрутки. Слабые женщины не отстояли. После того как привезли книги с Урала обратно, половину оставшейся половины съели крысы здесь, в подвале. Стоит ли это вспоминать? Пусть гость спокойно читает остатки и полагает, что это полная графская библиотека.

Никольский не торопился углубляться в восемнадцатый век. Он снял очки, подышал на них, стал медленно протирать голубоватые стекла. Без очков все приняло неопределенные формы. Пустой читальный зал застлало туманом. Вот в таком тумане он и живет. В очках другая его жизнь, которую приходится соотносить с тем, что он видит. Слова и реальность все труднее увязывать между собой. Лучше не пытаться.

С юношеских лет Никольский почитал Библиотеку. Не эту, провинциальную, и даже не те, известные интеллигентному миру, а Библиотеку вообще. Большая часть его молодой жизни прошла в библиотеке. И он любил в ней сидеть, называл добровольной тюрьмой. Не обязательно читать, писать, рыться в каталогах. Просто сидеть, как старая графиня, смотреть на незнакомых людей, притулившихся по углам, поближе к настольным лампам, гадать, что привело их сюда. В то время

библиотека была для него особым замкнутым миром, храмом, религией. Тогда он гордился, что он историк, что создает духовные ценности. Придумал даже сам себе целое философское обоснование: люди делятся на «материальщиков» и «духовников». Он конечно из вторых.

Для потомков наши вещи не будут представлять особой значимости. И автомобиль, и ракета превратятся в прах. Сталь и бетон станут пылью от времени. Насколько надежна память компьютеров, пока не ясно. Но зыбкие строчки на бумаге, которую младенец способен изорвать в клочки, сохраняются долгие времена. В этом, пожалуй, есть и обидное. Большая часть людей создает сегодняшние вещи. Но лишь труд меньшей части остается в веках. Утешение, однако, в том, что, не будь ценностей материальных, не родились бы духовные. Ибо и те, кто сочиняет, тоже хотят есть. Вот только какие строчки духовные, какие нет? Настроимся считать — все. Для потомков будет важно и черное, и белое.

Выбиваясь наверх, Никольский работал в разных библиотеках и архивах. Студентом задышался в подвалах, мерз в церквях, наскоро переоборудованных под хранилища документов. Видел, как чистят библиотеки, как уничтожают книги, как трудно становится узнать, что есть, прочесть, что было написано. Мог заниматься старой историей, но клюнул на удочку и пошел по идеологической части. Жалеть об этом глупо и, главное, бессмысленно.

В молодости его восхищало, что в библиотеке честные и лживые книги стоят рядом. В этом была особая гуманность — в праве лжеца лгать, в невозможности запретить ложь, в праве потомков самостоятельно, без суфлеров, разбираться в истинах, улыбаться нашей наивности или, что гораздо реже, поражаться дальновидности. Нет, что ни говори, Библиотека — хранилище времени, сейф для мыслей. Сейф для мыслей... Это, пожалуй, неплохо было им когда-то сказано. Он, Никольский, любил слова. Они-то и лишили его ориентации: в словах утонула истина, которую он давно уже не искал. Истина только мешала, вставала поперек дела, успехов, жизненных благ. Он перестал читать. Он пробегал, проглядывал, скользил.

Сергей Сергеич надел очки. Туман исчез. Напротив, по другую сторону стола, за этой же лампой сидел черноволосый мальчик лет двенадцати в синей полинявшей ковбойке. Челка на лбу смешно топорщилась — теленок лизнул. И уши торчали, и нос был приподнят вверх, подпирая очки. Весь мальчишка был нескладным теленком.

Кажется, он сидел тут и вчера. Сергей Сергеич решил вечером от скуки сходить в кино. Крутили фильм из эпохи его молодости. А мальчишка остался. Сидел и читал. Читал он толстую книжку в безликом библиотечном коричневом переплете с коленкоровыми углами. Читал быстро. По губам и щекам было видно, как он переживает то, о чем

читает. Иногда поднимал глаза, несколько мгновений сидел не шевелясь, словно наступал антракт. И читал следующее действие. Почему, собственно, подросток в читальном зале для научных работников? В этом же здании, с другого угла, детская библиотека, куда Никольский сперва заглянул по ошибке.

Мальчик поднял голову. Никольскому пришлось снять со стопы верхний том и углубиться в него. Хватит растекаться мыслью. Мы умеем заставить себя собраться, умеем работать. Правда, в последние годы это становится все трудней. Возраст? Чепуха! Нет шестидесяти. Не болеем, не лысеем. Сергей Сергеич стал читать толстое жизнеописание высших придворных чинов Российской империи.

Шла вялая весна, темнело позднее. Окна читального зала вплотную упирались в стену учреждения, в окнах которого горели лампы, но за столами никого не было. Сверху в щель между домами опустились густые сумерки.

— Я зажгу свет, если не возражаете, коллега, — галантно произнес Никольский.

Парнишка вздрогнул, оторвался от страницы, сообразил, что это обращаются к нему, и, покраснев, кивнул. Сергей Сергеич пощелкал выключателем.

— Так не зажжете, — стесняясь, сказал мальчик. — Еще в прошлом году заворотили.

Умело, двумя руками, он снял с лампы розовый стеклянный колпак. Под ним объявилась полногрудая бронзовая русалка с извивающимся хвостом, который постепенно превращался в подставку. Мальчик привычно взял русалку за талию одной рукой, другой повернул лампу в патроне. Сергей Сергеич усмехнулся. Свет ударил в глаза. От лампы пахнуло горелым. Мальчик так же аккуратно поставил колпак на место, и розовый круг очертил книги. Лишь сквозь трещину свет слепил глаза.

Никольский сходил к Розе и взял другую пачку книг. Библиотекарша между тем приготовила для него две карточки с надписями «Прочитано» и «Осталось».

— Вы великолепны сегодня, — вскользь бросил он ей.

Она не была избалована светскими комплиментами и смущенно улыбнулась, довольная, что он заметил. Она действительно приложила к этому немало усилий, и надо же, израсходованная энергия не пропала даром. Правда, директриса еще раньше обратила на Розу внимание и сухо заметила, что на Розином месте одевалась бы на работу строже: все-таки мы областное учреждение, а не театр и не...

Директриса не договорила. Роза, конечно, промолчала.

На ней ничего особенного не было, только юбка узкая с разрезом сбоку и, конечно, не длинная, что давало возможность оценить ее ноги, как определенное достижение природы. Ну, два часа в очереди в па-

рикмахерской, чтобы уложить волосы. Ну, еще помада на губах чуть ярче, чем обычно. Без лишней скромности Сергей Сергеич понял, что усилия предприняты Розой для него. Раз так, это избавляет его от промежуточных трудностей. Хотя... он еще абсолютно ничего не надумал.

Никольский поработал пару часов и размагнитился. Цвет абажура стал его раздражать. Он поежился от сырости — то ли действительной, то ли кажущейся. Надо бы пойти поужинать. Где тут у них самый лучший ресторан с глупой музыкой, оглушающей и безвкусной, танцами и прочим. Мальчик читал не отрываясь. Сергей Сергеич прослышал, что в местной драме поставили что-то солененькое. Не отправиться ли туда? Говорят, труппа здесь молодая, только что из столичного вуза. Значит, есть и симпатичные актрисочки. Или, может, согласиться на приглашение доцента из пединститута, который мечтает очутиться у меня в докторантуре? Обещано изысканное местное общество, и мне уготована роль кумира на три часа.

У мальчика сдвинулись брови. Они сдвигаются, когда он доходит до трудного места. Длинные ресницы то растерянно моргают, то успокаиваются: понял, пошел дальше. Ничего, кроме того, что излагается на книжных страницах, его не занимает. А я не двигаюсь. Сколько осталось? Полстопы тут, да две горы на столе у Розы. Роза тоже скучает. Когда женщине скучно, виноват кто? Само собой, мужчина.

Сергей Сергеич помучился еще, листая страницы, которые не смогли его увлечь. Решил, что будет читать завтра, на сегодня хватит. Не гнить же ему, в конце концов, как старухе, графской наследнице, за чтением. И в голове должна быть форточка. Он сгреб со стола испорченные клочки бумаги, обнял стопу книг и пошел к стойке. Роза с готовностью нагнулась и протянула руки навстречу ему, чтобы забрать книги. Он невольно заглянул ей за вырез кофточки: там было мягко и очень заманчиво.

— Устали? — чуть порозовев, спросила она.

— Просто есть еще дела...

Маникюр на ее ногтях был свежий, тщательно наведенный. Духи неплохие, не грубые. Он мягко сжал ее руку, поцеловал. Она с удивлением подчинилась, но обернулась, не видел ли кто. Он двинулся к выходу, потом вернулся и наклонился к ее уху, заговорщически подмигнув.

— Простите. Что за мальчик сидит напротив меня?

— Помогает носить книги. Он вам мешает? Я его прогоню.

— Нет-нет, не мешает. Напротив, заражает своим энтузиазмом. Просто я хотел полюбопытствовать, чего он тут штудировает?

— Он читает все подряд, — объяснила она. — Ну, может, больше географическое и историческое. И то, что вы сейчас читаете, все уже прочитал. Только директрисе не говорите: это же спецхран. Он поможет таскать книги в хранилище и там выбирать.

— И часто он здесь?

— Всегда.

— Всегда?

— После школы... И сидит до закрытия.

Роза смотрела на Сергея Сергеича, чуть улыбаясь, готовая ответить на любые его вопросы с максимальной полнотой. Но он больше ничего не спросил. Выходя, он оглянулся: мальчик сидел под розовым абажуром, подперев щеку кулаком.

В театр Никольский не поленился заглянуть. Пьеса была из колхозной жизни. В первом акте смело разоблачали пьяницу-председателя. О том, как председатель будет во втором акте исправляться, Сергей Сергеич примерно догадывался. Молодые столичные актриски, про которых ему рассказывали в обкоме, по-видимому, успели состариться на периферии. Гость еле досидел до антракта и даже подумал, не улететь ли сейчас же в Москву. Но там его никто особенно не ждал.

Семьи у Никольского в данный момент вроде бы не было. Третья жена ушла от него полгода назад, и нельзя сказать, чтобы его это огорчило. Дети от первых двух браков выросли, и общение с ними носило вежливый, но дистанционный характер. В Гомеле он специально заказал билет на послезавтра, чтобы отдалить себя от московской суеты. Так тому и быть.

Он прогулялся до набережной Сожи. Постоял молча, поглядел на ледоход. Но с реки дул сильный, мокрый ветер. Безопаснее двинуться спать, чтобы не просквозило.

3

С утра его потянуло в библиотеку. Входя в читальный зал, он даже подумал про себя не без гордости, что он, Никольский, труженик. Умеет и любит работать от зари до зари, как в молодости. На деле он уже давно забыл, как пишут. Книги, которые издательства заказывали ему, известному партийному историку, он делил по главам между своими аспирантами, те без смущения заимствовали материалы у других авторов. Это, кстати, гарантировало правильность изложенных мыслей.

Фолианты восемнадцатого века терпеливо ждали своего читателя, но в библиотеку Никольского потянуло не к фолиантам. Роза была за стойкой с утра и обрадовалась ему, — он понял, обрадовалась. Он поговорил с ней немного, поделившись впечатлениями от вчерашнего спектакля. Она посочувствовала, он рассказал к случаю анекдот, взял книги и ушел к розовой лампе с отбитым краем.

Книги были интересные, манера изложения непривычная для него, мыслящего готовыми блоками. Он зачитался. Жизнь, полная прозрачных интриг. Гравюры с умеренной вольностью в изображении игривых моментов. Монументальные физиономии сильных мира того. Неловкие объяснения политических авантюр через постельные подробности. Сергей Сергеич попытался провести параллели между царским двором и нынешними администрациями, при которых он делал карьеру. Боже мой, тогда был детский сад! Лучше такого рода аллюзиям не предаваться.

Никольский с детства знал, хотя старался это забыть, что отец его был игуменом в Никольском монастыре, а после революции в силу известных обстоятельств притаился рабочим на свечном заводике, став таким образом советским пролетарием. Женился на трамвайной вагоновожатой, завели ребенка. Сын, забранный в Красную армию, стал там партийным, потом политруком, ну и дальше пошло. Так что Никольский без подтасовки фактов мог смело писать в анкетах, что имеет происхождение из рабочего класса.

Минутная стрелка старинных напольных часов, что стояли у стены между огромными портретами Маркса и Энгельса, обошла несколько кругов, прежде чем Никольский оторвал взгляд от страниц. Он едва не рассмеялся. Мальчик в синей ковбойке сидел перед ним. Книжка заслоняла половину его лица. Когда он появился и бесшумно занял свое место, Сергей Сергеич не заметил.

— Молодой человек, — шепотом спросил Никольский. — Извините меня за любопытство. Что вы сейчас читаете, если, разумеется, не секрет?

Мальчик не сразу понял, о чем спрашивают, а поняв, протянул том. Это была книга конца прошлого века о походах Суворова с превосходными иллюстрациями. Никольскому она попадалась.

— Содержательная штука, — сказал он. — Для чего ты ее читаешь?

Мальчик не понял и пожал плечами.

— Ну, тему в школе проходите? Задано?

— Не-е...

— Зачем же?

— Не знаю.

— Может, просто интересно?

— Да, интересно.

— Что именно?

— А всё.

— Вообще?

Никольский в недоумении почесал кончик носа и произнес мальчику стихи, которые обычно читал женщинам:

*Загадок вечности не разумеем —
Ни ты, ни я.
Прочешь писем неясных не умеем —
Ни ты, ни я.
Мы спорим перед некою завесой.
Но час пробьет,
Падет завеса, и не уцелеем —
Ни ты, ни я.*

— Это вы написали? — спросил мальчик.

— Не совсем. Это Омар Хайям. Был такой восточный поэт... Но скажи мне, ради Бога, зачем все-таки ты читаешь?

— Вы верите в Бога? — глаза у мальчика сощурились и заблестели.

— Ну, я сказал «ради Бога» условно, что ли...

— А, условно...

Блеск в глазах погас. Чего хочет от него этот солидный человек, похожий на телевизионного комментатора с экрана.

— Так зачем же? — настаивал Сергей Сергеич.

— Просто я решил все книжки прочесть, вот...

— Все?! Я не ослышался?

Парнишка кивнул и стал читать дальше. Никольский тоже сделал вид, что читает, но мальчик сместил его мысли в сторону. Вы только подумайте: все книжки! Так ему и дадут прочесть все. Даже мне все не дадут. А ему надо, видите ли, все. Наследный принц! Хочет обучиться сразу шестидесяти четырем искусствам. Как он научится приручать слонов? В теории? И складывать стихи — в этой провинциальной дыре? Сейчас нащупаем в нем слабую струну.

— Почему ты не играешь с ребятами? Ну в хоккей, что ли...

— Неохота... Чо я там не видал?

Никольский не нашелся, как возразить, и рассердился. Сопливым Нестор двадцатого века. Какому-то несмышленишу все интересно, а мне, деятелю великой истории, на все плевать? Мир идет в тартарары — мальчик сидит с книгой. Все уничтожено, разрушено, сведено под корень до трын-травы. Целые библиотеки сожжены. Лучшие умы отравлены. Остатки догнивают, и само существование России под сомнением. Скоро от отечественной цивилизации ничего не останется. А мальчик в этой дыре читает.

Сергею Сергеичу вдруг пришло в голову открытие, которым нельзя ни с кем поделиться. Может, великая историческая миссия нас, коммунистов, в том и состоит, что мы превращаем культуру в макулатуру, произведения — в удобрения, блага цивилизации — в дерьмо? Цель нашего появления на земле — выжечь поле после собранного урожая.

Ну, а потом? Вырастут на этой почве новые культурные растения или один бурьян? Может, и навоз нами заражен? Но ведь мальчик-то читает все подряд. Значит, в голове его что-то сохранится для потомков. Если, конечно, он не собьется с пути. Но он обязательно собьется. Обязательно! Деться некуда. Тупик.

Прочитанные книги Никольский понес к стойке, чтобы взять последнюю порцию.

— Хочу с вами попрощаться, — шепотом сказала Роза. — Я работаю до двух, а вы завтра уезжаете.

— Хм... Что, если...

— Если что?

— Что, если нам пообедать вместе?

Сказал небрежно, как бы невзначай, чтобы самому не обидеться, если она откажется.

— Сейчас или?..

Тут он взял быка за рога.

— Немедленно!

— Тогда выйдем из библиотеки отдельно, ладно? Ждите меня возле магазина «Дары природы», это рядом.

— Вы — прелесть, я сразу догадался, — сказал он.

— А вы — бесчестный соблазнитель. Сдавайте книги, я вам поставлю штамп на выход.

В витрине магазина «Дары природы», который он углядел сразу, стояло облезлое чучело оленя с хорошо сохранившимися рогами. Над чучелом висел яркий плакат: могучий торс Ленина с алым бантом на груди. Текст гласил: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Сергей Сергеевич прижался к витрине, чтобы его не толкали прохожие, и смотрел в сторону библиотеки. Он поймал себя на том, что волнуется, как молодой. Даже подумал: вдруг она передумает? Но она тут же появилась, торопливо стуча каблучками по неровному асфальту.

— Заставила вас ждать? Пришлось убрать книги...

— Мадам, где в этом городе можно по-человечески пожрать?

— Нигде, поверьте! Пригласила бы вас домой, но у меня коммуналка, и все соседи в ней злобные сплетники.

— Тогда пошли ко мне в гостиницу. Уж что-нибудь в ресторане «Интуриста» дадут, а?

Он вынул из кармана пятерку, распорядительным жестом остановил первую попавшуюся «Волгу», открыл дверцу и протянул деньги водителю.

— Дружище, подбрось нас до отеля, здесь чуток.

— Вы с ума сошли, так швыряться деньгами, — прошептала она ему на ухо, когда они уселись на заднее сиденье.

Он приставил палец к ее губам. От нее пахло хорошей пудрой,

он вдохнул этот запах глубоко, как наркоман, готовящийся перейти в другое измерение. Даже зажмурил глаза и мурлыкнул.

В ресторане было битком. Сергей Сергеич узнал у гардеробщика, где кабинет директора, и, чуть приобняв Розу за талию, попросил ее минуточку обождать. У директора были посетители. Пробравшись сквозь них, Никольский обогнул стол и тихо сказал на ухо директору, что он из ЦК КПСС. Это произвело некоторое впечатление. Тогда Сергей Сергеич попросил в виде исключения подать ему обед на две персоны в его обкомовский люкс номер триста один.

— Пришлите официанта посообразительней, — попросил Никольский. — Мы с ним найдем общий язык.

Он вернулся к Розе. Она красиво сидела в кресле, положив ногу на ногу.

— Пошли?

— Пошли, — немедленно согласилась она. — Куда?

— Ко мне. Пообедаем в номере.

— И вы полагаете, что это прилично для девушки из хорошей семьи?

— Вполне.

На третьем этаже он отпер дверь и элегантно жестом пригласил Розу войти.

— Батюшки, какой номер! — воскликнула она, обегая обкомовский люкс.

— Сколько же здесь комнат? Гостиная, кабинет, спальня... Эту дверь можно открыть? Ах, ванная! И вся эта роскошь для вас одного?

Все еще стоя в дверях, он великодушно улыбался.

— Наши враги называют нас номенклатурой, — скромно сказал он, проходя в гостиную. — Мы себя тоже... Глупо отказываться от благ, которые положены, не так ли? Будете аскетствовать, все равно их расстреляют другие... Вот и официант!

Они кратко обсудили, что вкусней. Даму спрашивать было бессмысленно: она только кивала. Сергей Сергеич заказал по максимуму.

— И, конечно, бутылочку «Столичной» с морозцем, — он вынул две крупных купюры. — Сдачи не надо.

— Будете довольны, — сказал официант. — Я за приготовлением лично прослежу.

Через двадцать минут они с Розой уже обедали, сидя на диване перед маленьким журнальным столиком. Никольский специально распорядился поставить поднос с шашлыками сюда, чтобы сесть рядом.

— Выпей с нами, — демократично предложил он официанту.

Третьей рюмки не было, и официант, не упрямясь, налил себе четверть стакана.

— Мы с женой первый раз в вашем городе, — продолжал Николь-

ский конструировать ситуацию, чтобы не затягивать дела. — Город, я бы сказал, хороший.

— Жить можно, — послушно согласился официант.

— Ну, за ваш город и за мир во всем мире! — Сергей Сергеич смотрел на Розу. — Давайте — до дна!

Она выпила легко, безо всякого ломания, и ему это понравилось. Официант пожелал приятного аппетита и исчез. Они выпили еще по рюмке, не закусывая. И тоже легко. Никольский встал и запер дверь.

— Вы большой умелец, — погрозила она ему пальцем и засмеялась.

— Если честно тебе признаться, Роза, я просто оболтус, — сказал он по-домашнему. — Прав мой приятель биолог Кузин, который сам себе сочинил эпитафию. Хочешь, прочитаю?

*Прохожий! Здесь покоюсь я.
Ты слышал про такого?
Я дар земного бытия
Растратил бестолково.
Я был, к несчастью своему,
Обласкан муз любовью
И даже угодил в тюрьму
За склонность к острословью.
Курил табак, любил собак,
Они меня тем паче.
Прохожий! Ты живи не так,
А как-нибудь иначе.*

— Иначе как? — задумчиво спросила она, когда они проглотили еще по рюмке и начали есть. — Если б кто объяснил...

— Иначе? — он вспомнил, что хотел рассказать ей давеча в библиотеке, но забыл. — Старуха-графиня, о которой ты мне рассказывала, жила иначе. Кстати, я ее нашел.

— Нашли?!

— Сам бы не смог. На лекции ко мне полковник из органов с каким-то вопросом подошел. И я попросил его эту женщину разыскать. К сожалению, нашли не ее, а коммуналку, где она жила. Я туда съездил. Соседи похоронили старуху год назад. В ее комнате оказались старинные бумаги, письма, книги, фотографии и другое, как сказали соседи, разное барахло. Несколько сундуков, сто семьдесят шесть килограммов.

— Даже вес знаете?

— Соседи взвесили на пункте приема макулатуры. Еще, говорят, портретов маслом много было, свернутых в трубки, без подрамников. В бумажную макулатуру их не взяли, так они в помойку побросали. Опять смешно, да?..

— Еще как! — согласилась Роза. — А могила?

— Ты просто читаешь мои мысли. Поехал я на кладбище. Могила графини провалилась, крест упал. Дал денег могильщику, и он при мне выкопал крест.

Сергей Сергеич налил себе и ей еще водки, сам выпил безо всякого тоста и стал молча жевать. Роза тоже молчала, вдруг смутившись. Сказать ему, что она несколько лет ходила к старухе? Та ей давала кое-что почитать у себя дома. И снова прятала. Когда Роза пришла в очередной раз, графиню уже похоронили, комнату заселили очередниками. Розе и в голову не пришло, что этот ответственный партийный человек потащится искать графиню.

— Судьба-копейка, — сказал он и еще выпил.

— Прохожий! Ты живи не так, а как-нибудь иначе, — повторила она задумчиво. — Хотела бы я жить иначе. Например, как старая графиня.

— Может, не надо?

— Может... Но получается, что я все время надеюсь на «не так» и чего-то жду. Когда есть возможность сделать «не так», не делаю.

— Никогда?

Роза захохотала немного искусственно.

— Почти... И опять жду.

— Вообще или конкретно? — он испытующе смотрел ей в глаза.

От ответа зависел его следующий шаг.

— Сейчас — конкретно.

Став вдруг серьезной, она резко выплеснула остаток водки на пол, встала и прошлась по комнате, чуть пошатываясь.

— Чего же ты ждешь? — осторожно спросил он.

Она вплотную подошла к нему, сидящему на диване с ножом и вилкой, медленно сняла с него очки и разглядывала его сверху вниз.

— Странный у вас цвет глаз, — сказала она, закончив обследование. — Вернее, странно, что у ваших глаз нет цвета... Скорей, пожалуйста!

— Что — скорей? — не понял он.

— Оболтус! Скорей поцелуйте, пока я не передумала.

Никольский привык выполнять указания сверху и неуклюже поднялся с дивана.

Светлая щель между шторами на окне потемнела, когда Сергей Сергеич приподнял голову с подушки. Свернувшись калачиком, Роза спала рядом. Нормальная женщина, благодарно подумал он: полная отдача души и тела, никаких кривляний или претензий. Столько раз слышал о преданности еврейских жен и никогда не испытал на себе. Сам русак из русаков, и все мои жены были чистыми русачками. Значит, муж у нее уехал в Америку. Она отказалась. Когда надумала, они уже развелись.

А что, если... Внезапно он положил ей руку на талию, притянул к себе и, чтобы разбудить, поцеловал. Она распрямилась и прижалась к нему, улыбаясь счастливой и беспечной улыбкой, как девочка, которую ошастливили поцелуем первый раз.

— Послушай, — сказал он. — Что если мы поженимся?

— Ты с ума сошел! — она тоже перешла на ты. — Ни за что!

— Нет, восприми меня серьезно. Серьезно! Женимся и укатываем в Израиль, в Америку, в Австралию, к черту, к дьяволу, куда выпускают, лишь бы туда, где нет истории КПСС. Даже если ты еще любишь мужа, то вывези меня с собой к нему!

— Я его давно не люблю, но что ты там будешь делать, оболтус несчастный?

— Что угодно, только не то, что здесь. Например, стричь газоны. Буду косить траву! — громко выговорил он.

— Траву? — переспросила она, проснувшись.

— Какую траву? — не понял он.

— Вы только что сказали: «Буду косить траву...»

Весь предыдущий разговор состоялся у него в подкорке, и только «буду косить траву» вырвалось вслух.

— Я мечтал, — сказал он.

— О чем?

— Чепуха...

— Который же теперь час? — она вдруг испугалась.

— Половина десятого, детское время.

— Боже, в десять, к закрытию, я должна забежать в библиотеку.

— Зачем?

— Нужно. Отвернитесь, я оденусь.

— Не отвернусь. Я хочу посмотреть.

Собрав свои одежды, раскиданные по полу, она убежала в ванную. Он встал, тоже оделся. На диване лежала ее сумочка. Он оглянулся на дверь ванной, вынул из кармана конверт, опустил его в сумочку и защелкнул ее. Потом оделся и сел в кресло.

Она появилась в двери ванной, продолжая взбивать руками волосы. Деловито спросила:

— Посмотрите на меня. Все в порядке? Я еще не в своем уме.

— Ты в абсолютном порядке. Пилотаж высшего класса.

— Правда? Спасибо. А вы как?

— «Он достиг высшего счастья на земле: отсутствия всяких желаний». Это цитата, римский историк Тацит.

Желаний у него не было. Но и особого счастья он тоже не ощущал.

— Прощайте, профессор.

— Я тебя провожу.

— Ни за что! Здесь близко, десять минут. Я сама себя провожу.

Она тихо притворила за собой дверь.

Он постоял минуту, колеблясь, догнать ее или остаться, и махнул рукой. Слил из бутылки в рюмку остаток водки и опрокинул ее в рот. В пиджаке, при галстукe, в ботинках завалился в кровать и мертвецки провалился в сон.

4

Разбудил его почтительный стук в дверь. Никольский долго этого стука не слышал, потом, соображая, что к чему, с трудом продрал глаза. За окном рассвело. Он встал, пошатываясь, поглядел на себя в зеркало, пятерней причесал шевелюру, погасил в коридоре свет, который горел всю ночь, и отпер дверь.

— Доброе утро, Сергей Сергеич!

Это был молодой инструктор из обкома с поручением проводить лектора ЦК в аэропорт.

— Не разбудил я вас? — бодро тараторил он. — Как спалось на нашей гомельской земле?

— Отлично, спасибо.

— Не буду вам мешать. Собирайтесь, жду внизу, в машине. Возьмите себе на заметочку, что времечко нас поджимает. Может, мне в обком позвонить, чтоб задержали рейс до вашего прибытия?

— Не надо, успеем.

Придется быстро спуститься. Если удастся, выпить кофе в аэропорту, побриться и умыться — в самолете. Он поднял с ковра лежавшую бутылку водки. Хотя бы глоток, чтоб не трещала голова. На дне не осталось ни капли. Сергей Сергеич стал бросать пожитки в открытый чемодан.

В черную «Волгу» с двумя нулями он сел молча. Быстро покатали в аэропорт. Инструктор оказался говорливым — видно, был натренирован сопровождать начальство.

— В обкоме очень высокого мнения о вашей лекции. Много вы сказали такого, о чем мы только догадывались. Ну и реальные перспективы...

Никольский кивнул, рассеянно глядя в окно.

— Работать в новых условиях становится, конечно, трудней, — продолжал инструктор.

— Трудней, — кивнул Никольский.

— Но зато интересней, — сказал инструктор.

— Интересней, правильно, — подтвердил Никольский.

Инструктор поднес чемодан Сергея Сергеича к стойке для реги-

страции пассажиров. Рейс на Москву отправлялся вовремя. Они крепко пожали друг другу руки.

— Счастливого полета. Приезжайте к нам еще!

Зарегистрировав билет, Никольский хотел войти в дверь, за которой прозванивали и просвечивали багаж и тело.

— Вам без проверки, — сказала дежурная. — Во-он там, через комнату для депутатов Верховного Совета.

Это была еще одна, совсем незначительная привилегия. Тут Сергея Сергеича кто-то потянул за рукав.

— Здравс-сте! Вот, вам просили передать...

Перед ним стоял мальчик с чубом, зализанным теленком. Никольский сразу его узнал. Мальчик протягивал сверток — что-то завернутое в газету. Сергей Сергеич пожал плечами.

— От кого?

— От мамы.

— А кто мама?

— В библиотеке работает.

— Роза?

— Ага...

Только теперь до него дошло.

— Что же это?

— Мама сказала, чтобы после поглядели, не сейчас. Ну, я пошел...

Никольский усмехнулся этой провинциальной сентиментальности: подарок на память.

— Ладно. Спасибо. Привет маме. Желаю тебе прочитать все книги на свете, как ты хочешь.

— Все книги не хочу. До свиданья.

Мальчик-то на нее похож, подумал он. Сразу мог бы догадаться.

Сверток оказался тяжелым. В самолете, едва усевшись в кресло, Сергей Сергеич развязал веревочку и развернул газетную обертку.

У него на коленях оказались книги — три книги, автором которых считался он сам, С.С.Никольский. Внутри обложек были наклейки с шифрами и штампы Гомельской областной библиотеки.

— Ненормальная баба, — растерявшись, пробормотал он почти вслух, ни к кому не обращаясь. — Зачем это мне? Нет, она точно ненормальная...

Тут на колени ему выпал из верхней книги служебный конверт с отпечатанным в углу текстом: «Гомельский обком КПСС». Конверт был разорван, и Сергей Сергеич его узнал. Никольский тут же вытащил из него две пятидесятирублевки, которые он сам вчера вечером сунул в этом конверте Розе в сумочку.

— Дура! Идиотка! Мудачка! Черт дернул связаться с такой кретинкой. Я же хотел как лучше. Как лучше хотел...

На внутренней стороне книжной обложки был приклеен читательский формуляр. Своих книг Никольский в библиотеке никогда не брал и теперь рассматривал этот формуляр, неожиданно ему попавшийся. Бланк был чист. Как же так? Неужели никто не заказал для прочтения? Ни один человек... Ведь готовится уже второе издание...

Он заглянул в две другие книги в пачке. Формуляры были выписаны аккуратно: «Номер читательского билета», «Дата». Дальше пустота. Ни один читатель за все эти годы не востребовал его книг. Даже не раскрыл их, — вон у всех края присохшие, как у новых, ни единой пометки, загнутой страницы — ничего. Возмутительно!

Резко поднявшись, он стал пробираться по проходу между усаживающимися пассажирами и сумками. По дороге он положил деньги в карман пиджака, пустой конверт сунул в книгу. Возле туалета Никольский в крайнем раздражении остановился, готовый швырнуть все три книги в мусорный ящик. Ящика нигде не было.

— Девушка, — обратился он к стюардессе средних лет. — Куда здесь, черт побери, выбрасывают мусор?

Стюардесса посмотрела на него с удивлением, но поняла, что это не рядовой пассажир.

— Давайте ваш мусор, я сама отнесу.

Растерявшись, он спрятал книги за спину.

— Не стоит беспокоиться, — пробормотал он, — я просто так, к слову, спросил.

Никольский вернулся на свое место, повертел в руках книги и, не придумав куда их деть, принялся остервенело заталкивать в портфель, который и без того был изрядно набит.

ПОСЛЕДНИЙ
УРОК

1

Директор школы Гуров не знал, как поступить.

Прямого указания сверху не поступило, сказали, мол, разберитесь сами, но так, чтобы до конца учебного года вопрос был решен правильно. Гуров уж и в райком ездил, дескать, намекните, как будет правильно? Там отвечали: вам же сказали — решите самостоятельно. Вот и действуйте. Ошибетесь — тогда и будем поправлять. Легко сказать! Если ошибешься, уже ничего не докажешь и никто старых заслуг не вспомнит. Вот почему Гуров откладывал. Учебный год спешил к концу, откладывать дальше некуда.

Месяц назад в школу нагрянули одна за другой три комиссии из разных инстанций. Перекопали до дна, а причину тщательно скрывали. Гуров грыжей чувствовал: что-то идеологическое. Но что именно, не мог выяснить, несмотря на все связи. Ничего страшного, видимо, не раскопали, иначе бы не перепоручали. Одномоментно раскрутили б дело на полную катушку и сделали оргвыводы. И тут почти утихло.

Дела в школе обстояли не хуже, чем в соседних, в чем-то даже и лучше. Учительскую перестало лихорадить, все вошло в свою колею. И вдруг...

— Ну, рады за тебя, — поздравил Гурова завотделом школ в райкоме, — что телега не подтвердилась.

— Телега?— его словно током ударило.

— Ты будто с луны свалился. Да анонимка, из-за которой весь сыр-бор. Учитель-то географии Комарик расхваливал на уроке фашистов и американский империализм.

— Что?— Гуров поперхнулся и закашлялся, не мог остановиться.

— Не заходишь... Возможно, оговорился. Учитель старый, уважаемый. А насчет того, что политики у него на уроках, мягко

говоря, недостаточно, факт, к сожалению, установленный. Дыма без огня не бывает. Там, где не все пронизано идеологией, остаются щели. Вот в щель и подуло. Кстати, сколько ему?

— Шестьдесят один.

— Шестьдесят один плюс беспартийный. Надо тебе этот вопрос подработать. Зря что ли комиссии трудились? Хотя, конечно, учитель на всю Москву известный, разговоры пойдут — дескать, не бережете кадры.

— Да как же быть-то?

— Придумай.

По дороге домой Гуров, обиженно надувая губы, вспомнил, как Пал Палыч Комарик вылез недавно на педсовете с неуместным замечанием. Гуров ввел для всей школы еженедельное тридцатиминутное чтение вслух газеты «Правда», а Комарику показалось, что для младших классов это, видите ли, рановато и тяжело, мол, им стоять навтыжку, без движения.

— От жизни отстаешь, Палыч! Они ведь будущие защитники родины, — пристыдил его тогда Гуров, не придав значения недовольству Комарика.

А оказалось, зря не придал.

Хотел Гуров посоветоваться с учителями, которым доверял, но боялся, что раньше времени слухи по школе поползут. Поэтому делиться ни с кем не стал, кроме завуча, да и то под большим секретом. Сказал ей только для того, чтобы попыталась отыскать автора анонимки (а то завтра на меня напишут!). Но она не сумела догадаться, кто, — многие учителя могли настроичить, а уж обиженных и злобных родителей — так пруд пруди.

Мучился Гуров недолго: если указание поступило, лучше выполнять немедленно. И уж после думай сколько влезет. Учителей Гуров, конечно, собрал, дал указание предметникам уделять больше внимания линии партии и нашим успехам. Насчет Комарика он придумал прямотаки гениальный ход, чтобы все были довольны.

— Пал Палыч, — он распахнул дверь учительской. — Тебе не трудно зайти ко мне?

И, вздохнув, скорей вышел. Убирают-то не за старость, а за политику — тут уж мораль ни при чем. Нечего распускать интеллигентские сопли. Черт дернул Комарика жалобу на себя спровоцировать. Учебное заведение все-таки — язык за зубами надо держать. С другой стороны, Гурова поставили в эту школу не так давно и скоро возьмут в министерство. Как бы учителя не приняли шаг нового директора за желание выслужиться или бюрократизм. И без того зовут за глаза полковником.

Гурова действительно бросили на укрепление фронта просвещения после отставки из армии, но он всегда старался избегать муштры и по

возможности разрешал другим вести себя, так сказать, не по уставу. Да все имеет пределы. Что делать, если учитель не справляется с ответственной миссией? Устранить человека с почетом — это не Гуров изобрел. Так и на самом верху делать принято.

Тем временем Пал Палыч, отложив все дела, с готовностью захлестнул и прислонил к стенке потертый портфель с поломанным запором. Он прошелестел по коридору, откашлялся, предвидя разговор, открыл директорскую дверь и остановился посреди кабинета с неизменным портретом того, кого надо. Старик помнил, что в этом старом, начала века, здании гимназии, в том же директорском кабинете, на той же стене одно время висел Хрущев, до него — Сталин, до Сталина, говорили, Троцкий, до Троцкого — Николай-последний. Портреты Сталина и Хрущева (куда их было девать?) и посейчас стоят в пыли за шкафом. Гуров, небось, и не знает. Глядишь, еще понадобятся.

Директор поднялся и, задев животом угол стола, двинулся к учителю. В принципе все уже решив, он опять заколебался: что, если решение преждевременное? Но защищать старика нельзя. Если защищаешь — ты с ним заодно. И Гуров не смалодушничал, не отступил.

— Любезный Пал Палыч! — он взял старика за локоть. — Говорят, якобы анонимка тебя обидела. Пустяки. В чем там дело-то?

— Дело серьезное, не пустяки, — Пал Палыч вытащил из кармана малюсенькую щеточку и пригладил седые усики, делавшие его похожим на благородного иностранца. — Я этот пример лет тридцать привожу, когда проходим Голландию. Но до сих пор анонимок не поступало.

— Что хоть за пример?

— Немцы в войну из других стран вывозили ценности, специалистов. Из Голландии же везли в вагонах землю. Вот какие были умные фашисты.

— То есть как это — умные фашисты? — с тревогой спросил Гуров.
— В каком-таком смысле?

— В таком, что земля голландская очень плодородна, на ней все растет даже лучше, чем в американском штате Калифорния.

— Да при чем тут Калифорния?

— Мне уж Марина Яковлевна тоже говорила: «На кой вам Калифорния?! Сравнивали бы лучше с нашей Кубанью, что ли...» Хорошо, на будущий год сравню с Кубанью.

Еще не хватало: говорить ученикам, что почва в Голландии лучше, чем на Кубани! Совсем старик спятил. И черт дернул его болтать про все это! Насчет умных фашистов — ни в какие ворота не лезет! Конечно, кто-то стукнул. Теперь заработала машина, и в результате — все ангелы, один Гуров — Змей Горыныч.

— Пал Палыч, — Гуров взял быка за рога, — я слышал, ты на пен-

сию собираешься. Нехорошо скрывать от нас, нехорошо. Все-таки мы — твоя вторая семья. У коллектива встречное предложение: не просто тебя проводить, но торжественно, пригласить общественность на последний урок. Организацию мероприятия мы возьмем на себя, на ты и администрация...

Сказав, Гуров ощутил неловкость. Какая вторая семья, когда никакой семьи у Комарика нету? Еще подумает, что намекнул на давнишний флирт с завучем Мариной Яковлевной, о котором Гурову, едва он в школе появился, все уши прожужжали.

Пал Палыч не знал, что собрался на пенсию. Пожевал губами и произнес что-то вроде «м-м-м». Растерялся, но возражать администрации ему в жизни не довелось.

Возражал он после, про себя, когда шел домой. Слякотно было, как осенью, а ведь шло начало мая. Асфальт на тротуаре местами провалился, лужи, рыжие от глины, отражали заборы и прохожих. Сырость пробиралась внутрь, портфель тянул руку, хотя был почти пустым. Все, что могло понадобиться на уроках, лежало в голове. От кого же он слышал, полковник, что я собрался на пенсию? Может, из роно указание? Стало быть, пора меня, гнилого мерина, гнать.

2

В середине мая потеплело. Пал Палыч открыл окно. Вечером дворовая ребятня разбрелась по домам, стало тихо. Он сидел за столом, покрытым желтой, в цветах, клеенкой. Это был и обеденный, и письменный стол: демаркационная линия проходила точно посередине.

На письменной стороне стоял глобус, похожий на дыню. Голубые океаны выгорели, стали желтыми пятнами. В войну, когда не осталось пособий, дети скатали из глины шар, облепили бумагой в несколько слоев, разрезали, нутро вынули, оболочку склеили и надели на проволоку. Хрустя и пошатываясь, земной шар завертелся.

На глобусе осталось множество ошибок: Африка налезала на Европу, Азия сплющилась, обе Америки перекосило. И глобус, и сам земной шар уйдут на пенсию за ненадобностью. Со временем, со временем, конечно, а пока... Может, пожаловаться кому? Да кто теперь на жалобы внимание обращает? И правы они: мало у меня идеологии, география нынче никому не нужна, главное — знать указания, они вполне знания заменяют.

После того разговора, встретив в коридоре во время перемены полковника, он попросил только: не надо торжества. Тихо подам за-

явление, и все тут. Зачем будоражить школу, тратить время без того забеганных учителей на сугубо личное дело?

— Одобряю и ценю твою скромность, Пал Палыч, — сказал Гуров. — Но дело это вовсе даже не личное. Ты ведь старейший учитель в районе. К учителям, сам знаешь, отношение у общественности особое. И потом, не могу же я отказать людям, если они последний раз хотят посидеть у тебя на уроке. Да и в роно уже знают.

Стало быть, указание не из роно. Инициатива снизу, полковник сам решил.

Жизненный ритм Пал Палыча с того дня нарушился. По ночам старик ворочался, мысли теснились в голове, налезая одна на другую. Вот и опять, встав из-за стола, он протопал по комнате к тумбочке. Вытащив пачку фотографий, развязал тесьму. Какой же это год? Где-то в конце войны. Учительница ботаники Марина Яковлевна, красивая и белолицая, как Божья мать...

Жила она тогда в школе, вход сбоку, с пристройки. Отец ее был директором. Спустя год после войны Пал Палыча вызывали. Спрашивали, не искажает ли педагогической линии директор школы, отец Марины Яковлевны, который, как выяснили, недавно взял у знакомого книгу немецкого педагога на немецком языке. Директор никакой линии не искажал, но Комарик как человек честный и недавний фронтовик, прежде чем сказать, задумался, и получилось, что ответил он как-то нетвердо. Директора все равно забрали, и не потому, что не был тверд Пал Палыч. Но простить себе той медлительности он не мог и казнил себя, что не пошел просить за него, не написал.

Все это Комарик изложил Марине Яковлевне, считая, что скрывать нечестно. Она поняла его задумчивость как трусость и сказала все, что о нем думает, с горячностью, свойственной молодости. Позже она его, конечно, простила, но время ушло. За время это Пал Палыч женился на другой учительнице, у которой вскоре внезапно проявилась болезнь, сведшая ее через несколько лет в могилу. Марина Яковлевна тоже вышла замуж. Пал Палыч на других женщинах не останавливался: не получалось, и она, жалея его, с ним иногда спала. Он один растил дочь, а когда та вышла замуж и уехала от него, довольно быстро осунулся и стал жалок.

Оставив на столе фотографию, Пал Палыч покрутил глобус. Он признался себе, что было бы приятно, если б кто-нибудь из его бывших учеников появился завтра на уроке. Но он был не до конца откровенен с собой. Он подумал об учениках только для того, чтобы сосредоточиться на одном-единственном — Толике.

Пал Палыч снова присел и, подняв очки, поднес к глазам фотографию. Вот этот, третий справа, остриженный наголо, как требовали в то время в мужской школе. Сколько раз Комарик, между прочим, упоми-

нал его на педсоветах и районных конференциях и делал это не корысти ради. Ему лично ничего не надо. Хочется только пользы делу.

По настоянию учителя географии, портрет академика Анатолия Михайловича Дорофеенко в черном костюме с лауреатскими знаками поместили в раме, под стеклом, в коридоре старших классов. Там как раз освободился гвоздь, который до специального звонка из роно держал академика Лысенко. Дорофеенко висел скромно, в одном ряду с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным, как и они, без всяких подписей, что особо подчеркивало его известность.

Учитель при случае укорял ребят академиком, который де учился по всем предметам блестяще. Толик был не столько способный, сколько деятельный по комсомольской линии. Учился средне, но везде проникал — тоже способность. Да и кто посмеет упрекнуть Пал Палыча в том, что он подкрашивал действительность? Возможно, в этом особом случае цель и в самом деле оправдывала средства.

Временами Комарику казалось, что Дорофеенко вообще не существует. Нет его. Муляж, наглядное пособие. Но легенда о знаменитом ученике то и дело подкреплялась документами. Дети приносили вырезки из газет: статьи с перечислением под фамилией всех титулов и званий, интервью о том, куда и как надо двигать географию в свете последних указаний и чем советская география коренным образом отличается от буржуазной.

Дважды школьники писали академику коллективные письма от имени и по поручению. Учитель вместе с ними подписывал их. Ответы оба раза приходили не скоро, но приходили напечатанными на машинке за подписью его секретарши. Дорофеенко, говорилось там, желает всем больших успехов в учебе и труде. В одном из писем имелась даже приписка от руки: «Особый привет географу Павлу Павловичу Комарику». Лучшие тети с выражением читали письмо во всех классах.

В общем, появившись Толик на последнем уроке, для авторитета школы и в районе, и в городе это было бы крайне полезно. Ну и полковник пожелает, что отправил на пенсию учителя, ученики которого прославляют школу на всю страну.

Намотав на палец длинную цепь, Пал Палыч вытянул из кармана тяжелые серебряные часы фабрики Павла Буре. Это была его тайная семейная гордость, единственная уцелевшая: память о предках, имевших под Москвой хиленькое имение, в революцию сожженное просто так, ради красного петуха. Продолжая глядеть на циферблат, Комарик пошел в коридор. Туда сходились еще три двери, составляя коммуналку с общим телефоном на стене и карандашом на веревочке рядом.

Анатолия Михалыча нередко будили из Москвы, случалось, звонили из Парижа или Рима. Он поехал, нащупал у лампы кнопку, зажмурившись от яркого света, похлопал ладонью по журнальному столику в поисках очков и дотянулся до телефона.

— Дорофеенко Москва вызывает, — металлическим голосом сообщила телефонистка. — Москва на проводе.

— Давайте.

Дорофеенко устало зевнул. Из трубки донеслось мычание.

— Слушаю, хэллоу. Кто это?

— Толик... м-м-м... Толик...

Он опять зевнул.

Мало людей называли его, поседевшего, степенного человека, Толиком. И он без труда различал их. Но тут не смог.

— Толик, это Пал Палыч.

— Пал Степаныч? Здравствуй, батенька. Что же монографию задерживаешь? Рассержусь!

— Нет, Толик, это Пал Палыч, учитель географии из твоей... из вашей школы.

— Пал Палыч? Ну как же, как же, помню. Чем могу служить?

— Вы, м-м-м... извините меня, голубчик, что беспокою. Я помню, у вас поясное время.

— У вас тоже поясное время. И у всех поясное...

— Я хотел сказать, у вас поздно. Может, разбудил?

— Пустяк! В чем дело?

— Что?

— Пустяк, говорю.

— Нет, не пустяк. Разница во времени три часа. Но у меня завтра последний урок... м-м-м... в моей жизни. Меня... Я на пенсию...

— Поздравляю с заслуженным отдыхом. Помню, как вы беспощадно тройки мне вкатывали. За дело, ничего не скажешь, за дело.

Несколько искусственно хохотнув, Дорофеенко поднялся, одной рукой накинул халат.

Ему ежедневно приходилось общаться со множеством людей, и по первым вежливым фразам он умел угадать, что человеку нужно. Это помогало сэкономить время. А тут, наверное, со сна, не мог он усечь, зачем позвонил учитель.

— Все знают, Толя, что вы мой самый талантливый ученик.

— Полноте!

— Прости старика. Я читал в газете, что ты чуть не каждый день в Москве. А завтра? То есть у вас, в Новосибирске, сегодня?

— В Москву? Я там должен быть в четверг на президиуме, потом останусь гастроли французов поглядеть. Утром, стало быть, среда?

— Прилетай на день раньше, загляни в родную школу. Вроде как торжество.

— Торжество, говоришь?

— Может, с билетом сложно?

— Чепуха! Когда урок-то?

— В тринадцать десять по-московскому. В школе тебя очень любят, Толя.

— Точно обещать не могу, попробую. Кабы, батенька, заранее... Я ведь себе не принадлежу.

— Для всей школы твой приезд будет праздником!

— Ладно, уговорил, Пал Палыч, уломал, будь по-твоему, — Дорофеенко и не заметил, как соскользнул на привычное административное «ты». — Пока!

— Закончили разговор?— спросила телефонистка. — Разъединяю.

Дорофеенко сбросил халат, лег на спину. Жена делала вид, что не просыпалась.

Он медленно снял очки и очутился в той проекции, о которой совершенно забыл. Старый московский переулок, школа, парадное с оторванной дверью, война... Небось, все поносили, а школа стоит. Да, утренним рейсом он вполне успеет. Встретят, как положено. Пионеры будут салют отдавать, подарят цветы, которые никогда не знаешь, куда сунуть, и все прочее. Сколько раз принимал он подобные почести в других местах — везде одно и то же.

Пал Палыч казался немолодым, когда Дорофеенко еще учился. Сколько ему нынче? Почему я пошел в данную отрасль — благодаря ему или вопреки? Или он просто ни при чем? Вот выйду на пенсию — обдумаю этот вопрос в мемуарах. Последний урок... Ведь, с другой стороны, и у меня тоже это будет: последний труд, последнее выступление по телевидению, последний международный конгресс, последний путь... Как говорится, за себя написать ничего не успел: сперва писал за других, теперь другие за меня.

Руки Дорофеенко лежали скрещенными на груди, и он снял их. Как сказал однажды Лев Толстой, не спрашивай, зачем жить, спрашивай, что мне делать. Неплохо бы уважить старика. Нужно всегда оставаться людьми, в любом ранге, да мешает суета. Мы — жертвы. Наука поглощает нас целиком. Завтра бюро обкома — обойдутся, как бы только Темякин не перебежал дорогу с поездкой в Испанию. Прием англичан — это перепоручу. Что еще важное?

— Полетишь, Толь?— рассеянно спросила жена, привыкшая к непрерывным его вояжам.

— Знаешь ведь...

Он не договорил и погасил лампу.

С утра Пал Палыч сходил в прачечную, взял накрахмаленную рубашку, которую не любил, потому что она натирала шею. Он заварил и выпил крепкого чаю, как всегда, с кусочком сыра без хлеба. Взял под мышку портфель, дошел до двери и вернулся. Положил портфель на место, на табуретку возле стола, и отправился просто так.

В школе мирно текли уроки. Коридоры пустовали. Гулко отдавались шаги, да уборщица тетя Настя брякала ведром. Из-за дверей доносились знакомые голоса учителей.

— Пал Палыч, миленький, где же вы? — пропела завуч, выкатившись ему навстречу и артистически всплеснув руками. — Полковник волнуется, скорей к нему!

Какая Марина Яковлевна сегодня нарядная. Она счастлива, чего там, только прикидывается грустной. Муж — начальник цеха на заводе, почтовом ящике, троих детей нарожала — редкость по нашим временам, дело любит.

Комарик зашел в кабинет директора, пожевал губами и пробурчал:

— М-м-м... Приедет, весьма возможно, Дорофеенко.

— Ого! — удивился Гуров и встал. — Ай да Палыч! Как говорится, комментарии излишни.

Было от чего ахнуть Гурову: лауреат, член ЦК, президент какой-то международной ассоциации борьбы за мир, почетный член нескольких академий Европы нынче собственной персоной будет в школе. Комарик врезал в яблочко. Конечно, академика надо встретить, как положено. Для коллектива огромный положительно воздействующий фактор!

Директор приложил кулак ко рту, посмотрел на учителя и вдруг пожалел, что плохо о нем думал.

— Обрадовал ты нас сообщением, Палыч, — сказал он. — Очень обрадовал. Иди, спокойно готовься к уроку, мы сами все организуем. Единственная просьба: не забывай про высокий идейный уровень. Не надо нам Голландии и уж тем более Калифорнии, сам понимаешь. Дави больше на наши достижения, на патриотизм... Да, попроси ко мне завуча.

Когда дверь за учителем закрылась, Гуров открыл сейф. В нем стояло несколько бутылок коньяку и коробка конфет для почетных гостей: событие придется, как положено, завершить в кабинете. Директор вытащил початую бутылку коньяку, плеснул в стакан небольшую дозу, проглотил, чмокнул, закусил шоколадной конфеткой, запер сейф и снял трубку. Он набрал номер, соединился со знакомым в «Вечерке» и сообщил суть дела.

— Оценил? Тогда быстрее присылай сотрудника, можно и фотокорреспондента.

Вбежала, запыхавшись, Марина Яковлевна.

— Куда вы все запропастились?— спросил директор. — Лозунг готов?

— Все-все нормальненько.

— Текст продумали?

— Очень сердечный, как вы велели. Написали: «Прощайте, дорогой учитель Павел Павлович!»

Гуров поморщился.

— Что-нибудь не так?— встревожилась Марина Яковлевна.

Директор потер пальцами, словно ощупывая лозунг.

— У-у-у, вас могут неправильно понять, не чувствуете? Срочно снимите с урока десятиклассников, пускай перепишут: не прощайте — до свидания. У нас же не похороны. И потом это... «дорогой учитель». Знаете, кто у нас учитель? А вы Пал Палыча так называете. За это опять нагоняй. Нет уж, с меня хватит. Значит так: «До свидания, Павел Павлович». Ну, можно еще восклицательный знак. И больше никакой самостоятельности! Выполняйте.

Кивнув, Марина Яковлевна побежала было обратно. Полковник прав, глупо написали. Как она сама не сообразила?

— Кстати, — окликнул директор, предварительно окатив глазами ее обтекаемый задик. — Что с цветами?

— Деньги собрали. Букет с рынка ребята уже притащили. Не очень эффектный, да уж какой добыли.

— Попрошу вас, — Гуров сделал паузу. — Букет для вручения разделить, сделать два.

— Два?!

— Два. Приедет академик Дорофеенко.

— Боже мой!

— Поменьше эмоций, побольше дела. Найдите старшую вожатую. Пусть подготовит пионеров для встречи, как положено. Отмените урок, но чтобы всех одеть — белый верх, темный низ и при красных галстуках. Горниста и знамени, я думаю, не надо, не тот случай. Вызовите секретаря комсомольской организации. Надо оповестить комсомольцев, чтобы у всех были на груди значки. Проследите лично.

Порозовев от волнения, Марина Яковлевна хотела что-то спросить, но Гуров жестом дал понять, что дальнейшие разговоры неуместны. Он проверил, закрыт ли сейф, запер кабинет и направился в учительскую.

Народу там набилось битком, и гул стоял ничуть не меньше, чем в коридорах на перемене. Учительницы начальных классов детей отпустили и все явились как одна. Предметники, даже те, кто хотел увильнуть (и без того дел полно), или те, кто, вслух не высказываясь, отрицательно отнесся к уроку (это панихида какая-то!), все же, боясь гнева

полковника, заглянули в учительскую. Свои и гости гнездились кучками. Инструктор из райкома стоял особняком с выражением большой ответственности на молодежном, но заплывшем от недостатка двигательной активности лице.

Чужие шепотом спрашивали своих, где академик, те пожимали плечами. Корреспондент из «Вечерки» рассказывал заведующему роно, как несколько лет назад в газете проскочила ошибка. Вместо слов «пионер космоса» в газете чуть не напечатали «старпер космоса» — наборщик пошутил.

— Небось, снизили бы вам оценку за дисциплину, — пошутил, в свою очередь, завроно.

— Редактора бы снизили, — мрачно сказал корреспондент. — Между прочим, почему у вашего учителя такая фамилия? Он что, с пятым пунктиком?

— Не, он по паспорту чистый, — быстро ответил завроно.

— Читателям его паспорт не виден. Мне-то все едино, но редактор закривляется.

Вновь вошедшие подходили к Пал Палычу, который старался держаться в стороне. Жали руку, хлопали по плечу, желали успеха в личной жизни. Он всем кивал и виновато улыбался, обалделый от почестей.

— Стулья в класс затащили?— крикнул кто-то.

— Отнесли, отнесли, — успокоила Марина Яковлевна.

— Еще отнесите, — распорядился Гуров, — возьмите из актового зала.

Гуров, сжимая в ладони связку ключей, стоял в дверях, одной ногой в учительской, другой в коридоре, чтобы быть в курсе всего происходящего.

Ровно в тринадцать десять уборщица тетя Настя, в надетом поверх зеленого цветастого платья синем мужском пиджаке с медалью за победу над Японией, вытерла руки подолом и с неизвестно откуда взявшейся военной выправкой, печатая шаг, подошла к выключателю звонка.

— Подожди, — остановил ее директор, глядя в конец коридора. — Я скажу, когда начать.

— Дык время же!

— Время подождет.

Он наклонился к завучу:

— Пионеры у входа выставлены?

Марина Яковлевна испуганно развела руки:

— Как же! Все нормальненько...

— М-да-а...

— Класс на взводе, Пал Палыч тоже не железный, — тихо пропела она. — Может, отложим урок, то есть перенесем?

— Скажете тоже!— Гуров поморщился, оглядел учительскую и приглушил голос: — Тут люди из райкома, из роно, из других школ... Ладно! То, что Дорофеенко опаздывает, в целом еще лучше. Он войдет в сопровождении пионерского строя прямо во время урока. Улавливаете мою мысль? И это будет торжественный и эффектный воспитательный момент: встреча учителя и ученика на глазах детей и общественности. Возвращение блудного сына. Это я шучу, конечно, вы поняли? В общем, начнем! Вас я прошу остаться у входа и лично следить за встречей академика.

— Остаться?— Марина Яковлевна всплеснула руками, и глаза у нее поглупели. — А урок?

— Да не имеем мы права ставить личные желания выше долга. Настя, давай!

— Звони, тетя Настя, звони! Что ты по сторонам зеваешь?— приструнила ее Марина Яковлевна.

Директор повернулся ко всем:

— Даем звонок. Прошу, товарищи!.. Пал Палыч, дорогой, ты готов? Тогда вперед иди, вперед!..

— Почетный-то гость ваш где же?— спросил корреспондент.

— Не волнуйтесь, — успокоил Гуров. — Всему свое время.

Настя по привычке вытерла ладони о платье и подняла руку, будто давала команду «Огонь!» орудийному расчету. Щелкнул выключатель, но звонка не последовало.

— Опять заел, проклятый! Уж сколько раз просила отремонтировать, толку-то что?

Она стала тормошить выключатель, стукнула кулаком по боку. Учительская заулыбалась.

— Не хочет школа спешить с твоим уроком, а, Палыч?— сказал завроно.

Комарик стоял весь белый, а тут вдруг покраснел, будто его вина, что звонок не работает.

— Извините, — прошептал он.

Наконец Настя хитро шлепнула ладонью по выключателю снизу вверх, и звонок вякнул, замолчал, потом зазвонил, как полоумный, оглушая всех.

Комарик в коричневом костюме, дурмящем нафталином, неуверенной походкой двинулся из учительской, неся в руках указку, — не как пику, как тросточку. Марина Яковлевна пожалала ему локоть и прошла с ним несколько шагов. Он рассеянно кивнул ей.

По только что вымытому Настей коридору, где рядом с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным розовело строгое и более значительное, чем все остальные, лицо академика Дорофеенко, за учителем потянулась процессия. У двери девятого «Б» Комарик остановился, пропуская общественность.

Класс, переутомившийся от ожидания, загрохал партами и вытянул шеи навстречу входящим. Ученики с ехидцей смотрели, как гости, толкаясь, усаживаются. Завроно грузно втиснулся за парту рядом с корреспондентом. Принесенных стульев не хватило, и ученики сами начали вставать с последних парт и подсаживаться третьими вперед.

Когда Комарик вошел, в глаза ему бросилось красное полотнище, на котором было написано белыми буквами: «До свидания, Павел Павлович!»

— Здравствуйте, — хрипло сказал он.

Засмеялись каламбуру, захлопали. Отличница Сарычева, в пионерском галстуке и с комсомольским значком на недетской груди, распирающей школьное платье, подняла руку и, не ожидая разрешения, спросила:

— Пал Палыч, правда, что приедет Дорофееenko?

Она хотела угодить, но Комарик пробурчал что-то невнятное, сел за стол и уткнулся в журнал. Сарычева повела плечами и оглянулась на директора. Тот, отрицательно качнув головой, приложил палец ко рту.

В горле у Пал Палыча першило, от напряжения слезились глаза. Опасение сказать что-нибудь идеологически неверное сверлило сознание. Как назло, заболел зуб, который давно надо было удалить. Учитель все время поправлял очки, они мешали, больно давили на переносицу. Радуются, что ухажу, вдруг мелькнуло у него. И никак не мог отогнать эту мысль, хотя в нее не верил.

С трудом он отметил, кого нет, оглянувшись, на месте ли политическая карта мира. Хорошо, хоть она висела на месте. На «камчатке» все еще не расселись гости.

Комарик не знал, как должен проходить торжественный урок. Все эти дни думал, что скажет ученикам о себе и о жизни. Но уместно ли теперь, в присутствии официальных лиц, которым известно об анонимке, на уроке географии говорить о жизни вообще? Не прозвучит ли это опять аполитично? Он приступил, как обычно, к опросу. Двоечников опрашивать было неловко, отличников как-то стыдно: зачем ему явная показуха? Он стал вызывать средних. Средние отвечали средне, даже хуже, чем обычно, испуганные своей исторической миссией.

Оглядывая класс, учитель не мог себе простить, что сболтнул полковнику о Толике. Распустил нюни на старости лет. Приехал бы тот — хорошо, нет — никто бы не узнал.

Гости шепотом переговаривались о всякой всячине, не имеющей к уроку отношения. Ребята оглядывались на дверь, ожидая явления академика. Сидя за партой с долговязым двоечником, Гуров следил за стрелкой часов и осторожно поглядывал то на завроно, то на инструктора райкома. Те были непроницаемы.

Поначалу Гуров ждал, что с минуты на минуту дверь откроется и ака-

демик Дорофеенко, побрякивая лауреатскими медалями, прошествует в класс в сопровождении эскорта пионеров. Это будет кульминационным моментом урока. Если Комарик не сообразит вызвать знаменитого ученика к доске, можно будет тактично подсказать. Выступление академика на школьном уроке географии — такое в «Вечерке» прозвучит неплохо. Но вот уже скоро полурока. Дорофеенко не появился и не появится, иллюзии ни к чему. Небось, Комарик просто свистнул, рассчитывая на поддержку, чтобы на пенсию не уходить.

Пал Палыч подошел к карте и вода указкой начал говорить. Он умел интересно рассказывать. Но сейчас директор, слушая его вполуха, наблюдал за классом. Не слушают. Думают о своем, зевают, записочки передают, хихикают. Для них это важное мероприятие на другой волне. Нет, старость понять и уважить можем только мы, взрослые. Не слишком ли жестоко поступает школа? Но ведь так устроен мир. Мне велели только нажать кнопку. Даже с точки зрения общечеловеческой морали, хотя она нам и не указ, иного выхода не дано. Молодежь подпирает и выталкивает стариков. Замена у меня на примете подходящая: географичка молодая, вроде неглупая, русская, партийная. Главное, симпатичная внешне. Есть на что глаз положить, и не только глаз.

Комарик вдруг замолк. Спазм сдавил горло. Слова запрыгали, заметались, заклокотали, бессильные сорваться с языка. Страх сказать не то давил на него всю жизнь, урезал его ум, обкорнал знания. Он чувствовал, что превратился в ничтожество, но что он мог поделать, как мог иначе жить? Наступила неловкая тишина. Глотнул, начал фразу, снова глотнул. Гуров поднял бровь, подумал было: вот и забывать стал Комарик, склероз. Наконец Пал Палыч совладал с собой, откашлялся, заговорил. Внутренние часы его сработали. Едва он произнес последнее слово, зазвенел звонок.

Отличница Сарычева вытянула из-под парты букет цветов в целлофане и, поправляя совсем короткое платье, поднесла учителю. Второй букет остался у нее под партой.

Класс задвигался, загалдел. Все смешалось: хозяйева, гости, толпящиеся у дверей ученики второй смены, прослышавшие о том, что приехал живой академик, который висит в коридоре.

- Пал Палыч пал, — сострил завроно на ухо корреспонденту.
- Ну как урок? Понравился? — на всякий случай спросил Гуров.
- Неплохо, — похвалил корреспондент и глянул на часы.

Он думал о том, что потратил два часа, а без академика не дадут на полосе больше десяти строк — копеечный гонорар. Хорошо еще, фотарь зря не таскался.

Инструктор райкома наклонился к завроно:

— Академик-то ваш, того, зажирел. Когда у нас на учете состоял, на цыпочках в райком бегал. Между нами говоря, лауреатские свои бляш-

ки он получал знаете за что? За расшифровку фотографий со спутников-шпионов. Его в загранку одного не выпускают, опасно. Дачку себе не в Новосибирске, под Москвой отгрохал — у нашего секретаря райкома и то победней...

Стоя в окружении долговязых детей, счастливых уже оттого, что можно орать, Комарик беспокоился о Толике. Не мог же тот просто забыть. Обещал ведь, значит, что-то помешало. Скучно прошел урок, серо. Винават я сам, не оправдал того, чего от меня ждали. И Гуров будет ворчать: про идейный-то уровень я забыл. Надо было вставить что-нибудь актуальное.

— Пал Палыч, миленький!— вбежала в класс Марина Яковлевна.
— Все прошло замечательно!

Она обняла Комарика за шею и шепнула ему на ухо:

— Мне полковник, то есть директор, давал порученьице, но я весь урок мысленно была с вами.

Посмотрела в бегающие, слезящиеся глаза Комарика, хотела его поцеловать, но в присутствии директора постеснялась.

— Знаете, почему Дорофеенко не успел?— найдясь, обратился Пал Палыч к директору. — Погода в Сибири нелетная. Я утром прогноз краем уха слышал. Думал, не коснется, там же пурга. Когда пурга, то...

Уборщица Настя, запыхавшись, вбежала в класс, мигом отыскала глазами Гурова, вынула из обтертого кармана пиджака бумагу, разглядела об живот и протянула директору.

— Не время сейчас, Настя, иди отсюда, — отмахнулся Гуров. — Видишь же!

— Дык, телеграмма-молния, — объяснила Настя. — Уж я бегла, бегла, думала, никак запозднею.

Гуров надорвал телеграмму, пробежал взглядом и крикнул:

— Товарищи! Не расходитесь! Телеграмма-молния! Молния!..

Все приостановились, затихли. Несколько учеников влезли на парты. Кто-то хлопнул крышкой — на него цыкнули.

— Оглашаю, — театрально произнес Гуров. — «Приношу искренние извинения связи невозможностью прибыть торжество. Точка. Задержан важным государственным делом. Точка. Сердечно поздравляю коллектив учителей, запятая, учащихся, запятая, крепко жму руку, запятая, обнимаю Павла Павловича Комарика. Точка. Подпись: верный его ученик — академик Дорофеенко».

Зааплодировали. Гуров протянул телеграмму Комарику, тот взял ее двумя руками, как хлеб-соль, и поклонился. Он смотрел в нее, но строчки прыгали, и прочесть ничего не удавалось.

— Радость-то!— громко воскликнула Марина Яковлевна. — Радость какая!

— Есть мнение, товарищи, — сказал директор, забирая телеграмму

из рук Пал Палыча, — зачитать телеграмму во всех классах на торжественных линейках.

— Может, не надо?— тихо сказала завуч на ухо директору.

— То есть как?!— Гуров в недоумении посмотрел на нее.

Она опять наклонилась к его уху, прошептала:

— Я сама ее послала.

— Из Новосибирска?

— Дочка телеграфистки в моем классе. Я сбегала на почту, попросила, и все нормальненько...

— М-да!— Гуров почесал затылок и прищурил глаза.

В коридоре гости, учителя и ученики смешались в толпе. Директор проворно забежал вперед, расставил руки, процеживая учеников и собирая гостей. Когда гости приостановились, он объявил:

— Высоких гостей прошу ко мне в кабинет: краткое совещание по итогам урока. Учителя могут быть свободны...

Он повернулся и поспешил в кабинет откупоривать бутылки.

Второй букет, оказавшийся ненужным, длинноногие ученицы стали было растаскивать по цветочку. Но Марина Яковлевна, заметив это, отобрала цветы, сказав, что их надо отнести в учительскую. В учительской она передумала и забрала букет домой.

Про Пал Палыча забыли. Он уходил из класса после всех. В дверях он оглянулся на красное полотнище над доской и подумал: что, если попросить еще один последний урок? Такой, чтобы, кроме учеников, никого не было... Разрешит полковник или нет?

КАЙФ
В КОНЦЕ
КОМАНДИРОВКИ

Лифт в гостинице конечно же ремонтировали, и Полудин потащился вверх по лестнице на своих двоих. Звук шагов отсутствовал: ступени покрывала мягкая дорожка, а ее — серое, в грязных следах полотнище, оберегающее от постояльцев невидимую красоту дорожки.

Полудин устал и теперь был весь в предвкушении кайфа.

Ну потрепали друг другу нервы, как положено, и успокоились. Проект-то давно принят, акт подписан, хотя главный конструктор вяло бурчал, что еще неизвестно, потянет ли транспортер при высокой температуре. Мелкие претензии заказчика обещано удовлетворить под честное слово. Там будет видно, переделывать или нет. Обещание это на бумаге не зафиксировано. Как многие российские люди, Полудин не мог не схитрить, но и хитрить было лень. По этой же причине заказчики сделали вид, что поверили: им тоже все было до лампочки. Завтра придется отметить командировку и — домой.

Комбинировать Полудин умел не лучше и не хуже других. Секретарше, у которой отмечал командировку, он дарил конфетку, после чего просил поставить печать без даты, так как он не может достать билет и уедет через пару дней. Билет он достать всегда мог посредством личного обаяния и старался уехать сразу. Если билетов не было, он приходил к поезду и давал на лапку проводнице.

Потом дома эти два дня Полудин валялся в постели и глядел телевизор, а вечером до прихода жены уходил с друзьями просадить червонец, заначенный у государства не без приложения личной энергии. Друзья эти были не с работы. Для тех он еще не вернулся и по телефону отвечал писклявым голосом: «Папы нету дома».

После отдыха, правда, приходилось снова съездить на вокзал к приходу того же поезда и для отчета купить у проводницы за

рубль билет, забытый у нее частным пассажиром. Дату в командировочном удостоверении Полудин проставлял, как ему было надо. Впрочем, недавно замдиректора по кадрам и режиму Хануров завел привычку проверять присутствие подчиненных на местах и звонил на заводы. Кадровики сговорились, и командированных из Москвы стали более строго отмечать здесь, на «Химмаше», так что свобода опять ужалась.

Сегодня у Полудина она сократилась вот до этого вечера.

Протолкавшись через проходную «Химмаша» в шесть вечера, командированный проехал в набитом автобусе до городской кассы за билетом. Билет оказался, но не купейный — мягкий. На него денег не хватило, и пришлось взять плацкартный, в общий вагон. Афиша областного драмтеатра обещала пьесу о ковании чего-то железного. Весь город был в призывах отдать все силы, но от этого только больше хотелось оставить хоть что-нибудь для себя.

И вот у него — свобода, которой мало или вообще нету, и завтра совсем не будет, это уж точно. Завтра будет только слово «надо». А свобода — это когда не надо. Свобода бывает исключительно в конце командировки, потому что ты не тут и не там. Уже почти не тут, но еще совсем не там. В командировку посылают теперь нечасто: экономят деньги. Ездит начальство, которому тоже хочется поставить штампик и глотнуть свободы. В общем, сегодня плевать на «Химмаш», отрасль, Москву и весь социалистический лагерь — Полудин будет гулять!

По дороге он обдумывал вопрос с рестораном. На пятерку, оставшуюся в кармане, туда не погрешь. Хорошо еще, за гостиницу берут вперед. Не доверяют и правильно делают. Но просто бутылка — это тоже в конце концов неплохо. У других и на нее нету.

Полудин сравнительно быстро взял в продмаге водку, выброшенную к концу рабочей смены, и полбуханки черного. Все остальное давали по талонам, и стоять в очередях нужда отпала, что тоже было приятно. В киоске у гостиницы он купил спортивный журнал и местную газету. Вообще-то он принципиально не читал никакой прессы, чтобы не замусоривать голову, но тут сделал исключение. Газетенку он купил не для чтения, разумеется, а для надобности, не удовлетворяемой в отеле из-за дефицита рулончиков.

Запыхавшись, поднялся на пятый этаж. Окно выходило к набережной Суры. Светящаяся реклама «*Hotel Penza*» над крышей корпуса, примыкающего углом, бросала через окно дрожащие оранжевые блики на цветастую штору. Отдельный бокс три на четыре метра был забронирован заводом специально для старшего инженера Полудина. Горничная прибралась в номере, даже грязные носки спрятала в шкаф.

Сняв шапку, он стряхнул с нее капли растаявшего снега и поглядел на часы. Без четверти восемь.

Кайф начинается.

2

Тщательно заперев изнутри дверь, Полудин пустил в ванную воду и снял ботинки. Они протекали второй год. Он давно откладывал деньги, чтобы в комиссионке купить поношенные импортные, но то не мог найти своего размера, то деньги улетали. Когда становилось сухо, проблема решалась сама собой; сейчас ботинки пришлось поставить вертикально к батарее, чтобы вода стекла из носков и они за ночь просохли.

Полудин торжественно разделся донага, побродил по комнате и постоял у окна. Достал из портфеля бутылку и хлеб, разместил рядом на стуле пачку сигарет и зажигалку, возле них журнал. Стул придвинул к кровати, откинул одеяло, включил радио. Передавали местные известия — многословную болтовню об участниках соцсоревнований доряк, которые горели желанием увеличить число нулей возле каких-то цифр. Полудин горел не меньше других и, как все, только публично. Наедине и добровольно — ни-ни, и радио он выдернул.

Когда ванна наполнилась, он, проверив, достаточно ли теплая вода, торжественно опустил в нее и стал лежать с закрытыми глазами, не думая ни о чем и думая обо всем. Чтобы не забывать о контрасте с суровой действительностью, он периодически вытаскивал из воды большой палец ноги и ощущал холод.

Поднимался он из ванны медленно, к мылу не прикоснулся, мытье потребовало бы физического напряжения, выполнения слова «надо». Слегка обтерся полотенцем, шастая мокрыми пятками по паркету, добрался до вешалки и надел зеленую полосатую пижаму. Жене его нравилось, что во французских фильмах мужчины появляются в пижамах, и ко Дню советской армии (легализованный мужской день для пьянства в рабочее время) она купила ему пижаму, за отсутствием французских — китайскую. Он не надевал ее ни разу, но спустя полгода жена не забыла, положила ему в чемодан.

В восемь двадцать он лег в постель, откупорил бутылку. Пробка укатилась в неизвестном направлении. Он налил полстакана мутноватой жидкости, подождал, предвкушая блаженство внутреннего согрева, и, выдохнув воздух, вылил полстакана в рот. Водка прошла внутрь и распространилась по организму, как всегда, неплохо. Переждав, Полудин закусил горбушкой черного хлеба.

Развернув на одеяле журнальчик, он стал читать страницы с конца, с юмора. Юмор был несмешной: велосипедист остановился перед финишем погадать на ромашке «любит — не любит». Полудин лениво прикрыл веки. Тепло растекалось, но не во все части тела, и можно было добавить еще полстакана, что и было им сделано по той же методике. Вообще-то Полудин не испытывал особого пристрастия к питью, но быть диссидентом в этой области не намеревался.

Полстакана плюс еще полстакана потянули к философии. Ромашка вернула память к прошедшему лету. Полудин идет по траве, валится и лежит, подмяв под себя ромашки. Лежит, будто умер. Зжж-зжж-зжж — звук проплыл над головой, мимо уха пронесся жук. Заняли его место, и жук не мог сообразить, куда сесть.

Лежа на животе, Полудин разглядывал этого жука неизвестной национальности, пока тот карабкался по ромашечному стеблю. Жук целеустремленно добрался доверху, пролез, раздвинув белые лепестки, на желтый круг, пошевелил усами, расправил крылья и, оттолкнувшись задними лапами, взмыл вверх.

И снова луг заполнила тишина, уже успевшая утомить. Отпуск кончился. Захотелось вдруг гудков машин, колготки в трамвае, тайных выпивок в рабочее время — всего того бедлама, который надоедает, но без которого будто часть твоя оторвана.

Полудин стал глядеть в небо. Там висело облачко замысловатой формы. Глубина неба унижала человеческое достоинство. Почему всегда хочется того, от чего после бежишь? Человек несовершенен — вот в чем дело. Все это понимают, но никто не хочет совершенствоваться. Все уговаривают пойти на это других.

— На! Смотри!

Прибежал сын и показал жука. Сын оказался целеустремленнее жука и его изловил. Ощущение отрешенности и свободы напрочь растаяло. Оно не может продолжаться долго. Заботы заедают, уж им-то конца не бывает.

И все же, решил теперь Полудин, между заботами удастся выкроить нечто. Состояние, когда временно тебя оставляют в покое и ишачить не надо, когда ты никому ничего не должен, когда ты не обязан: хочешь — делаешь, нет — нет. Неправильно называть это ленью. **«Дольче фарниенте»**, прекрасное ничегонеделание — по-итальянски, но это все же делание чего-то. Кайф — вот замечательное слово, которое, по мнению одних, турецкое, другие считают — арабское, третьи — древнееврейское и означает «пир».

Нерусское, стало быть, слово «кайф», а очень даже неплохо прижилось у нас. Видимо, не случайно. Что-что, гулять мы умеем не хуже турецких султанов.

Вот и теперь, в Пензе, вся неделя была смурная. И эта история с подачей компонента: может, главный прав, что транспортер долго не выдержит. Сейчас можно об этом вспомнить, можно и не вспоминать. Ну их всех в тартарары! Полудин кайфует или, как раньше говорили, кейфствует.

Как тогда на лугу, Полудин перевернулся в кровати на живот и потянулся. Водка активизировала ум. Он взбил подушку кулаком, глотнул еще для оптимизма из горлышка, заев опять хлебом, перетянул жур-

нал на подушку. Всю страницу занимала серия фотографий: раскладка по элементам прыжков с шестом. И статья тут же. Вот какая схема: фибергласовый шест фактически сам подает тело весом килограммов под семьдесят пять к пятиметровой высоте. Там тело находится долю секунды, но этого времени вполне достаточно для того, чтобы сделать человека чемпионом мира.

Вдруг остро захотелось разбежаться, опереться шестом, чтобы тот упруго подался и после, распрямившись, поднял персонально его, Полудина, над землей. Студентом он немного занимался легкой атлетикой, пока лень не одолела. Сейчас и поговорить-то о спорте толком некогда, да и не с кем. А подпрыгнуть охота! Есть профессии прыгучие, которые толкают на вершину. И есть ползучие, в которых одни бугры и кочки. Идешь, спотыкаясь. Но можно уравнивать шанс — поставить транспортер для подачи спортсменов к планке одного за другим. Вот тут-то и зарыта собака.

Полудин замурлыкал и закурил, почувствовав, что выходит на большие социальные обобщения. У спорта и техники противоположные задачи. Спорт заставляет трудиться, техника старается избавить от труда. Хотя... есть, в данном случае, есть у них нечто общее. Ведь транспортер-то, который мы делали, вообще не нужен! Компонент можно доставлять раз в пять минут так, чтобы подающее устройство быстро сматывало удочки из зоны высокой температуры. К черту транспортер, который коллектив проектировал полтора года. В трезвом виде проектировали, не поддали для вдохновения, вот и не вышло соображения. Надо, как в прыжках с шестом: взлетел на планку и катись вниз.

Дотянуться к портфелю — дело секунды. Полудин ухватил несколько листов чистой бумаги, карандаш и стал быстро набрасывать схему. Собственно говоря, все примитивно. Рядом с бункером, на той же высоте, туда-сюда ходит механическая рука: ухватила компонент в бункере и отошла, ухватила и отошла. Все гениально просто. Можно приехать в Москву, согласовать это в отделе, провести совещание у главного инженера, одобрить в главке, и на полгода всему здоровому коллективу работы хватит. А так одному среднему инженеру вроде меня — делов часа на два.

Он вскочил, вытащил из портфеля логарифмическую линейку, придвинул к кровати второй стул, отглотнул еще водки из горла, закашлялся (плохо прошла: сивухой, мерзавцы, народ травят) и убрал с глаз бутылку. Блестящая идея, чистая, без балды! Ай да Полудин, ай да сукин кот! Завтра покажу на заводе главному конструктору — тот опупеет.

Никто не отвлекал от дела, и сопутствовало состояние полной необязательности. Когда Полудин взглянул на часы, было пять минут первого. Тут раздался пронзительный звонок. Телефон звонил и умолкнуть не собирался.

3

Никому из заводских он телефона не давал, да и сам его не знал. Жена не стала бы его разыскивать. Дежурная по этажу, вот это кто. Хочет, небось, выяснить, когда я освобожу номер. Полудин сбросил листки со схемами на пол, придавил логарифмической линейкой и, матюгнувшись, вскочил. Снял трубку и держал равновесие на пятках на холодном паркете.

— Добрый вечер! — сказал таинственный глухой женский голос.
— Еще не спите?

— Кого вам?

— Вы разве не один?

На всякий случай Полудин оглядел комнату. Держась за стол, почесал одной волосатой ногой другую.

— Допустим, один, и что?

— А чего вы делаете? — продолжала выяснять она.

— В общем, это... ничего. Кайф ловлю.

— Кого?

— Не кого, а чего.

— И поймали?

— Допустим...

— Тогда поговорите со мной. Мне скучно.

Сонливость исчезла, уступив место мальчишескому любопытству, которого Полудин не испытывал много лет. Попросту забыл, что такое ощущение может быть. Его разыгрывали. Он понимал это и потому мог поддержать игру в том же духе.

Зацепив ногой, Полудин приволочил один мокрый ботинок, потом другой, сунул в них ноги, пожалев, что не захватил из дому тапочки. Это жена виновата, не могла напомнить. Он вытащил сигарету, закурил.

— Что вы курите?

— «Мальборо»! — сказал он, скосив глаза на пачку «Примы».

— Не очень-то вы разговорчивый! — в трубке послышалась нота удивления. — Не хотите со мной поговорить?

— Да вы откуда?

— Из Кишинева. Я вино привезла.

— Вино?!

— Что ж тут особенного? Ви-но. Вы кто?

— Так сказать, инженер.

— Откуда?

— Из Москвы.

— У тебя жена есть?

— Жена? — он поколебался, заполнять ли по телефону эту графу анкеты, но охотно перешел на ты. — Допустим, есть. А у тебя?

— У меня ушел. Месяц прожили и месяц, как ушел. Не мужчина, тряпка. Подонок!

— Сколько тебе?

— Девятнадцать уже. Меня Ингой звать. А тебя?

— Виталий.

Надо было на всякий случай сказать любое другое имя, но уже слетело с языка.

— Виталий? Я думала...

— Что?

— Думала, что не Виталий. Виталий тебе не подходит.

— Как это — не подходит?

— Я видела.

Полудин посмотрел на часы: четверть первого. Ресторан внизу наверняка уже закрыт. Да и денег все равно нет. Как в объявлении на вокзале: «Граждане, едущие в командировку! Ресторан направо. Граждане возвращающиеся! Кипяток налево». Бородатый анекдот, но живучий. Ведь выпить необходимо. Всегда в таких случаях с бабой надо выпить. Сперва напоить, это всем известно. К счастью, есть почти полбутылки водки, хватит.

Она прервала паузу.

— Ты почему молчишь?

— Думаю.

— Не думай, приходи в шестьсот восьмой.

— И у тебя есть вино?

— Раздала.

— Кому?

— Подонкам, которые разгружали.

— У тебя все подонки?

— Ты — нет. Не придешь, если нет вина?

— Приду!

Трубка упала на аппарат.

Виталий стал стремительно одеваться, словно мог опоздать.

4

За тридцать пять лет жизни Полудину пришлось послушать немало историй о случайных романах и прочесть кое-чего, особенно в переводах иностранной литературы. Он и сам, когда начинался авторитетный мужской треп на эту тему, мог высказать мнение о женщинах и вспомнить несколько историй. Правда, чужих, которые он выдавал за свои.

Сам он для мгновенных любовных ситуаций приспособлен, видимо, не был и — стыдно признаться — не испытал их ни разу. Ходоком по бабам Полудин не родился, это уж точно.

Броских достоинств, которые сразу привлекают женщин, как мотыльков, Полудин не обнаруживал. В студенческие годы, когда мгновенно возникали и распадались пары, он в них не попадал. И не потому, что не хотел. Просто, чтобы заинтересовать кого-нибудь своей персоной, ему надо было долго ходить, доказывать, какой он хороший. Он начал нравиться, когда у него самого первое чувство прошло и возникли совсем другие отношения, почти родственные, и надо было жечься, что он сразу же и сделал.

*Тихоне свет Виталию
Мы отдаем Наталию.
Держи ее за талию,
А после и так далее.*

Это пели у них на свадьбе.

Наталья оказалась размеренным существом. Она ему соответствовала, жила с ним спокойно, без ссор, сотрясавших семьи знакомых. Он любил вваливаться вечером домой, жевать кофе, чтобы не пахло водкой, вместе ужинать, возиться с сыном, раз в месяц выбираться вместе в кино и раз в год — в отпуск. Инженер Полудин на вопрос, давно ли он женат, серьезно отвечал: «Всю жизнь».

Телефонный звонок на это и не посягал. Он манил мгновенной доступностью. Он приглашал узнать наконец всем известное, но для Полудина почему-то запретное. Как съездить за границу: ничего особенного, если испытал.

Из зеркала в дверце шкафа на него поглядело лицо, слишком деловое для такого случая, и он попытался улыбнуться. Но получилось нечто нагловатое, ему не свойственное. Обеими ладонями он пригладил волосы и провел пальцем по щеке, поскольку настоящий мужчина должен быть не только слегка пьян, но и чисто выбрит.

Надо спешить. Бутылку он взял с собой.

Дверь номера, как на зло, заскрипела. Дежурная спала, положив голову на локоть. Она пошевелилась, глянула, куда он пошел, но ничего не сказала.

Он поднялся на этаж выше — слегка напряженный небольшой тигрик, готовый к прыжку. Нужно было взять с собой пижаму, чтобы переодеться. Все-таки пижама, как во французских фильмах! — это производит впечатление. Кстати, какие говорить слова? Нет в запасе ничего подходящего. Полудин вообще плохо умел говорить, когда необходимо. Без нужных слов может ничего не получиться.

У шестьсот восьмого он перевел дыхание. Потом решительно поднял палец, постучал и прижал ухо к двери. Послышались шаги, и он отодвинулся, спрятав бутылку за спину. Кто-то остановился за дверью совсем близко. Слышно было дыхание. Потом замок щелкнул, дверь приоткрылась.

На Полудина изумленно смотрела смуглая девчушка с большими черными глазами и черноволосая. У нее был длинный нос с толстой переносицей, это он запомнил твердо. Она показалась ему слишком маленькой и толстой, явно некрасивой. Но после, вспоминая, он видел ее хотя и маленькой, но стройной, и некрасивость списал на застенчивость, которая вроде бы даже привлекала.

— Привет! — бодро сказал он, помня о том, что слова приближают цель. — Вот и мы...

— Вам кого? — глаза ее в полутьме расширились.

— Ты что, Инга?..

— Вы ошиблись. Здесь такой нету.

— Как нету? — такого поворота он не ожидал. — Это... ну, какой?.. Шестьсот восьмой?

— Шестьсот восьмой, а Инги нет.

Девушка глядела на него насмешливо, или, может, это ему лишь показалось.

— Вас как зовут?

— Не Инга.

— Извините... — только и произнес Полудин, с трудом ворочая языком.

Находчивостью он не отличался, это уж точно.

Дверь закрылась, хрустнул замок. Виталий постоял, повернулся и, машинально отхлебнув на ходу из бутылки глоток водки, растерянно побрел к себе, все еще не желая признать себя попавшимся на элементарный розыгрыш. Хорошо еще, что пижаму не взял с собой. Ничего не поделаешь. Злиться не на кого. Следующий раз не будь таким ослом. Сейчас же забыть, забыть все.

Кайф продолжается!

5

Полудин разделся, лег и, укрывшись с головой одеялом, начал было дремать, когда снова раздался звонок. Пришлось подняться и взять трубку.

— Ну чего? — обиженно спросил он.

— Ты на меня сердиться? — спросила она. — Очень? Я понимаю, что получилось глупо. Страшно стало, просто дух захватило.

— Чего же ты звонишь?

— Приходи...

— И ты опять?

— Нет, теперь приходи. Я уже почти не боюсь. Знаешь, как плохо одной?

— Если так, теперь уж ты иди!

Она помолчала немного. В трубке было слышно ее прерывистое дыхание.

— Я не могу долго быть смелой. Меня не хватает.

— Ну ладно! Хочешь, выйду тебя встречать?

— Выйди.

Короткие гудки.

Полудин, то ли сопя, то ли ворча, снова оделся и оглядел комнату. Кровать расхристана, но неизвестно, как лучше: застелить ее или оставить готовой? Он погасил свет. Нет, так совсем темно. Зажег торшер. Свет погасить успею, пусть лучше горит, чтобы эта трусиха опять не испугалась. Усевшись в кресло, он поглядел на часы: десять минут второго. Дома они с женой ложатся не позже пол-одиннадцатого, потому что без пяти семь щелкает будильник и надо вставать. А тут — кайф!

Для храбрости он отглотнул еще водки и пожевал корочку. Глядя через щель в полутемный коридор, он ждал.

Она вплыла вихляющей походкой, как сказал поэт, и, ожидая приглашения, оперлась плечом о дверной проем.

— Я пришла! — она сделала шаг вперед к кровати и расстегнула пуговицу на кофточке — то ли оттого, что жарко, то ли хотела снять ее. — Что это ты рисуешь?

Листки с его расчетами так и лежали на полу, придавленные линейкой. Он качнулся, чуть не упал, поднял бумажки, разложил на одеяле и кратко описал ей идею нового транспортера.

— Ты гений! — она расстегнула еще одну пуговицу.

Полудин не был уверен, что она что-либо поняла, но жена ему так никогда не говорила. Насколько мог, стремительно поднялся с кресла, взял Ингу за руку и потянул к себе. Она приблизилась послушно, будто загипнотизированная. Он обхватил ее за плечи и прижал так, что захрустели кости. Защищаясь, она впиалась ногтями ему в спину.

— Сумасшедший! Гангстер! Супермен чертов! — задыхаясь, стонала она. — Ты дверь запер?

Как же он про дверь-то забыл? Полудин разжал руки и побежал к двери, по дороге больно ударившись локтем о шкаф. Вернулся — она прошмыгнула к кровати и погасила торшер. Прошелестела молния, упало на пол платье, стукнулись туфли. Он видел ее силуэт на фоне окна, слышал ее дыхание, чувствовал тепло и шел на это тепло осторожно, будто слепой.

Инга положила холодные ладони ему на уши. Оранжевые отсветы рекламы «Hotel Penza» дрожали у нее на волосах, придавая ей неземной вид. Казалось, она сама дрожит — от любви к Полудину. Он рванул вперед, но она юркнула под одеяло. Остались одни глаза и черные волосы, разметавшиеся на подушке. Он стал стаскивать собственную одежду, впопыхах отрывая пуговицы и думая о том, что забыл Ингу сперва напоить. Ведь это принципиальная ошибка, так все говорят.

— Иди ко мне, глупыш! Иди же...

Впрочем, «глупыш» она не скажет. Позовет просто: «Иди ко мне».

Сняв часы, Полудин взглянул на них. Часы стояли: вчера утром он забыл их завести. Сколько прошло времени, пока, ожидая ее, он проиграл всю ситуацию в голове, установить невозможно. Она наверняка уже спустилась. Если спустилась...

Дверь в коридор все время была открыта. Если б Инга прошла мимо, он бы не мог не заметить. Швырнув в раковину окурков, он подошел к двери в нерешительности. Нелепое, взвешенное состояние. Планер оторвался от земли, но не попал в воздушный поток, который должен поднять его. Надо сесть на землю, пока не швырнуло.

Полудин захлопнул дверь, пнул ногой отвалившийся кусочек штукатурки и стремительно вернулся. Он еще отглотнул из бутылки и сморщился от дряни, которую называют водкой. Наверно, уже третий час. Хотелось лечь в коридоре и заснуть. Собрав остатки сил, он, качаясь, добрал до кровати.

Но стащить с себя брюки не успел: телефон зазвонил на всю гостиницу.

Он снял трубку и ждал. Она набрала его номер и хотела, чтобы он спросил первый. Они молчали, дыша друг на друга по проводу. Он скрипел зубами, стоя в одной брючине.

— Ты сердисься? — наконец спросила она. — Понимаешь, духу не хватило. Скажи мне что-нибудь. Все, что хочешь, только скажи!

Надо было обматерить ее, но раздражение уже прошло.

— Спать пора! — устало и равнодушно промямлил он.

— Пора! — послушно согласилась она. — Но не хочется.

— Чего же тебе хо... — он не договорил. — Откуда ты вообще меня знаешь?

— Я? Видела тебя в «Каса маре».

Конечно, в зале «Каса маре» она видела его, раз привезла молдавское вино! Он же там был и сам мог сообразить.

— Помнишь? Ты еще сказал: «Вот это вино!»

— И что? Все говорят: «Вот это вино!»

— Конечно, все. Но тогда сказал ты. Думаешь, я дура, да?

— Почем я знаю.

— Я не дура, честное слово... Просто я пошла за тобой в гостиницу. То есть не за тобой, а к себе.

— Утро скоро. Зачем звонишь?

— Не знаю. Мне не с кем поговорить. Может, придешь?

— Ну уж нет! Хватит, поговорили! Положи трубку.

— Не желаешь говорить? Может, ты тоже подонок? Клади сам.

— Я? Да я...

Он в сердцах бросил трубку. Хмель не прошел, но принял форму

озлобления. Он мужик, в конце концов. Будто он сам не может решить, как поступить, идет на поводу у сопливой девчонки, которую и видел-то пять секунд через дверную щель. И вообще у него свой взгляд на вещи. Да если бы он всерьез захотел, он бы своего добился. Просто лень было. Ишь ты, поговорить!..

Наверно, уже три. Спать. Немедленно.

Забыться, тихо и блаженно, на удобной кровати, одному — такой кайф еще лучше.

Раздевшись и стоя босиком, он поднимал уже одеяло, чтобы забраться под него, как опять зазвонил телефон.

Полудин твердо решил не снимать трубку, но телефон звонил, звонил, звонил, звонил. Виталий прыгнул к нему и, с размаху наступив на укатившуюся водочную пробку, застонал от боли. Стоя на одной ноге в позе, которую йоги называют «Пальмой», он сорвал трубку с рычага и набрал первую попавшуюся цифру. Теперь он недосыгаем.

Остаток водки он допил, и его сразу вырвало. Красивый половик посреди комнаты выглядел теперь менее пристойно.

Кайф успешно подходил к концу.

Полудин погасил торшер, вытянулся под одеялом, согрелся. Глаза побродили по теням на потолке. Ему захотелось вдруг позвонить жене. Поднять ее с постели заспанную, с двумя трубками бигудей сзади, закрученными так, чтобы было удобней спать. Он скажет, что соскучился, и больше ничего. Она ответит раздраженно, что он сошел с ума, что она давно спит, но после, подумав, прибавит, чтобы он скорее приезжал.

Звонить на последние деньги он не стал: надо было оставить на еду. Сон окутывал сознание. Полудин похвалил себя за то, как правильно и решительно он поступил только что. Довольство собой и водка сделали тело невесомым, и старший инженер заснул сном праведника.

6

Утром, слушая Полудина, главный конструктор поморщился. Старая разработка уже была включена в план и утверждена, администрации завода обещана премия от министерства. Да и самому Полудину, пока он излагал, идея с механической рукой уже не рисовалась такой великолепной находкой, как вчера.

— У нас не спорт! — буркнул главный, отодвигая наброски, едва заглянув в них. — Мы — химическое машиностроение.

— Все равно надо уметь прыгать! — запальчиво возразил Полудин. — Не то всю жизнь не оторвешься от земли.

— Прыгать? — переспросил тот, с подозрением взглянув на командированного. — На Луне надо прыгать, там притяжение слабее. А тут

бы на животе до кладбища доползти. Кстати, моя секретарша сказала, что из гостиницы звонили. Что ты им там с ковром натворил?

— С ковром?

— Ну, не с ковром, с половиком. Секретарша сказала, что ты уже отбыл. Они тебе на работу написали, не удивляйся...

И главный конструктор встал, давая понять, что время аудиенции исчерпано.

Половик в гостинице, из-за которого подняли шум, напомнил о нелепости всего остального. Командировка заканчивалась. Зачем они вызвали Полудина? Завод хотел застраховаться согласованиями и подписями, чтобы в случае просчета всю вину свалить в главке на проектировщиков. Проектировал не Полудин, а инженер Башьян, которая ушла в декрет. «Если она конструктор, так я тоже могу рожать!» — сказал про нее Гурштейн из соседней группы. Расхлебывал Полудин, который видел их всех в гробу. Хорошо хоть вечер вчерашний удался на славу. В общем, если еще можно так культурно гульнуть, жизнь не так плоха, как клеветают наши враги.

Поставив ему в командировочное удостоверение отметку «Выбыл» и печать, секретарша сказала, что из Москвы звонил лично замдиректора Хануров и она ответила, что у Полудина все в порядке. Надо было подарить ей конфетку, но карман не звенел.

Откушав дешевого пойла в заводской столовке для ИТР, он, чтобы убить время, оставшееся до поезда, отправился бесцельно бродить по городу.

Тусклое солнце просушило мостовые, а ноги были мокрые. Ночью отопление отключили из-за режима экономии, и ботинки не высохли. Он глядел на местных женщин, и сегодня они ему нравились меньше, чем вчера. Вчера ему казалось, что все они готовы принадлежать ему одному. Сегодня выглядели загнанными, блеклыми и чужими.

Полудин обнаружил, что стоит перед «Каса маре». Так молдаване называют комнату, в которой принимают гостей. Дегустационный зал молдавских вин открылся в Пензе недавно (смелая акция обкома по пропаганде дружбы народов с учетом алкоголической их любознательности). Заводские завсегдатаи третьего дня приводили Полудина в подвал на опохмелку. Сделали они это за свой счет в надежде на ответное гостеприимство в Москве.

Смуглые девочки в национальных костюмах подавали на подносах каждому по несколько рюмок сразу. В них светились марочные вина. Из репродукторов доносилась лекция о советских винах, которые лучшие в мире. Потом давали попробовать. Букет, аромат, вкус... Но это были уже вина для внутреннего потребления за рубли и с лучшими в мире они имели лишь территориальную близость. Впрочем, командированный не огорчился: сам он отличал лишь белые от красных и сухие

от крепленых, предпочитая всем прочим сортам тот, которого на ту же сумму наливают больше.

Очереди в подвальчик в это время еще не было, так как вином торговать до двух запрещено, и трудящиеся дегустировали только сильно разбавленные водой соки. Но если бы и продавали — денег на вино у Полудина все равно не имелось, так что запрет в данный момент его лично не огорчил. Постояв перед «Каса маре», он побрел по улице дальше. Голова болела, желудок ныл, подташнивало, но в целом все было хорошо.

Ночной эпизод, когда он припоминал теперь детали, казался ему состоявшимся в его пользу. Будет о чем со вкусом рассказать узкому кругу курильщиков в конце коридора. Основную сцену Полудин тут же решил перенести на балкон своего номера, где они с хулиганкой Ингой делали это посреди ночи на виду у всего города. По пьяной даже холода не чувствовали. Он ей рот рукой закрывал, чтобы она от кайфа не кричала. Остальные подробности, решил он, придут по ходу дела. Говорят, правда, что зам по кадрам и режиму уже велел установить в курилке микрофончик. Но, во-первых, за разговоры о бабах вроде пока не сажают; во-вторых, небось, слух насчет микрофончика специально распустили, чтобы меньше курили и больше работали.

Полудин замедлил шаги. Он решил вернуться, спуститься в подвальчик «Каса маре» и гордо попрощаться. Инга ведь там, где ж ей еще быть? Пускай пожалеет, как много кайфа она потеряла. Решив это сделать, Полудин, как всегда, поступил обратным образом. Он бросил окурочку на тротуар, растер его мокрым ботинком, плюнул и зашагал к вокзалу.

Вместо «Каса маре» ему вдруг захотелось домой, на кухню. Жена, соскучившись, отпросится с работы, все быстро подаст, чтобы ему не пришлось тянуться ни за вилкой, ни за чашкой. Она свой парень. Сядет напротив, коротко сообщит, с кем вчера подрался сын в детском саду, и замолчит — вся внимание.

Он, не торопясь, поест, закурит и будет ей подробно втолковывать про успешное согласование проекта, которое он героически вынес на своих плечах, расхлебывая грехи всего отдела. Про свою колоссальную идею с механической рукой, до которой нынешнему уровню технического прогресса еще подниматься и расти. Не забудет он про гниду Ханурова, который буквально берет за горло. Про то, как Полудина чествовали в дурацком «Каса маре» за их счет, как уложился в командировочные, не заняв ни рубля, и про то, что в Пензе со жратвой еще хуже, чем у нас, и куда это катится, непонятно.

Он расскажет ей все.

Все?

Почти все.

ЛИШНИЙ
ПЕРСОНАЖ
В ВОДЕВИЛЕ

«Астаррожна, двери закрываюцца! Следующая станция — «Биларрусская»».

В московском метро объявляется так торжественно, будто двери эти — в светлое будущее. Металл в голосе — чтобы никто не засомневался. Где их учили площадной дикции? Как с мавзолея вещают. А может, просто характер у меня испортился, и я стал ворчуном?

Ворчун возвращался со спектакля, на котором был теперь зрителем, и с этим смирился. Покой нам только снится, говаривал он раньше. Теперь покой стал явью, сон — беспокойством.

Многоцветная толпа вдавилась в полупустой вагон на «Маяковской» и притиснула Ипполита Акимыча к тем, кто оказался шустрой и успел сесть. Чтобы не налегать на сидевших, пришлось обеими руками ухватиться за перекладину. При небольшом его росте и давлении с трех сторон это было нелегко. В метро люди замечают друг друга, когда свободно. Если же в вагоне битком, то каждый сам по себе, будто один. Такой уж парадокс. Тем не менее, пристальный взгляд на себе Ипполит Акимыч ощутил. Не повернешься, чтобы хоть взглянуть. Руки напряжены, не опустить.

Пошевелив кожей на лбу, попытался оторвать прилипшую шляпу. И это не удалось. Сдвинул ее пальцем, повертел шейей, чем тут же вызвал ворчание соседа, которому ни за что ни про что задел ухо локтем. Наконец удалось в пределах возможного обернуться. У дверей, в двух шагах от себя, Ипполит Акимыч углядел молодого человека в больших очках, лицо которого показалось знакомым.

Тот кивнул головой, вроде как поклонился. Зашевелил губами, произнося слова, кои в грохоте тоннеля не расслышишь. И когда губы, задрожав, приоткрылись, сразу вспомнилось имя:

Радик. Конечно, Радик. Только у него так вздрагивали углы губ: что-то типично актерское.

Механически кивнув в ответ, Ипполит Акимыч тут же пожалел, что сделал это. Вот кого не хотелось бы встретить.

Поезд тормозил на «Белорусской», и надо было протискиваться к дверям. Может, сделать вид, что не вспомнил? Или, на худой конец, отвернуться? Оставался шанс проскользнуть, избежав встречи. Но Радик уже рванулся вперед, нырнул и, когда двери раздвинулись, вывалился на платформу. Толпа вынесла бы их вместе, даже если поджать ноги. Радик оказался впереди, и, едва людской поток вытек на платформу, они столкнулись лицом к лицу. Деваться некуда. Пожав руки, постояли, глядя друг на друга. Радик, худой и длинный, на голову выше.

— Помните меня?

— Ты ведь жил у Речного вокзала...

— Я с вами сошел. Вы все там же, на Малой Грузинской? Я из театра. Вы тоже?

— Угадал! Почему один?

— Так... Люблю один, — жестко отрезал Радик.

— Ну, коли встретились, сядем?

Нашли свободную скамью в стороне, чтобы люди, бегущие к эскалаторам, их не задевали. Душный ветер и человеческий поток, текущий мимо, создавали тот особый напряженный уют, которого не ощутишь, пожалуй, нигде, кроме как в московском метро. Радик тоже был смущен, и от этого неприязни к нему поубавилось.

— Опять весна, — произнес нечто ничтожное Ипполит Акимыч, чтобы не молчать.

— В метро всегда весна, — Радик усмехнулся, вытянул ноги и поглядел на грязные ботинки. — Когда-нибудь, говорят, будет только хорошая погода. Плохой не будет. Страшно всю жизнь провести в метро.

— А вне метро не страшно? — спросил Ипполит Акимыч.

Они посмотрели друг на друга, и установилось какое-то взаимопонимание. Радик стал скептиком, как я. Отчего ж у меня на него обида? Что он мне сделал плохого? В чем виноват?

Профессиональная память Ипполита Акимыча хранила в себе роли, даты, имена. К старости он стал воскрешать и прокручивать в уме целые эпизоды из прошлой жизни, заново их переживая. Вот и тут память услужливо предложила готовую кассету о том, что произошло между ним и этим юношей, к которому он отнесся, как к сыну. Впрочем, уже не юноша — мужчина.

Было это... Пойдите-ка... Два года назад. Точнее, два с половиной.

Дворники не успевали сметать листья. На дверь Листопаду, соседу Ипполита Акимыча, скульптору, кто-то тогда повесил дорожный знак для трамваев: «Осторожно! Листопад!».

Вполне рядовой (чего уж там!) и немолодой актер неожиданно ушел из Театра на Малой Бронной. Ушел вторично. В первый раз — с этой же сцены, когда разгоняли Госет, Государственный еврейский театр, после убийства Михозлса. Отсюда Ипполита Акимыча увезли в воронке и судили как пособника космополитам. Во второй раз он сам устал и ушел в никуда, как отрубил. Судьба будто поджидала: через два месяца он потерял жену.

Вера, супруга его, служила в театральной бухгалтерии, ездила в банк за получкой актерам и сама ее выдавала. Возвращалась она ночью после премьеры, и на улице стало плохо. Сколько времени прошло потом, пока ее «скорая» подобрала, трудно сказать, только уже было поздно. Выдержала Вера лагерь, после которого на поселении они с Ипполитом сошлись. А по сию сторону колючей проволоки, когда и квартиру кооперативную отстроили, и мебелишкой обзавелись, отошла из жизни в небытие.

Пробыли они на Крайнем Севере сравнительно с другими недолго и, можно считать, выжили удачно. Запас молодого здоровья помог. На общих работах он провел не более шести лет. По вечерам на сцене веселил мордастое лагерное руководство.

Театр у них в воркутинских лагерях, согласно воле начальства, был лучше вольных театров: хороших актеров на воле уже к тому времени пересажали. Ставили там на одной сцене драму, оперетту, даже оперу — на все зеков хватало. И рецензии в лагерной многотиражке на постановки печатали (само собой, без указания имен заключенных). Одна газетка у Ипполита Акимыча чудом уцелела: «С подъемом спел свою прощальную арию Владимир Ленский. Что касается Евгения Онегина, ему еще предстоит поработать над собой, побороться за досрочное освобождение».

Из-за своего курносого лица, некрупности и мягкости фигуры Ипполит Акимыч играл в советских пьесах отрицательных героев, которые, однако, успешно перековываются. Был он также рабочим сцены. Вера мыла полы, шила в костюмерной. То, что они нашли друг друга на Севере, помогло им дотянуть до амнистии, но детьми они не обзавелись. Когда можно было рожать, рожать было нельзя. Потом дважды у Веры были выкидыши, пошли болезни. Врачи сказали, что поздно. Из-за отсутствия детей театр они любили вдвойне.

Похоронив жену, справил Ипполит Акимыч нелепые поминки, по-

выл у себя в берлоге, пошел в церковь — не помогло. Что-то, видно, отбили в сознании, назад не повернешь. Москва по чужим бедам не плачет. Стал куковать бобылем. Все вокруг поплыло сикось-накось. Но сдаваться он от одиночества не хотел. Попытался вернуться в труппу, чтобы не сиротствовать у себя на кухне. Оказалось, свято место пусто не бывает. Его роли уже тарабанил парень из Ярославского драмтеатра, ухитрившийся, как сказывали, за неделю фиктивно жениться, прописаться в Москве и развестись.

Чтобы убавить ощущение одиночества, Ипполит Акимыч перестал запираеть дверь. Даже забил молотком шуруп внутрь замка, чтобы случайно не защелкнулся. Засну, как Вера, и в квартиру никто не проникнет. Будут считать меня живым, а я давно того-с. Сосед, скульптор Листопад, старался его убедить, что жить в Москве без замка накладно. Ипполит Акимыч возражал:

— Вору замки не помеха. Разве зеки в лагере запираются? Денег у меня нет. Кроме классиков, ничего дома не держу. Зачем домушникам классики?

После того как в подъезде убили бутылкой по голове переводчика Костю Богатырева, все знакомые переполошились. Стали по два, по три дополнительных замка врезать.

— Убили Костю не случайно, это факт, — рассуждал Ипполит Акимыч. — Виден почерк наших доблестных органов. Что до воров, то драматург Александр Флаг у нас в кооперативе семь специальных замков имел. Когда на дачу съехал, дверь у него отжали с другой стороны и с петель сняли. Замочки остались целехоньки. Захочет судьба распорядиться, она это сделает.

Малочисленные друзья стали входить и раздеваться сами. Услышав голоса, он спешил им навстречу. Если просили, подыгрывал знакомым актерам, когда те учили роли. Но это случалось нечасто.

Не зная, чем себя занять, он угрохал последние сбережения, оставшиеся после похорон, и купил подержанный бильярд. Бильярдный стол оказался большим — не для однокомнатной квартиры, даже если на нем есть и спать. Диван в углу все же остался. Но бить с боков по шарам можно было только коротким огрызком кия, который Ипполит Акимыч сам отпилил, чтобы не ударять в стену. Думал, приятели соблазнятся бильярдом и станут чаще навещать. Раз зашел Листопад — для вежливости. Остальное время бильярдист играл сам с собой.

Жить на что-то надо было, не голодным же гонять шары в лузы. Из Москвы в периферийный театр, где, может, и возьмут, уезжать глупо. Взялся вести драмстудию во дворце культуры, неподалеку от дома. На хлеб без масла, чтобы мизер приработать к пенсии. Набрал старшеклассников, начали читку водевиля прошлого века. Вот тогда и явился к нему хромой юноша в свитере домашней вязки, черном с красными

полосками. Одно стекло в очках треснуло, мешало смотреть. Углы губ нервно подрагивали. То и дело поправляя очки, новенький сразу потребовал для себя главную роль.

— Так просить у актеров не принято, — мягко сказал Ипполит Акимыч. — А вообще, хорошо, что пришел. Нам как раз нужен такой типаж.

Сказал, чтобы не возникло никаких подозрений. Но тем самым взвалил на себя ношу. У каждого есть изъяны, и они препятствуют кем-то быть. Скажем, не стану я солистом балета со своим ростом. Не могу петь иначе как дома, когда один. И мало ли чего еще не могу. Нет, разумеется, декрета: хромого не допускать на сцену. Существует негласный запрет.

Все это так. Но отказать человеку в любительской студии, если хромает, нельзя. Почувствовал Ипполит Акимыч интеллигентным своим нутром, что ли: не возьмешь — будет травма души. Коли мальчик хочет приобщиться к святому огню, как взвалить на себя ответственность — отлучить?

Вечером, играя в бильярд, Ипполит Акимыч вслух советовался с покойницей Верой, как привык это делать всю жизнь. Ему казалось, она отвечала. Он ей возражал или соглашался, прерываясь только, чтобы загнать в лузу шар или выпить чаю. Поделился с ней сомнением о кандидате на роль французского графа. Она заинтересовалась, стала расспрашивать.

— Скажи, какая настырность у парня! Может, Поля, способности?

— Знаешь, — мысленно высказал он ей свое мнение, — у него губы подрагивают. Нервная организация тонкая, актерская. А товарищи его школьные говорят, он математик. Может, талант?

— Бывают таланты двухполюсные.

— На практике это невозможно, — возражал он. — В актерах ему все равно хода не дадут. Нельзя быть однорукому гимнастом, глухому — Рихтером. Зачем обманывать? Вдруг он всерьез увлечется, бросит математику...

Уговаривала его покойная Вера мягко, словно взвешивая правоту мужа. Она даже нашла подтверждение своей мысли:

— Кстати, в театре у Мольера был хромым артист. Помнишь, Булгаков писал?

— О, господи, у Мольера! — возразил он. — Булгаков мог и присочинить. Да Осип Наумыч Абдулов хромал, большой артист. Но Станиславский не потерпел его у себя в театре и сказал: хромым артист обязан быть ге-ни-аль-ным. Если актер гениален, он может убедить мир, что все здоровые люди должны хромать. Кто не хромает, тот инвалид! Кстати, после Осипа в его ролях другие артисты хромали, полагая, что иначе нельзя. Но прежде докажи, что ты гениален. Приди такой в теа-

тральное училище — комиссия будет гримасы корчить. Помнишь, как Зяму Гердта не хотели брать после фронта, колченогого? Взяли — в кукольный театр, за ширмой стоять.

— Есть вещи, Поля, которые человек сам должен в себе переступить. Осознать и отказаться. Это особенно касается недостатков физических. Вроде женской красоты...

— Разве ж это недостаток? — спросил он Веру, которую красивой назвать было нельзя, но и дурнушкой — тоже.

— А то! Женщина берет за красоту награды, которых она как человек и не заслуживает вовсе. Присваивает себе незаконное право иметь лучших мужчин, которых другие достойны. И богаче жить. Но это растлевают. Умная женщина, пройдя через испытание красотой, очищается, глупая становится шлюхой.

— Что ж мне с хромым-то делать? — перебил он ее.

— Возьми его, Поля, — сказал голос жены. — Не велик риск.

Странно, что ни он сам, ни даже ясновидящая жена, не оставившая его без советов и после смерти, не предвидели, что Радик, того не ведая, втянет Ипполита Акимыча в водоворот.

Для хромого пришлось переделывать в водевиле все так ловко придуманные мизансцены, чтобы Радик меньше ходил по сцене, сидел или стоял, когда раздвигался занавес. Это был режиссерский эксперимент с заданным условием: одно действующее лицо привязано к стулу. Все приходилось делать незаметно.

Ипполит Акимыч боялся резким словом или слишком жестким требованием обидеть юношу. Он понимал, что иногда приносит ему в жертву остальных, но шел на это. Чуткость у трупы обострилась. Радик все воспринимал нервно, даже мелкие замечания. Краснел, дулся и повторял сцену еще хуже. Его никак не удавалось отучить от излишней патетики.

Вечерами режиссер вслух обсуждал с отсутствующей Верой репетиции. Актерские способности у Радика не подтверждались. Конечно, Завадский был прав, когда заметил, что актер — это человек, который говорит чужие слова не своим голосом. Но ведь и для этого нужен дар. Почему неспособный человек так фанатично рвался играть? Даже Вера ответить не могла.

3

Народ в метро к ночи убывал. Поезда шли реже. Ипполит Акимыч все еще недружелюбно смотрел на сидевшего рядом с ним молодого человека, осознавая, тем не менее, что сердится на него

несправедливо. Как твердят французы, *cherchez la femme*. Ищите женщину. Ищите и обрящете.

— Как живешь, Радик?

— Знаете, кто такой зануда? — вопросом на вопрос ответил тот. — Человек, которого спрашивают, как живешь, и он начинает объяснять... Заканчиваю третий курс мехмата.

— Постой-ка! Ты ж должен быть на втором?

— Я перескочил... Зря я тогда студию бросил.

— Без сцены скучаешь? — изумился Ипполит Акимыч. — Но не театр ведь тебя ко мне привел!

Уши у Радика порозовели. Он опустил голову и стал внимательно разглядывать под ногами затоптанный конфетный фантик.

Перед Ипполитом Акимычем возникла юная леди с алмазными голубыми глазами и кукольными ресницами. Жизнерадостная, легкая, пропорциональная. Бог дал грацию, походку, от которой у прохожих дух перехватывать должно. Неотразимая. При этом уверенная в себе, упрямая, вздорная, с адским характером, да что там — стерва. И, по теории покойной Веры, вздорная и вредная именно оттого, что красива. Можно сказать, безнаказанно хороша. К тому же отец ее был крупным начальником во Внешторге и постоянно шарил по заграничным сусекам. Сослуживцы баловали его и, как положено, его дочь подарками. Одевали ее родители на зависть всем. Вот уж в кобылицу корм. В старинном водевиле, который они ставили, Мальвина играла крепостную девку. У французского аристократа с ней возникает в России непредусмотренный его интуристовским планом роман. Мальвина себе цену знала. На замечания не реагировала, все делала по-своему. Красота уверена, что ей спишут все.

Радик старался играть смешно и поэтому выглядел напыщенно и фальшиво. Она вела себя серьезно — и потому выглядела смешно. Каждый шаг с ними давался трудно.

— Хватай ее решительней! Ты — француз, аристократ, она — крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать. Смотри!

Обняв Мальвину за талию, Ипполит Акимыч переворачивал ее себе на колено так, что юбка у нее задиралась до пояса, и показывал Радик, как требуется ее целовать.

— Чтобы звук от поцелуя был слышен в последнем ряду, понятно? Ты, доченька, не сопротивляйся, наоборот: твой долг его обслужить. Он же и-но-стра-нец! Импровизируйте на ходу. Вы актеры. Плавайте на сцене легко, как рыбы в аквариуме. Считайте, что водевиль — ваша собственная биография... Поехали!

Труппа пританцовывала, надвигаясь на авансцену, и хором пела:

*Куда это годится —
Гулять одной девице?
Что ждет ее потом?
Суп с котом!*

Куплет этот комиссия, принимавшая спектакль, велела выбросить.

— Потом, — пояснил секретарь парткома, — нас всех ждет не суп с котом, а коммунизм.

Импровизации и намеки, которые они сообща придумали, тоже все выбросили. Дворец культуры принадлежал огромному военному заводу Министерства авиационной промышленности. Там у них допуска к шуткам не давали.

Когда Радик с Мальвиной не были заняты на сцене, Радик садился подле нее в пустом зале. Если они прорабатывали диалог вдвоем, Радик путался. А память у него вообще-то завидная: раз прочитав, запоминал целые сцены и подсказывал реплики другим. Ребята над ними потешались. Тогда Ипполит Акимыч сказал — так чтобы Радик и Мальвина не слышали:

— Только недостаточно умные над этим смеются. Лучше тихо завидовать. И помогать им дружить.

— Мальчик с девочкой дружил, мальчик с девочкой не жил, — прокомментировал кто-то.

Ипполит Акимыч поморщился. Старше их на целую эпоху, пройдя воркутинские университеты, он старался быть учителем жизни, а не одного актерства. Ближе к генералке стало ясно, что Радик роль не потянул. Зря столько сил угрохано. Однако на премьере Ипполит Акимыч сам удивился, и знакомые профессионалы, которые забежали одним глазом взглянуть, тоже отметили во французском аристократе нечто.

Радик не хромал, это само собой, поскольку он по сцене не ходил, и в этом больше было заслуги режиссера. Разыгравшись, француз стал уверенней в себе, энергичней, даже веселей. Сцену с поцелуем сыграл по первому классу. Моя заслуга, с гордостью отмечал Ипполит Акимыч. Окупаются внимание и добро. Да и роль переливается в человека настолько, что тот становится даже талантливей. Глядите-ка, ожил, приобщился к священному алтарю.

Переоценил он тогда и театр, и себя. Роль тут была ни при чем. Радика окрылила, сделала героем красивая бабочка Мальвина, сделала мимоходом, окропив пылью со своего крыла и даже не заметив этого. Небогатая душой, она помахала крылышками, захваченная общим вихрем веселой премьеры: яркими красками грима, таинственным запахом кулис, легкой музыкой и аплодисментами. Радик летел за ней по-настоящему, вдыхая источаемые ею таинственные флюиды. Впрочем, скорее, то были хорошие парижские духи. Его чувство казалось ему вечным. Но бабочка жила один день.

Едва занавес закрылся, Радик, чрезвычайно возбужденный, подбежал к Ипполиту Акимычу, волоча ногу сильнее, чем обычно:

— Не заметили, что я хромал!

— Ну, и заметили бы? Зрителю-то важно, какой души ты актер. Тело, мальчик, бутафория. Играешь ты вкусно!

Похвалил преждевременно. Пороху у Радика хватило на один салют.

— Выходит, и ушел ты тоже из-за Мальвины? — констатировал теперь Ипполит Акимыч безо всякого удивления, прикрыв глаза, чтобы зени отдохнули от мерцающего света люстр над платформой.

Радик поднял пальцем переносицу очков, уголки губ вздрогнули.

— Ей стало скучно в студии. Она сказала, что у вас детский сад, помните?

Еще б не помнить! Даже больше, чем Радик предполагал. На репетиции, когда разбирали ошибки премьеры, Мальвина вдруг пнула ногой стул и заявила, что больше играть не будет.

— В чем дело?

— Я вам тет-а-тет скажу.

Он изящно взял ее под локоток и отвел в фойе.

— Что с тобой?

— Вы же умный человек, сами должны понимать...

Она умела говорить вежливо и при этом оскорбительно. Он не считал себя глупым, но не понял.

— А все ж?

— Допустим, мне не нравится роль крепостной, над которой зал потешается.

— Хочешь играть графиню? Но она же пожилая...

— При чем тут графиня? Не хочу на сцене целоваться. И все!

— Это ж театр. Сценические поцелуи — профессия.

— С ним не хочу.

— Но он не Радик — француз! Такое у нас с тобой ремесло...

Поведа плечом, она не удостоила объяснениями. Вздохнув, он покорно согласился. Раз так, действительно лучше бросить. Посреди репетиции Мальвина ушла. Не дано ему было предвидеть, что за этим последует.

С уходом Мальвины Радик помрачнел. Из-за незначительного замечания слез со сцены в зал. Еле закончили без них: Ипполит Акимыч сам бросал Мальвинины, а потом и его реплики. Погасили софиты. Радик продолжал сидеть в зале. Надев плащ и шляпу, режиссер подошел, положил ему руку на плечо. Плечо вздрагивало: Радик рыдал.

— Я попробую с ней поговорить, — не зная, как помочь, тихо сказал Ипполит Акимыч.

Женская часть труппы чувствовала его мягкость и обычно липла к

нему с доверительными разговорами. Вечером он отыскал в списке студийцев телефон Мальвины. Дома ее не было, попросил передать, чтобы забежала в студию. Через пару дней Мальвина явилась к концу репетиции разодетая, будто шла на дипломатический раут. Сидела в темном зале. Заметив ее, Радик ушел. Когда режиссер освободился, подошла.

— Бабушка сказала, вы звонили. Ну?

— Что если, — предложил он, — прогуляемся до метро?

Галантно подал ей меховую жакетку, накинул плащ сам, и они вышли на улицу. Сыпался мягкий снег, последний в ту весну.

— Мадемуазель! — начал он издали. — Человеческие отношения сложны.

— Вы в этом уверены? — прыснула она.

— Уверен, деточка. Не умеем мы ценить то, что на дороге не валяется и в комиссионке не купишь.

— Чего не купишь?

— Например, симпатию, искреннее чувство.

— Вы о себе или... — она элегантно повела пальчиком в воздухе, — или от имени Радика?

— Радика, — он одновременно испугался и поразился женской проицательности.

— Ну и мужчины пошли! — Мальвина вдруг перестала кокетничать.

— Он же... В общем, мне неудобно... Он — ничего, и я ему нравлюсь. Само собой. Но ведь он не-кра-си-вый...

— Как так — некрасивый?

— Хромой, вот как.

— А Байрон? — возразил он. — Байрон тоже был хром. Ты читала Байрона?

— Слышала, — уклончиво ответила она. — Я больше уважаю Асадова.

— И твой пример против тебя. Асадов-то слеп. А Пушкин? Знаешь, Пушкин был совсем маленького роста, но как его обожали женщины!

— Сравнили: Пушкин и этот! Да мне стыдно с ним гулять. И потом, мать у него в нашей школе простая училка.

— И что?

— Социальное неравенство — вот что. Я его даже домой не могу привести. Что родители скажут?

Радика было жаль. Для этой прозрачной бабочки он готов был променять математику на театр, театр — на что угодно...

— Прости, что я затеял этот разговор, — тихо сказал Ипполит Акимч. — Ни к чему!

— Это уж точно.

— Может, все же вернешься в студию?

— Дудки!

— Куда после школы, деточка? — он переменял тему.

— Я-то не пропаду! — она подмигнула ему.

Замена для крепостной девушки оказалась плохой. Радик пришел еще на одну репетицию и тоже исчез, не сказав «до свиданья». Ничего в нем, выходит, не было актерского, кроме подрагивающих губ. Пришлось отменять спектакль, на который дворец культуры уже распространил пригласительные билеты. Студия развалилась. Директор дворца, в прошлом известная стахановка и профсоюзная лидерша, списанная по старости, заявила Ипполиту Акимычу, что он негодный организатор.

Но не тогда и не из-за того между ним и Радиком черная кошка пробежала. Это произошло чуть позже.

4

Перед сном Ипполит Акимыч обсудил с покойной Верой уход Радика. Тень жены сказала:

— Видишь, я, как всегда, оказалась права, Поля: бесполезно было этого человека брать. Хорошо хоть, что он сам понял и не пришлось ему объяснять. Это было бы неприятно.

Он не стал ей напоминать, что раньше Вера говорила противоположное.

— Нет, — упрямо сказал он вдруг вслух сам себе, резким ударом коротенького кия загнав шар в лузу. — Надо было! Из человеческих соображений. И аз воздам.

Вера, будь она жива, пожала бы плечами и промолчала. Она всегда так делала. Несколькими днями позже он бы и сам эдак уже не сказал. А тогда, потеряв последний копеечный заработок, негодный организатор утешался тем, что он не такой уж плохой педагог. Ну, не привилась любовь к святому искусству. Зато прав, наверно, Экзюпери: важно само по себе человеческое общение. Сцена научила их чувствам, облагородила души. Это не пропадет.

Он лег спать, почитал немного, опустил книгу на тумбочку, погасил свет, начал медленно уходить в сон. И вдруг почувствовал, что он в комнате не один. Может, кошка с соседнего балкона перебралась да в форточку прыгнула? Он ее иногда колбасной кожуркой прикармливал. Ан нет, одежда шуршала возле двери.

— Кто тут? — с недоумением спросил он.

Этот кто-то хмыкнул, но не отвечал. Пришлось зажечь свет и сразу зажмуриться. Не от лампы, от зрелища: женщина юная и вполне обна-

женная застыла в двух шагах от дивана, словно статуя из какого-нибудь Лувра, в котором Ипполит Акимыч сроду не бывал. Уперев пальчик в зеленое бильярдное поле, она сложила губы трубочкой, словно готовясь к поцелую. Вот так кошка!

— Ма... Мальвина? — прошептал он испуганно. — Как вы сюда попали?

— Через дверь, — она удивленно пожала плечом, груди у нее качнулись и снова замерли.

— Чего же вы хотите?

— Вас.

— В каком же смысле, позвольте спросить?

— В прямом.

— Да ты что, деточка. Одевайся сейчас же! И ступай домой.

Она сделала шаг вперед, и теперь ее колени были совсем рядом с его лицом. Она наклонилась, улыбаясь озорно и самоуверенно. Сильные духи смешались с водкой, — не поймешь, чем пахло сильнее.

— Уйду, но только после...

— Чего?

— Того! Или я вам не нравлюсь как женщина?

— Несовершеннолетняя! — возмутился он. — Меня опять посадят — этого добиваешься? Ты ж ребенок!

— Сами вы ребенок, — она ласково склонилась над ним. — Мне почти семнадцать. Если будете сопротивляться, я закричу, тогда вам же хуже.

В чувстве юмора ей отказать было нельзя. Но ему было не до юмора.

— Нехорошо без любви, — защищался он. — Как это без...

— Я вас очень люблю, — усмехнулась она прямо-таки по-матерински и коснулась соском его губ. — Вот так. Много разговариваете и без толку.

Мальвина по-хозяйски откинула край одеяла.

— Боже ж мой! — прохрипел он, стыдливо прикрывая свое срамное место.

— Хватай ее решительней! Ты — француз, аристократ, она — крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать. Смотри!

Скопировав его интонацию, она набросилась на него, не как ребенок, но как хищная львица на загнанного оленя. Он стонал — она посмеивалась, и тень ее, спроецированная стоящей возле дивана лампой, качалась на потолке.

— Странное у тебя имя, — чуть позже она опять превратилась в бабочку, сложила крылья и поцеловала Ипполита Акимыча в щеку. — Никак не сократишь.

— Жена меня Полей звала.

— Так ведь Поля — женское, — она захохотала.

— И что?

— Ничего! Мне домой пора: родители станут орать. У тебя хоть на такси найдется?

Мальвина похватила свою одежду, разбросанную по всему бильярдному полю, и исчезла на кухне. Вернувшись одетой, закурила сигарету и, выпустив дымовую завесу, спросила:

— Ну как? Понравилось? Да, чтоб не забыть. Я в Щукинское театральное училище поступаю, мне рекомендация нужна.

— От меня?

— Не, вы никому неизвестный, — в одежде она опять перешла на «вы». — От какого-нибудь знаменитого, который может взять за горло председателя приемной комиссии. Вы с ними со всеми вась-вась. Найдите подходящего, ладушки?

И она растворилась за дверью так же молниеносно, как появилась.

По инерции Ипполит Акимыч хотел было тут же посоветоваться с покойницей Верой насчет происшедшего. Но сообразил, что это несколько бестактно, хотя она его наверняка не только бы простила, но и поощрила. Засыпая, он думал, что в постели Мальвина гораздо талантливее, чем на сцене. Что ж? И гетерам, и гейшам тоже необходим профессионализм, включая гетеру советикус. Этот талант иногда совпадает с профессией актрисы и помогает продвигаться. Жаль, что лучшие роли таких актрис зрителю чаще всего не видны. Странные водевили разыгрывает, однако, жизнь. Разве что без куплетов. Такое не сочинишь.

Хмыкая, размышлял Ипполит Акимыч на эту тему все последующие дни, разглядывая Мальвину на трех премьерных фотографиях, которые он вывесил над кухонным столом. Друзья его позабыли, да и вряд ли он с ними поделился бы.

Он заваривал крепкий зеленый чай, настраивался на «Голос Америки» и по привычке отвлекался новостями. Но если честно сказать, он все время ждал, что Мальвина вот-вот звякнет и спросит насчет своего поручения. Он уже разыскал Попова, и тот по старой дружбе обещал звякнуть и попросить кого надо. Мальвина не звонила.

Конечно, она пустая, но, в сущности, добрая, щедрая. Я поступил нехорошо, безвольно. Дак не мог же я отказаться и ее обидеть! Она ребенок, но — женщина. Можно оскорбить на всю жизнь. Она меня действительно в тот момент любила. И ее поступок, если разобраться, — это забота обо мне, желание напомнить, что я еще не развалина. Предпочла меня наивному мальчику, и это тоже ей плюс. По мужчине судят об уровне женщины. Я ее недооценивал. Ведь человек, способный на заботу о другом, — личность. Вера насчет красоты была не совсем права.

Он не заметил, что постепенно стал думать о Мальвине более серьезно. Нормальной юности у него не было, жизнь прошла наперекосяк. Но вдруг сейчас получится что-то наверстать? Может, это мне награда за прошлые лишения, за обделение радостью?

Взяв у приятеля взаймы две сотни, он купил в ювелирном магазине колечко с симпатичным камушком. Кольцо лежало, дарить его было некому. Он забеспокоился: не звонит, не случилось ли чего? Поколебавшись и выждав еще несколько дней, он решился и вечером, когда от одиночества скреблось на сердце, набрал ее номер. К телефону подошла бабушка.

— Нету ее! — раздраженно ответила она. — Почему я знаю, когда будет. Все спрашивают, она не говорит.

Не в тот вечер, но после нескольких попыток он Мальвину застал. Заговорив, сразу засмутился.

— Приветик! — легко ответила она ему, как сверстнику, жуя что-то и облизываясь. — Нормальненько... У-у, сегодня я занята. Завтра? Завтра позвали в Дом актера. Не-а... Нет... Как-нибудь... Откуда мне знать, когда. Когда-нибудь увидимся, ладушки?

— Приходи, — с трудом попросил он. — Когда сможешь. Дверь открыта.

— Это я знаю. Пока!

Звонок, как и следовало ожидать, ничего не изменил. Про народного артиста, которого он просил за нее похлопотать, даже не спросила. Может, сама уже нашла покровителя? Свободного места для меня в ней нет, это очевидно. Он сыграл роль подкидного дурака и уволен. Но тут же придумалось и спасительное утешение. Ради баловства, случайно оказавшись рядом, она вполне может открыть дверь, чтобы похвастать тем, чем Бог ее наградил.

В бильярд играть Ипполит Акимыч расхотел. Не находил покоя, слоняясь по комнате и кухне. Глядел на фотографии — и Мальвина казалась ему совершенством. Гадал только о том, придет она сегодня или нет. Поскольку сегодня она не пришла, то, может, заглянет завтра? Ясно, что она ему не только не пара — вообще не то существо, на котором можно себя сосредоточить. Но сколько ни осуждал он себя, его только больше к ней тянуло. Семя нереализованной, загубленной в вечной мерзлоте молодости неожиданно пробудилось в новой почве и искало выхода. Возраст перечеркнулся, время затуманилось. Пенсионер-подросток (так он себя теперь именовал) потерял путеводную нить, за которую цеплялся, бредя по жизненному лабиринту.

Кошмары стали его одолевать. Он метался от покойницы Веры, которая постоянно оставалась с ним, к живой, но также отсутствовавшей Мальвине, и обратно.

Дабы успокоиться и убедить себя, что нынешняя жизнь не так уж

плоха, он возвращался мыслями в лагерь. Туда, где у него украли жизнь. И вот парадокс. Тяжко было голодному по утрам месить грязь в худых мокрых ботинках, подвязанных веревками, под ругань озверевших охранников и лай откормленных собак. Но по вечерам дрова шипели и разгорались в печи, ирреальная жизнь происходила на теплой сцене, спасительная радость творчества заглушала унижения и тоску. Говорят, не настоящее искусство существовало в лагере, игра в театр. А где оно, настоящее? Там страх заставлял хорошо играть. Там, несмотря на все ужасы бесчеловечного бытия, в каморке за занавеской он, расконвоированный, был счастлив с Верой. Там у него была надежда. Тут жизнь лишилась стремлений, он превратился в затворного, никому неинтересного облезлого кота, которому раз в кои веки досталось полакомиться чужой симпатичной кошкой.

Напряжением остатков воли Мальвина изымалась им из сознания целиком и категорически. Но бабочка влетала по ночам в незапертую дверь, меняя образы, и делала с ним, что ей заблагорассудится, как опытная женщина с мальчиком. Он кричал, метался, вскакивал, пил корвалол. Он перестал спать. Начал по ночам играть в бильярд, да вскоре пришлось прекратить. Соседи явились с жалобой, что их будят удары.

Он понимал, что Мальвина не придет, но запретить себе ее ждать не было воли. Чтобы избавиться от видений и беззащитности, оставался один выход: оградить себя колючей проволокой и поставить охрану. Ипполит Акимыч решил приобрести новый замок. Купив его, договорился в домоуправлении с плотником, что завтра тот придет и врежет. Цена стандартная: стакан бормотухи до и стакан после плюс еще на две бутылки. Ипполит Акимыч сходил за угол, отстоял с районными алкашами в очереди и купил водки.

Все повторяется на свете, но иногда декорации обновляются.

Поздно вечером не читалось, и он, отшвырнув газету, погасил свет. Начал медленно и сосредоточенно считать про себя, чтобы заснуть, когда ухо уловило, что дверь шаркнула. Сердце у него заколотилось. Он догадался или, может, уловил запах или едва слышный смех. Затаил дыхание, предвкушая нечаянную радость.

— Не спите? — спросила она, хохотнув.

— Пришла? Наконец-то, умница...

— Хотела звякнуть из автомата, но вы же все равно дома.

— Конечно, я дома!

Он не спешил зажигать свет, уверенный, что все будет сразу, как в прошлый раз.

— Где тут выключатель?

— Хочешь есть, пить?

— Не, я из кабака. А вообще, можно. Заготовлено?

— Непременно! Сыр, вино... Есть и водка, если хочешь...

В темноте он надел халат, завязал пояс. Глядя в ее сторону, чтобы увидеть захватывающее зрелище, которого так долго ждал, он включил свет. Мальвина была в кожаной куртке, джинсах и сапогах — эдакая мотоциклистка из рекламного импортного журнала.

— Секундочку, — вспомнив, загадочно произнес он.

Торжественно извлек из серванта колечко в коробочке и протянул ей.

— Мне? — она удивленно выгнула губы. — Ну вы даете! За что?

— За обаяние молодости, — с пафосом произнес он.

Хихикнув, она, не открывая, спрятала коробок в карман.

— Вы уж извините, что я вас разбудила, — вежливые формулы звучали в ее устах странно. — Пардон!

— Что ты! Я так рад. Знал... То есть, хочу сказать, ждал, что придешь. Скучал.

— Я тоже, — она захохотала.

— Правда?

Он подошел к ней, положил руки на плечи.

— У меня к вам просьба, — взгляд ее скользнул по бильярдному полю. — В общем...

— Говори! Для тебя — все...

— Все не надо. Вы не можете смыться на час-полтора?..

— Как это — смыться?

— Не пугайтесь! Мне с человеком побыть надо. Ну по-го-во-рить! Ясно?

— Да, конечно...

Краска бросилась ему в лицо, и в глазах появились слезы от волнения. Она не обратила на это внимания.

— Вот и ладошки.

Он растерялся. Рассердился больше сам на себя за бесхарактерность, чем на нее. Она — бесстыдна. Сразу бы найтись, сказать: «Нет, конечно! Категорически нет!»

Но она уже выскочила в коридор, открыла дверь.

— Входи. Он сейчас отвалит.

Услышав о себе в третьем лице и еще не вняв до конца сути происходящего, Ипполит Акимыч обреченно сел на диван и ждал. В дверях, подталкиваемый в спину Мальвиной, показался Радик. Мальвина хихикнула.

— Вы что, будто незнакомы?

— Как же, встречались, — сказал Радик.

— Понимаете, звонит мне и звонит, — она захохотала. — Просто преследует. Надо же выяснить отношения. Какой самый лучший способ, чтоб мужчину отвадить? Ну? Правильно! Сыграть с ним в бильярд.

— Простите, — выговорил, наконец, Радик, глядя в пол. — Я не знал, к кому мы...

— Ничего страшного, понимаю, — засуетился Ипполит Акимыч. — Это жизнь, не водевиль. Вам надо сыграть в бильярд, а все бильярдные закрыты... Посидите на кухне, я сейчас...

Кряхтя, он надевал на себя все, что попадало под руку. Натянул свитер. Потом, задумавшись на секунду, понял, что гулять ему предстоит долго, и взял плащ, шляпу, зонт. Часы на серванте показывали второй час ночи.

— Я ушел, — крикнул он из коридора.

Мальвина появилась на пороге кухни.

— Как это все-таки запирается? — она кивнула на дверь.

— Никак, — сказал Ипполит Акимыч. — Замок сломан. А зачем?

— Ну мало ли... — она надула губы. — Вы бы починили замок, что ли.

— Конечно, само собой, — согласился он. — Ты, деточка, права. Уже купил новый. Завтра плотник врежет.

— Сигарет у вас нету?

Сигарет у него не водилось.

Часа через три, когда небо уже посветлело и звезды растаяли, Ипполит Акимыч, всласть нагулявшись по всем близлежащим улицам, решил вернуться. Дверь была приоткрыта, квартира пуста, бутылка вина тоже, водки осталось много.

Он налил себе полстакана, выпил залпом и долго сидел на кухне, тупо глядя на входную дверь.

Больше он своей Мельпомены не видел.

5

В метро стало совсем безлюдно. Почти все люстры погасили. Ипполит Акимыч тяжело поднялся со скамьи. Он еще таил обиду и вместе с тем чувствовал вину перед Радиком. Странно, что этой вины раньше не было. Соединившись, оба эти чувства теперь уничтожили друг друга. Ничего не осталось, пустота. Треугольник без ревности. Задержав руку поднявшегося за ним со скамьи Радика в своей, Ипполит Акимович поколебался: спросить или не спрашивать? Посмотрел Радика в глаза.

— Как поживает... Мальвина?

Радик отвел взгляд.

— Сперва один киношник обещал протолкнуть ее в театральное училище. Она поступала, но не прошла. Потом отец в спешке пристроил ее в «Интурист».

Выходит, народный артист Попов не помог: не смог или обманул.

— Почему в спешке-то?

— Чтобы по больничному получать. Она сразу ушла в декрет.

— Стало быть, замуж вышла?

— Не, так родила. Девочку.

И треугольника не осталось. Один острый угол.

— От кого? — чуть слышно выдавил Ипполит Акимыч.

— Сказала, как дева Мария, непорочно. Я ей звонил — все отвечала, что занята. Раз спросил: когда освободишься? Она ответила: «Никогда».

— Зовут как девочку-то?

— Полина. Я думал, вы слышали...

— Нет, — отрывисто сказал Ипполит Акимыч, и у него заколотилось сердце. — О Мальвине слышать не довелось.

Они разжали руки. Радик резко повернулся и побежал. Он не прихрамывал.

— Постой! — крикнул Ипполит Акимыч, еще раз изумившись. — А нога?

— Нога? — обернулся тот. — Мне операцию сделали. В Таллинне нашли хирурга — ногу удлинил. Теперь вам со мной не пришлось бы мучиться.

Радик на прощанье кивнул и шагнул в дверь остановившегося поезда.

«Астаррожна, дввери закррывающца! Слледушшая станция — «Динамма»».

— Полина, — пробормотал Ипполит Акимыч сам себе. — Значит, Поля...

Механически приподняв шляпу, он растерянно поглядел Радике вслед и побрел к выходу. Рука сама опустилась в карман и нащупала кусочек веревочки. Квартиру Ипполит Акимыч теперь всегда запирает и больше всего на свете боялся потерять ключ.

ТРИДЦАТОЕ
ФЕВРАЛЯ

*Совершенно недействительно
то, что случается с нами в дей-
ствительности.*

Оскар Уайльд.

1

В винном отделе, отгороженном стеной из ящиков с пустыми бутылками, дабы алкаши не омрачали взора более состоятельной и реже пьющей части населения, как всегда в конце рабочего дня, ползла змея из человеческих тел от самой двери.

— Крайний?

— Так точно!

Кравчук поморщился, но занял пост за аккуратным старичком, бережно прижимавшим к груди четыре пустых четвертинки. Змея волновалась: водка была на исходе, а дело двигалось медленно, или казалось, что медленно, потому что состояние у Кравчука весь день было озорное.

В отличие от большинства удачников, Альберт Кравчук мог праздновать день рождения только раз в четыре года, когда на календаре появлялось двадцать девятое февраля. В такой год он родился тридцать шесть лет назад, и с тех пор, стало быть, ждал день рождения в четыре раза дольше, чем прочие граждане.

Утром на работе он, естественно, никому не заикнулся о событии. Но расчетчица Камиля, которую все, упростив ее татарское имя, звали просто Миля, по неосознанному чувству заглянула в табличку, прилепленную у нее в столе на дне ящика. И точно: в графе «Наименование товара» значился Кравчук А.К., в графе «Сорт» — экономист, в графе «Срок поставки» — 29 февраля.

— Если спросят, я по месткомовским делам, — сказала она.

Как Камиля действовала, всем известно. Она вынула из сумочки кошелек и в качестве уполномоченной месткома по вопросу дней рождения и похорон побежала по комнатам отдела расчета оптимального резерва запчастей. Не только резерва,

но и самих запчастей не было, тем не менее премии начальство отдела получало исправно и даже держало переходящий вымпел победителей соцсоревнования в управлении, составляющем важную часть главка, входящего в министерство.

Премии премиями, однако собирать деньги уполномоченной было непросто. Склерцов, если сказать, что собираешь по рублю, сам вынет трояк. Шубин, зам его, будет долго скрести по карманам и попросит зайти позже. Думает, Камиля забудет, но не на такую напал.

— Вам каждый год, а ему раз в четыре, — прямо ляпнет она. — Так что не жмитесь!

Шубин — трус, спросит, сколько дал Склерцов, немедленно вспомнит, что где-то у него, кажется, залежалось, полезет в сейф и вытащит два рубля. Рядовая масса внесет по полтиннику. Куренцову, которую недавно муж бросил, Миля незаметно обойдет: у той двое детей. За командированных займет в кассе взаимопомощи, в следующий раз они отдадут вдвое больше — за старое.

Перед обедом Камиля сказала Альберту, что у нее сегодня разгрузочный день, очередь в буфет ей не занимать.

— Ты вроде бы в порядке, — оглядел ее Кравчук, будто не поняв хитрости.

Камиля поправила юбку.

— Мне двадцать три. С половиной. Мать расплнела в двадцать пять.

Вернулась Миля через час, молча положив перед Кравчуком сверток.

Теперь, пока змея поглощала алкоголь, Алик открыл портфель. В нем лежал этот сверток с тремя галстуками. Галстуки широкие, как еще недавно было модно, и к каждому платок. Этих галстуков Кравчуку хватит до гроба, тем более что он их не носит. Они душат. Надевал он галстук три раза в жизни: защищая диплом, в загс и на похороны отца.

С иронической улыбкой Камиля наблюдала примерку, которой она потребовала сразу после вручения подарка от имени и по поручению.

— Экономически ты нецелесообразно родился, — сказала она. — Даришь вчетверо больше, чем получаешь.

— Чего же мне — день зачатия отмечать?

— Детей находят в капусте, — объяснила она, хлопнув ресницами, которые подкрашивала перед Кравчуком два раза в день. — Слушай, правда, что у тебя жена еврейка?

— И что?

— Ничего! Я уверена, что из-за этого они тебя и не повышают.

— Много ты понимаешь! Вон у Молотова была жена еврейка...

— Так он же исправился: взял ее и посадил.

— У Косыгина тоже...

— Это точно неизвестно. Послушай, ты бы в партию вступил, перекрыл.

— Да я храплю сильно. На собрании не высижу.

— Ужас! Как можно любить храпящего мужчину? Кстати, с тебя причитается.

Нужно было, как положено, сгонять за бутылками и тортом. Все придут со своими стаканами, запрут дверь и вернут с лихвой расходы на подарки. Но у Алика денег только на одну бутылку сухого. Он пропустил намек Мили мимо ушей и коллективную поддачу за свой счет просто зажал.

До прилавка осталось всего ничего. Старичок выставил четыре пустых четвертинки и забрал одну полную. Он повертел пальцем головку, проверяя ее неприкосновенность, и сунул пузырек в карман. Продавщица стучала монетой по прилавку, торопя змею.

— «Гурджаани»! — выпалил Кравчук, став змеиной головой.

— Еще чего?

— Больше ничего.

— Еще, говорю, чего? Где я тебе возьму «Гурджаани»?

— Нету? Ведь было...

Кравчук видел в руках у выходящих — несли.

— Было да сплыло! Думай быстрее!

— Тогда это... «Алжирское», — Алик указал на ряд бутылок с одинаковыми красными этикетками.

Бутылка легла в портфель на галстуки. Кравчук выдрался из магазина и затопал к метро, но на углу остановился у объявлений. Обмен их комнаты в коммуналке на однокомнатную обсуждался давно. Хотя фантастических денег для неофициальной уплаты разницы не предвиделось, Евгения настойчиво искала варианты, и Алик посматривал на щиты.

Ему больше нравилось читать объявления, которые его не касались. Он их запоминал и цитировал. Камила смеялась:

— Боже, сколько у нас идиотов!

Евгения сердилась:

— Делать тебе нечего!

Она была практичной. Это в женщине большое достоинство и огромный недостаток.

Он проглядывал объявления, иногда читал.

«Ребенку требуется няня, говорящая на английском и французском. Жилищные условия имеются. Адрес: Тбилиси, проспект Руставели...»

Языков Кравчук не знает и няней к аристократу в Тбилиси не потащится.

«Киностудии «Мосфильм» требуются монокли, веера, трости, табакерки, фальшивые драгоценности девятнадцатого века».

Фальшивых драгоценностей у Кравчука тоже не было.

«Утеряны золотые часы «Заря» с браслетом — память о погибшем муже. Нашедшего прошу звонить для получения благодарности».

Часов Кравчук в последнее время не находил. Нашел бы — продал, чтобы раздать долги.

«Студия клоунады при Московском государственном цирке объявляет набор. Прием до первого марта».

Альберт хмыкнул, что-то теплое вспыхнуло в сознании. Он переложил портфель с тяжелой, как бомба, бутылкой «Алжирского» в другую руку, еще побродил глазами вдоль щита. Все меняющиеся почему-то предлагали худшее и хотели получить лучшее, а ему надо было, чтобы хотели наоборот. Попадись сейчас подходящее, Евгения воскликнет:

— Ох! Самый лучший подарок к твоему дню рождения!

Зря квартиры не разыгрывают в спортлото. Хотя и глупо играть с государством в азартные игры (мы все-таки экономисты и соображаем кое-что), но ради ничтожного шанса обзавестись отдельной квартирой Алик билетки бы покупал. Не соображает государство, как бабки делать...

Он уже стоял сжатым в метро и ехал на свою Преображенку. Надо было бы выйти на Дзержинской, заскочить в «Детский мир» и купить подарок Зойке, но он протолкается битый час и все равно ничего не купит: это не игрушки, а утиль.

Голод торопил домой. Но на пересадке у эскалатора был затор, как всегда в часы пик. Алик еще лет двадцать назад читал, что скоро в Москве будут монорельсовые дороги и воздушные такси. Он проглотил голодную слюну.

2

Ключ заело в скважине замка, который давно надо было заменить. Евгения выбежала в коридор.

— Режь хлеб, все готово!

Держа вымазанные руки на весу, она чмокнула его в щеку. Значит, помнит. И соседей дома нет. Их часто нет, блаженство. В коридор выкатилась колобком Зойка.

— Заяц, не подходи, я холодный. Новости в школе?

Зойка прыгала вокруг на одной ноге.

— Одна новость отличная и одна посредственная.

— За что посредственная?

— За устный счет. Нас по очереди директор проверял. Мама говорит, я замедленная, как ты!

— Я? В семье два экономиста, а дочь не умеет считать.

Алик протянул ей бутылку.

— Тяжелая, не урони.

По случаю отсутствия соседей они выпили и ели картошку на кухне. Картошку они ели всегда, только способ приготовления менялся. Потом Евгения отнесла Зойку спать. Альберт хотел налить еще.

— Ты меня споил. Я — в стельку! В прошлое рождение, — глаза у нее ехидно засветились, — тебе было тридцать два. А сейчас? Неужели тридцать шесть? Смотри, сколько стало седых волосков! Мне надоело их у тебя выдергивать.

Упрекая Альберта в старении, Евгения утешала себя. Хотя Плехановский они окончили в один год, ее день рождения был осенью, ближайšie полгода она могла считать себя моложе. С возрастом у нее становилось больше иронии. Она совершенствовалась в поиске черт старения у других, отвлекая внимание от себя.

— Тридцать шесть, — продолжала она. — В следующий раз будет сорок. Через раз — сорок четыре. Все чего-то добиваются, а мы?

Этим «мы» она деликатно смягчала укор. Но направление его было ясным.

— С чего ты взяла, что все?

— В газетах пишут.

— Верь больше!

Он решил, что лучшего времени ее обрадовать не будет.

— Кстати, завтра я кладу Склерцову заявление об уходе.

Евгения смотрела на него с недоверием.

— Шутка?

— Серьезно.

— Хаимов?! Неужели Хаимов не трепался тогда? Значит, сдержал обещание и берет? У него командировки заграничные... Что я говорила! Хаимов — деловой парниша. Чувство долга у него есть.

— Чувство долгов.

— Не смейся!

— Он же за тобой увивался.

— Чепуха! Ничего не было. Был только ты.

— Жалеешь?

— Перестань! Хаимов пойдет еще выше, пока не узнают, что его папа был Хаймович.

— Откуда ты знаешь?

— Привязался! Да он это всем евреям рассказывал.

— Что-то я не слышал...

— Русский, вот и не слышал. Сто восемьдесят-то они точно отвалят, может, и двести. Пылесос купим... Вы подумайте! То-то смотрю, ты такой возбужденный...

— Нет, я не к Хаимову.

— Не к Хаимову?! — глаза ее расширились.

— Мам! — крикнула Зойка из комнаты.

— Зой, спи немедленно! Я занята. Альберт, не терзай душу, куда?

— В студию клоунады.

— Что, теперь они будут заниматься нашей экономикой?

— Наша экономика и без них рухнет. Я учиться. На клоуна.

Она обошла вокруг стола, руку приставила к уху, отдавая честь, стукнула пятками.

— Я с тобой как верная подруга!

— Туда женщин не берут.

— Ты что, серьезно?

— Серьезно. Не берут.

— Я не о том: ты — серьезно? Там что, стипендия больше твоей нынешней зарплаты?

— Не спрашивал.

— Ах, не спрашивал! Тут платят сто пятьдесят. И с национальностью у тебя все в порядке. Дадут старшего...

— Потом-то зарплата — будь здоров, Жень! И гастроли за границей... Достань сигареты в портфеле! Понимаешь, я еще в детстве мечтал. Шанс раз в жизни рискнуть. Так ведь и умрем в трясине...

— Рискнуть? — донесся ее голос из коридора. — Это что?

Она вернулась с галстуками, разметавшимися у нее по рукам.

— Что?! — повторила она с отчаянием, тряхнув галстуками. — Твой реквизит или как там называется?! Это же наши! Хоть бы на польские разорились. Безвкусица такая, что держать противно!

Евгения швырнула галстуки на стул. В глазах ее стояли слезы.

— Ну, чего ты? — растерялся он. — Чего?

— Ты забыл, как стал ходить по вечерам играть в хоккей? Сколько денег вылетело на амуницию? А что говорил? Что чувствуешь силы войти в сборную. Полтора года я с Зойкой на руках помогала в нее войти. И результат?

— Ты же знаешь, у меня реакция — будь здоров. Для вратаря — незаменимое качество.

— Да тебя на матчи дальше трибуны не пустили!

— Еще немного — и пустили бы. Планы у меня изменились...

— Изменились! На балетную студию в этом дурацком Дворце культуры. «У меня все данные! Отсюда уходят в профессионалы». Не ты два года твердил?

— Я же не виноват, что бездарности в искусство пробиваются легче. Они нахальнее, им нечего терять. Зато знают, что приобретут.

— Ты у нас талант!

— Они сами говорили, что у меня гибкость.

— С твоим ростом? Тоже мне Лиепа!

— Слушай, Евгения, клоунада, я понял, абсолютно серьезно. Не подыхать же мне за полторы сотни в этой шараге с подонком Шубиным? Гори они синим пламенем, запчасти, которых все равно нету, одна лиепа.

— А мне опять жить одной и на тебя не рассчитывать? После еще что-нибудь, и снова абсолютно серьезно? Это называется мужчина, кормилец семьи... Оглянись! Вон Софа — у нее муж диссертацию хоть защитил.

— Вымучил за девять лет.

— Ликуты, тоже наш институт. Какой у них прогресс — не нам чета.

— У них же дядя в Госплане, знаешь ведь.

Она встала посреди кухни и, задрвав халат на бедре, показала рваные колготки.

— Тебе плевать, что мужчины о твоей жене думают.

— Им туда заглядывать не надо.

— Это и так видно. Между прочим, эти колготки мне Софа отдала, свои, старые...

— Евгения, я хочу в искусство. Там обеспечат. Надо только терпение.

— Иди куда хочешь!

— Не веришь?

— С меня хватит! Устала жить с ничтожеством.

— Я ничтожество?! Да вокруг погляди. Я хоть не пью...

— А ты пей. Пей, пой, играй, танцуй!.. Мы с Зоей переезжаем к маме.

Она поставила стул к антресолям, решительно сняла пустой чемодан и унесла в комнату. Потом вернулась, швырнула ему старое ватное одеяло, и дверь их комнаты захлопнулась за ней на английский замок.

А Камиля жила б с этим ничтожеством и была бы счастлива.

Кравчук рассеянно бродил по кухне. День рождения будет неполным, если не попить чаю. Он заварил покрепче, высыпав остатки заварки, взял с подоконника соседский транзистор и, пользуясь отсутствием хозяев, стал крутить. Кроме треска глушилок, которые все знакомые называли чека-джазом, ничего слышно не было. Забывали все, что можно, даже, кажется, свою собственную дребедень.

Авось соседи не появятся сегодня, и кухня в его распоряжении. Альберт достал с тех же антреселей раскладушку и раздвинул ее между газовой плитой и кухонным столом. Положив на нее рваное одеяло, он, не раздеваясь, забрался под него. Зачем простыни, когда без них проще? Это была его последняя в тот вечер значительная мысль.

3

Окно кухни выходило на восток. Бок никелированного чайника ослепил, и Альберт открыл глаза. Солнце заливало всю кухню. Вчера была зима, а сегодня появилась уверенность, что дальше всегда будет весна.

Никто его не разбудил. Соседи — золото, цены им нет — не приехали. Евгения с Зойкой ушли. Даже если бы уже построили монорельсовую дорогу, на службу Алик все равно опоздал. Он сладко потянулся на скрипучей раскладушке, жмурясь от солнца. Потом поднялся, вынул из холодильника яйцо, ударил по нему ножом и вылил в рот сырым. Положил на язык кусок сахара и стал сосать из чайника холодную вчерашнюю заварку.

Позавтракав таким образом, он остановил первую попавшуюся казенную легковую машину, которая довезла его до работы («Как же ты можешь? Ведь это почти кило яблок для ребенка!» — говорит Евгения). А он опять смог.

— Ой, как же теперь?! — испугалась Камиля. — Заходил Шубин, я сказала, что ты у смежников и будешь после обеда. Учти, он мог позвонить туда, проверить.

— Я плевал на Шубина вместе с его занудством, Милька! — слегка приподнявшись на носках, произнес Кравчук. — Я видел в гробу Склерцова в белых тапочках. Поддай-ка мне чистый лист.

Она поднесла ему на ладонях лист бумаги, а когда он хотел взять, спрятала за спину.

— Сперва скажи зачем, тогда получишь.

Невольно он обнял ее, и губы соприкоснулись. Камиля очень любила такие игры.

— Заявление напишу, — сказал он. — Увольняюсь.

В мгновение она стала серьезной и старалась понять, не шутка ли это.

— Увольняешься? Совсем?! Вот это да!.. Тебе всегда везет. А мне — никогда. Я расплачиваюсь за татаро-монгольское иго.

Присев на край стула, он нарисовал размашистым почерком слово «Заявление» и приписал: «Прошу по собственному желанию». Алик со смаком вывел «собственному» и широко расписался, прочертив элегантный зигзаг, состоящий в основном из двух больших букв — А и К.

В глазах Камили светилась нежность, страх разлуки и еще нечто — наверное, преклонение перед смелостью Кравчука. Он подмигнул и вышел вразвалочку.

Возле склерцовой секретарши Кравчук потряс листком, давая ей понять, что дело важное. В кабинете возле Склерцова склонились

двое из исследовательского сектора. Улыбаясь, Кравчук постучал по локтю коллеги, чтобы тот заткнулся и отодвинулся. Альберт молча и с достоинством протянул руку начальнику. Тот удивился, но привстал и руку пожал.

— Ну что, Склерцов? — развязно спросил Альберт. — Все жуешь те же нормативы? Вот так темп! Смелей! Давно пора утвердить!

Склерцов удивленно поднял брови.

— Ты это что, Кравчук?

— Чего трусить? В газетах пишут: руководитель должен быть смелым. А ты?

— Шутишь или что? По-моему, неуместно. Время-то какое рискованное, сам понимаешь!

Альберт не ответил, положил листок.

— Подпиши, меня время поджимает.

Начальник нехотя скосил глаза, а прочитав, вскочил и нервно заходил по кабинету, натываясь то на телевизор, то на столик с телефонами.

— То есть как? Нет, товарищи, вы только подумайте, какая неприятность у нас в коллективе: Кравчук собирается уйти...

— Не собирается — уже уходит, — уточнил Альберт.

Склерцов оглядел двоих из исследовательского сектора, словно впервые увидел.

— Идите, я позже вас вызову.

Он подошел к столику с телефонами.

— Василий Иванович, сколько у нас получает Кравчук?

Кравчук вдруг подумал, что бухгалтеров и начальников отделов кадров всегда зовут Василиями Ивановичами. Внуки они все Чапаева, что ли?

— Не помню точно, — замялся Василий Иванович, — сейчас взгляну.

— Что ты за кадровик, если не помнишь?

— Вот, пожалуйста, Кравчук. Сто пятьдесят.

— Вакантное что есть? Ну из придержки...

— Понял. Э... если по сусекам поскрести, найдем должностенку рублей э... на сто шестьдесят.

— Больше. Спусти очки со лба-то!

— Да они у меня и так уже на носу. Вот. Сто восемьдесят. Но это...

— Сам знаю, что это. Готовь приказ на Кравчука. И собирайся в министерство, попросим утвердить. Коньяк захвати в сейфе, который тебе из Еревана поднесли.

— Будет сде...

Склерцов отключил его и соединился с секретаршей.

— Элеонора, где шофер?

— Пошел в буфет чайку попить.

— Сбегай, я еду в министерство. Возьми в кадрах приказ на Кравчука, перепечатай и на подпись.

— Зря вся суета, — заметил Кравчук, с улыбкой наблюдая за действиями Склерцова.

— Нет не зря, Альберт Константинович. Если по большому счету, мы перед тобой виноваты. Я лично самокритично признаю. Сколько лет ты у нас?

— Одиннадцать.

— Точно, одиннадцать. Я пришел — ты уже год работал. Анкета у тебя в порядке, человек ты непьющий, в отрасли нашей разбираешься, и вот упустили рост из виду. Ты уж извини.

— Да чего там! — Альберт брыкнул ногой. — Только я все равно ухожу. Меняю профиль.

— Профиль? — заскучал Склерцов. — В каком же разрезе, если не секрет?

— Не секрет, но в стадии решения, — многозначительно произнес Альберт, подняв глаза к потолку.

— Улавливаю, — Склерцов посмотрел туда же. — Так если что, ты нас, Альберт Константинович, не забывай. Мы ведь жили душа в душу...

Камиля не работала, ждала его.

— Алик, куда? Я ведь умею быть немей рыбы, знаешь.

— Учиться...

— В аспирантуру?

— Вроде... В студию клоунады.

— Цирк?! Не, серьезно?

— Разве я тебя когда обманывал?

— Еще обманешь. Кобели все одинаковые. Значит, не хочешь довериться. А я думала...

— Клянусь, в цирк! Кло-у-ном...

Раскосые глаза Камили округлились и застыли.

— Значит, гениальность. Способности в любом возрасте просыпаются. Я на это уже двадцать три года надеюсь. С половиной.

— Считаешь, правильно?

— Еще бы! Чего тут тратить жизнь, рассчитывая запчасти, которых все равно нету и не будет. Там искусство... С Никулиным будешь пить пиво.

— Почему — пиво?

— Потому что я люблю пиво.

— Мне пора, — сказал Альберт.

— А я?

Миля подошла к нему вплотную, так, что он почувствовал исходящую от нее готовность к контакту.

— Знаешь, — поспешно зашептала она, оглядываясь на дверь, — ты

был прав. Ведь это даже удобно, что ты женат. Это я, дура, в обед боюсь: вдруг кто начнет ломиться. А сейчас... Хочешь, поцелую?

— В другой раз, — галантно ответил женщине джентльмен Кравчук.

Эту часть жизни он уже прожил. В другой части будет что-нибудь более эффектное.

Камиля вытерла слезы и вытащила кошелек. Перед ней стояла важная общественная задача: обойти отдел и собрать деньги на подарок по случаю ухода экономиста А.К.Кравчука.

Тем временем Альберт выскочил на улицу, остановил такси, сел на заднее сиденье и велел шоферу гнать к старому цирку на Цветном. Вынул из кармана сверток и разложил на сиденье галстуки. Выбрал из них самый яркий, обмотал вокруг шеи, завязал двумя узлами. Галстучные узлы он завязывать не умел, но так будет смешнее.

С цирковой афиши на него смотрел красноносый весельчак в больших ботинках: «Весь вечер на манеже Альберто Кравчук». Это Алик в уме заменил имя на Альберто. Звучало заманчиво.

Его сразу пропустили, просили пройти к директору цирка. Альберт открыл дверь и снял старую ушанку из полысевшего кролика.

— Здравствуйте! — громко изрек Кравчук, будто он вышел на арену.

Не подымая головы, пожилой человек, сидевший в старинном кресле за огромным столом, протянул палец вперед.

— К сожалению, — сказал он и ткнул пальцем в стену.

На стене висело объявление о приеме в студию клоунады, точно такое, какое Альберт прочитал накануне на щите. Объявление было перечеркнуто крест-накрест синим фломастером и внизу размашисто написано: «Прием окончен».

— Простите, — Альберт помял шапку. — Может, вам требуются экономисты?

Директор цирка склонил голову набок.

— Кто-кто?

— Я говорю, экономисты не нужны?

— Хм... Смешно!

— Я серьезно.

— Это еще смешней. Чем вы занимаетесь?

— Запчастями.

— И можете их достать?

— Вам нужны?

— Мне? — старик оглядел себя. — У меня почти все функционирует. Что вы умеете? Жонглировать? Баланс на канате? Фокусы работаете?

— Все это могу, но в экономической области...

— Хи-хи... Так я и думал.

Директор встал, оглядел Альберта и вдруг закричал:

— Поднимите портфель! Пройдитесь! Блестяще! Типичный выход экономиста.

— Мне обещали старшего, — сказал Кравчук.

— Еще лучше: выход старшего экономиста.

Альберт шел к зеркалу и увеличивался в размерах. Он непринужденно улыбался. Черная оправа на бледном лице. Волосы, уложенные в пробор. Взгляд в светлое будущее.

— Bravo, bravo! — захолопал в ладоши старик. — Шапку наденьте.

— Да она старая. Из кошки, наверно...

— Вижу, что не пыжик! Значит, старший экономист, да? Хи-хи!

— Чего смешного? — рассердился Альберт. — Без экономики, между прочим, жрать было бы нечего.

— А с экономикой, ха-ха?

Директор весь затрясся в смехе и снял телефонную трубку.

— Эй там, беру еще одного. Новый тип, представляете: выходит шталмейстер: «На манеже старший экономист...» Как вас величать?

— Альберто.

— Вы что, итальянец?

— Русский я...

— Тогда лучше Альберт, ладно? А полностью?

— Кравчук Альберт Константинович.

— Во! Слышали? Ага... Выходит Альберт Константинович и шутит в экономическом плане. Кого посадят? Всех? Я что — первый день в цирке? Подберем что-нибудь понейтральнее. Фамилию записал? — Старик ласково положил трубку. — Такие дела, дорогой. Завтра на занятия. Танцы, шманцы, девочки в трико. Единственная просьба — поменьше слушать чепуху, которую вам будут преподавать. Сохраните себя для манежа таким, какой вы есть. Быть клоуном дано не всякому. Это, возможно, самая почетная должность на земле. Привет семье!

Пройдясь по бульвару, Кравчук остановился у автомата и позвонил Евгении.

— Приезжай быстрее! Я у памятника Пушкину.

— Неужели взяли? С ума сойти. Как же мне отпроситься?

— Соври. И не забудь занять двадцатку!

К Пушкинской он двинулся пешком. Евгения уже высматривала его близорукими глазами, но очки не надевала. Она по-деловому обняла его, взяла под руку, и они пересекли площадь к ресторану ВТО. Швейцар открыл дверь и поклонился.

— Звонили, звонили из цирка, — сказал он. — Столик заказан. Прощу!

Обед был, как в лучших домах Лондона. Филиппов с Кадочниковым жарили наискосок.

— Надо привыкнуть, что у меня муж — известный артист, — сказала Евгения, когда они в такси мчали домой. — Куплю веник выметать поклонниц. Хоть бы на афишах тебя изображали менее красивым, чем ты есть.

— Я распоряжусь, — кивнул Альберт.

Когда они входили в комнату, теща надевала сапоги. Она приволокла Зою с продленки, уложила спать и теперь собиралась уйти.

— Наконец-то приперлись! — воскликнула она. — Ребенок сам по себе, родителям дела нет.

— Заяц! — разбудила ее Евгения. — Потрясающая новость: наш папка — клоун!

Зойка вскочила с постели в ночной рубашке до пяток и бросилась Альберту на шею.

— Живой? И на работу не надо, каждый день в цирк будешь ходить? Мне с тобой можно? Вместо продленки? Там буду уроки делать.

— По воскресеньям, ладно?

— Можно я Аню и Лизу позову?

— Все с ума спятили, — сказал теща. — Все! Хоть бы мне сдохнуть скорей и этого безобразия не видеть. Завтра приеду, как всегда.

Они легли. Евгения шепотом, боясь разбудить спящую рядом Зою, мечтала о том, как изменится их жизнь. Все осуществилось, ну просто все, если не считать монорельсовой дороги. Да черт с ней! В кооператив вотремся: две изолированных комнаты, кухня и никаких соседей! Машину купим. Обняв его обеими руками, прижавшись всем телом и засопев, она вдруг почувствовала, что любит его, как раньше, и, отлюбив, облегченно заснула, усталая от счастья. К этому моменту Кравчук и сам уже храпел. Так закончилось у Кравчука тридцатое февраля.

4

Утром первого марта он проснулся оттого, что у него замерзли ноги. Одеяло сползло с узкой раскладушки на пол. Хотя окно кухни действительно смотрело на восток, никакого солнца не маячило. Таяло, небо было затянуто беспросветными облаками. Но и в ясный день солнце на кухню не попало бы: его загораживала двенадцатизатаянная коробка, которую крикливая бригада строителей уже не первый год подводила под крышу.

Кравчук согрел чайник. Вообще он выпил бы холодного чая, чтобы не возиться. Но Евгения говорила, что холодный чай утром пить вредно. Он накрошил в сковородку хлеба и вылил яйцо. Ты не тенор, говорила Евгения, яйца можешь жарить, не ленись.

На работу он ехал в метро. Воняло грязными носками, и давили бесцеремонно, но зато метро было самым красивым в мире. На службу Кравчук почти не опоздал. Он бегом взобрался по лестнице, чтобы не ждать лифта, кивнул людям из соседнего сектора, курившим в коридоре, и сел за стол, сделав вид, что уже давно пришел. Он отодвигал папки с материалами, ждавшими расчетов, когда вбежала раскрасневшаяся Камила.

— Ой, господи, чуть не опоздала! Шубин попался, ужас, какой злой.

Она причесалась, подвела ресницы и, выдвинув ящик стола, стала читать.

— Камила, почему никогда не работаешь? Из-за тебя запчастей не хватает.

— И хорошо! — она кокетливо сощурилась. — Их и не должно хватать, иначе мы зачем? Так что не мешай, я дочитаю «Королеву Марго». Тебе Шубин велел зайти с отчетом к Склерцову.

— Слушай, мне бы надо смотаться часа на полтора.

— Сходи к начальству, после смоешься.

Разыскав в ящике стола папку, Кравчук отправился в кабинет Склерцова.

В коридоре возле стенгазеты, которую писали, но не читали, и щита с приказами о наказаниях, которые никого не огорчали, двое курили, делая вид, что изучают прошлогодний план обязательных занятий сети партийного просвещения.

— Все суетишься? — остановил Альберта коллега. — Горишь на работе... Между прочим, вопрос на засыпку: как в России всегда называлось учреждение? Присутствием. Гениально: все присутствуют, никто не работает. А ты? Вид такой деловой. Расти хочешь, что ли?

К начальнику секретарша не пустила, велела ждать. Кравчук тербил в руках папку, украдкой поглядывая на часы. Наконец раздался звонок, разрешающий войти.

Склерцов что-то писал и, не поднимая головы, знаком указал на стул. Он кончил писать, перечитал, переговорил по телефону, глядя сквозь Кравчука, потом закурил.

— Ты, Кравчук? — сказал он, глядя в окно на крышу соседнего дома. — Вроде не первый год у нас, не мальчик.

— Чего случилось?

— И премию тебе давали... Почему медлишь? Может, не справляешься?

— Почему не справляюсь?

— Так какого же лешего ты не подобьешь бабки? Из-за тебя не сообщаем главку объяснение причин перерасхода сальников и прогноз увеличения их выпуска.

— Реальных причин?

— Что за детский вопрос! К черту реальные! Надо, чтобы цифры сошлись, и все. Мне шкуру спускают, а ему хоть бы хны! Альберт... как тебя по батюшке?

— Константиныч.

— Так скажи ты мне, Константиныч, мать твою за ногу! В чем дело?

Кравчук молчал. Он мог бы сказать, что поставщики дают сальники девяностопроцентного брака, что потребители запрашивают втрое больше, чем надо, и это утекает налево. Но Склерцов и сам все знает. Не Кравчук в этом виноват.

— Ладно! — смилостивился Склерцов. — Сегодня должно быть готово. Иначе приму административные меры, так и знай.

— Я могу идти? — исполнительно промямлил Альберт, чувствуя облегчение, и уже двинулся к двери.

— Иди! Хотя постой-ка! Неси сюда всю документацию, садись вон за тот стол и не вставай, пока не будет готово.

Вот влип-то! Кравчук тихо выполз из кабинета. Раз в жизни представилась возможность взять судьбу за рога, так тут Склерцову припичило.

— Чего он хочет? — спросила Камиля, подняв раскосые глаза от Дюма, лежащего в приоткрытом ящике стола. — Ты бы ему сказал, что вчера был день рождения. Имеет же советский человек право, чтобы ему хоть раз в год настроение не портили? Верней, раз в четыре. Алик, чего тебе жена подарила?

— Отстань!

— Чавой-то сегодня ты такой нервный с утра? С женой поссорился?

У Камили нюх на эти дела. Евгения ничего не подарила. У них уже несколько лет договоренность ничего друг другу не дарить. Толкового подарка все равно не достать, и денег никогда нет. Но объяснять это Миле долго, да она по своим двадцати трем незамужним годам и не поймет.

С папками, как с подносом, Кравчук пнул ногой дверь и с мрачным лицом отправился в кабинет начальника. Сел в углу за просторный стол для заседаний и, обхватив голову ладонями, попытался сосредоточиться. Он старался не слушать разговоров и звонков, не обращать внимания на входивших. Успеть бы только подать документы в студию клоунады. Сегодня ведь последний день. Там, небось, сто человек на место, а то и больше. Но — вдруг! И тогда на цирковую премьеру он широким жестом пригласит Склерцова, на которого сейчас смотреть противно, вместе с его секретаршей. Лучше Камиля соберет деньги и организует культпоход на Кравчука. Все пойдут, особенно если в рабочее время.

Альберт потряс головой, чтобы отрешиться от посторонних мыслей. Дел в таблицах, в сущности, немного: данные по расходу сальников усреднить и вывести по принятым формулам липовый прогноз, который сейчас ждут от Склерцова. Потом никто в министерстве не вспомнит.

Склерцов уехал на совещание (после совещаний от него пахло спиртным, сытным обедом и дорогими духами), и в кабинете стало тихо. Даже болтовня секретарши за двумя дверями прекратилась. Альберт вышел в туалет. Вернувшись и открыв дверь склерцовского кабинета, увидел, что за столом Склерцова сидит со значительным видом Шубин и роется у него в столе.

— Гуляешь? — Шубин старался скрыть смущение. — Закругляйся быстрее.

— Ладно...

Шубин вышел. Альберт, бурча про себя ругательства, уселся доделывать работу. За окном стемнело, когда Кравчук, не зажигая света, тихо положил на середину склерцовского стола этот чертов отчет, дважды подчеркнув цифры, которые требуются министерству. Он схватил в охапку папки.

— Разделался? — спросила Камиля. — Я книжку окончила, нечего читать.

Альберт швырнул папки себе на стол и стал надевать пальто. После такой напряженной работы за весь отдел пусть кто-нибудь упрекнет его, что он срывается раньше. Возле Мили он задержался.

— Поцелуй меня. В губы.

— За что?

— За день рождения.

— У! Он был вчера.

— Ну тогда для удачи...

— Нет уж! Мужиков баловать — только портить. Вон Перитонитова из отдела комплектации правильно делает: не вымыл муж посуду — и ее не получит...

— Тоже мне Руссо.

— Ну сам подумай: какой мне смысл тебя сейчас целовать? Да еще в губы. Это неперспективно. Порядочная девушка должна целовать того, кто хотя бы обещает...

— Чего?

— Жениться или в крайнем случае время проводить. А ты — ни то ни се.

Она помахала ему, побольше выдвинула ящик, вытащила вязание и принялась за дело.

Альберт старался незаметно прошмыгнуть по коридору, и ему это удалось. До цирка он добрался троллейбусом. У циркового подъезда

было темно и пусто. Альберт двинулся вокруг искать служебный вход. Возле Центрального рынка толпился народ, в основном восточный. В цирке пахло лошадиным навозом.

- Пропуск! — строго прохрипел вахтер.
- Мне... Где тут в студию клоунады принимают?
- В отделе кадров. Но все равно пропуск!

На заказывание пропуска ушло полчаса. Под лампочкой висела доска объявлений с ободранными краями. Кравчук пробежал глазами извещение о занятиях сети политпросвещения для работников манежа, приказы о перемещениях в должности, договор о соцсоревновании, в котором артисты брали повышенные сообразительности делать то, что они и так делали.

«Пятилетний план подготовки новых номеров», — читал далее Альберт.

«Актера такого-то за выход на манеж в нетрезвом виде лишит то-то и объявит ему то-то».

«За курение в ненадлежащем месте согласно рапорту пожарной охраны такому-то сделать то-то».

Список задолжников членских взносов в местком завершал композицию.

Кравчук сморщился, как от зубной боли. Вдохновение увяло, отделилось от его неумного тела и унеслось в неизвестном направлении, как душа от покойника. Уйти. Сразу, не ступая на вытертую поколениями циркачей дорожку. Опять малодушие! всю жизнь идет оно за Кравчуком, как тень, но, в отличие от тени, то и дело норовит загородить дорогу, оттолкнуть, затоптать, приравнять его, человека с дарованиями, к средней массе.

Поднимаясь по лестнице, Альберт чувствовал одышку. Может, он постарел? Нет, главное — не дрейфить. В темном коридоре он остановился и, чтобы успокоиться, стал считать: вдох-выдох. Собрав остаток воли, Кравчук приоткрыл дверь с надписью «Отдел кадров» и, сняв шапку, заглянул.

За старомодным столом между двух сейфов сидел пожилой лысый человек в очках и читал газету «Советский спорт».

- Извините, я по объявлению насчет клоунады... не опоздал?

Инспектор отдела кадров отложил газету, снял очки и осмотрел Альберта.

- Анкету заполнил?
- Нет еще.
- Кто тебя, собственно, рекомендовал?
- Сам я...
- Где в нашей системе работал?
- Видите ли...

— Если «видите ли», то нечего и с анкетой возиться, бумага — дефицит. Образование?

— Экономист.

— Высшее, значит. Возраст?

— Тридцать пять, — сказал Альберт.

Он не соврал, вырвалось на год меньше.

— Ууу!.. Чего ж тебя учить три года? Чтобы проводить на пенсию?

— Ну, тогда извините.

Кравчук кивнул как-то нелепо, молча попятился. Черт его дернул заходить, ведь решил же смыться еще в коридоре.

Тут опять запахло конюшней. Сморщенная женщина задела его мокрой тряпкой, намотанной на палку, и назидательно проговорила вслед:

— Смотреть вперед надо, когда идешь.

На улице фонари едва пробивались сквозь сырую темноту. Альберт двигался, как рыба в аквариуме, не понимая зачем и куда.

— Эх, мать свою поберег бы!

Что-то твердое уперлось ему в бок, и стало очень больно. Тормоза у самосвала взвизгнули, засипели. Шофер соскочил с подножки, оставив дверцу открытой. Он вытащил Кравчука из-под колеса, ощупал его. Обнаружив, что тот цел, только зад и рукав пальто в грязи, шофер поднес кулачище к носу Альберта.

— Давил бы таких, как тараканов.

Шофер еще выматерился, вскарабкался на подножку, остервенело захлопнул дверцу и газанул, обдав Кравчука брызгами мокрого снега и гарью из огромной выхлопной трубы.

Чтобы очухаться, Альберт постоял на краю тротуара, облокотясь о фонарный столб. Отдышался немного, ощущая легкий озноб от сырого воздуха. Хороший человек этот шоферюга, ласковый. Мог бы сплющить — Кравчук и пикнуть бы не успел, не то что сказать последнее слово. С клоунадой не вышло, зато живой. Хорошо, что не наоборот.

Остальной путь Альберт проделывал, сосредоточенно глядя налево, направо и даже вперед.

Он долго вставлял ключ в прорезь замка. Евгения приходит раньше, слышит эту возню и сама бежит открывать: «Режь хлеб, все готово!..»

Никто ему не открыл. В коридоре было темно, у соседей тихо. Не раздеваясь, следя по полу своими туристическими ботинками на рифленой подошве, в которую забился снег, Альберт прошел в комнату и зажег свет. На диване валялись Евгеньины кофточки, которые она давно не носила, на полу — мятые газеты. На столе — гора невымытой, задохшей посуды.

Он сгреб со стола в ладонь хлебные крошки, отправил их в рот и обнаружил записку, прижатую пустой сахарницей. Запотевшие очки, протертые пальцами, приблизились к листку:

«Я ушла. Больше откладывать не могу. Зою забрала мама. Посуду мой сам!»

Не снимая ботинок, он прилег на диванчик, закрыл глаза.

Вообще-то следовало ожидать, что это рано или поздно произойдет. Давно шло к этому. Теперь он будет жить один и следить мокрыми рифлеными подошвами, где хочет. Посуду он вообще выкинет, в кухню из комнаты будет ходить по канату. Завтра приведет после работы Камиллю. Потом любовницы станут приходить вечером, и он будет проверять, умеют ли они что-нибудь делать на канате. На канате этого еще никто не пробовал. Можно сказать, открытие в сексологии.

Сколько он пролежал в темноте, Бог знает. В дверь звонили. Открыла соседка, не известно откуда объявившаяся после долгого отсутствия.

— Ты оглох? Возьми сумку, еле донесла. И чемодан возьми.

Евгения сняла вязаную шапочку и отряхнула ее от снега. У нее были ключи, но она хотела, чтобы Альберт ей открыл.

— В химчистке очередь жуткая. А все равно самообслуживание дешевле. Целый чемодан перечистила. Посуду вымыл? Так и знала!.. Неужели жрать не хочешь? Что у тебя с пальто? Надо было вчера упасть, сегодня бы заодно вычистила...

Кравчук понес на кухню грязную посуду. Думал: спросит Евгения про студию клоунады или нет? Она болтала без умолку про Зою, которую мать забрала к себе на ночь, про свою сослуживицу Татьяну, которой упорно не везет: никак не может забеременеть. И Валентине не везет — опять беременна. Потом пошли рассказы про новые объявления об обменах, но для нас ничего подходящего: все варианты с доплатой между строк. Евгения спросила даже насчет перерасхода сальников. А про клоунаду — ни-ни.

И все-таки Кравчук пришел к выводу, что она его любит. Он вспомнил недавно прочитанную статью. Социолог утверждал, что самые прочные семьи те, что находятся на грани развода. Так что, ссорясь, Евгения инстинктивно укрепляла их брак.

— Жень, — сказал он, — знаешь, о чем я думал?

— Знаю. Чтобы скорей поджарились купаты.

— Это само собой... Ты Бронштейна помнишь? Ну, из вычислительного. Он сейчас зачистил на ипподром.

— Верхом учится? Принцесса Анна покоя не дает? Так она замужем.

— Он сам женат, не в этом дело!

— А в чем? — Евгения смотрела на него с опаской, словно ожидала подлянки.

— Езда — мура, Жень! Он же программист, знаешь, какой сильный! Так он сейчас статистику начал собирать по скачкам, хотя в статистике он ни бум-бум. Зовет меня присоединиться.

— Зачем? — глаза ее похолодели, сощурились, и в них промелькнуло нечто, доказывающее, что подозрение подтверждается.

— Как это — зачем! Представляешь? Лошади в мыле, жокеи орут, тысячи людей психуют, ставки растут, тотализатор распирает от денег, а у нас все заранее в кармане. Мы-то составили программу и рассчитали на кампутере, какая лошадь выиграет.

Он сказал «кампутер», как стало модно говорить. Она продолжала смотреть на него в упор.

— Ты, случаем, в Испанию не хочешь?

— Зачем мне в Испанию? — удивился он.

— Не догадываешься? Попытать счастья в корриде. Еще можно в Америку. Там коню привязывают одно место, и он скачет от боли, как безумный, и кто дольше усидит, получает большие деньги. Это в Техасе, я недавно читала.

— Брось, Жень, я же серьезно!

— Кампутер-то где?

— Кампутер у нас на работе паутиной зарос. Можно вечером оставаться и работать. Валюта за него государством все-таки плачена, чего ему ржать? Вечерами по-тихому сработаем. Завтра сорвемся с работы пораньше, и на ипподром...

Он подождал, что она ответит. Но Евгения молчала, склонившись над сковородкой с дымящейся картошкой, которая начала подгорать.

— Это серьезно, Жень, — сказал Альберт и, чувствуя, что она его не хочет понять, прибавил: — Теперь — серьезно!

Вошла соседка, прислонилась к дверному косяку.

— Кухню скоро освободите? — спросила она. — Никак посуду не вымою из-за вас.

Без злобы сказала, даже улыбнулась. Но диалог сам собой увял.

Евгения смотрела на мужа растерянно, словно колебалась: закричать или тихо заплакать? Но поскольку и то и другое было бесполезно, она сосредоточенно нащупала на плите ручку, резким движением выключила под сковородкой газ и принялась перемешивать пригоревшую картошку.

ВТОРАЯ
ЖЕНА
ПУШКИНА

1

Засуетились в пятницу около полудня. Лекции накануне кончились, впереди экзамены — время для немедленного загула в этом узком промежутке идеальное. В поисках повода для тусовки кто-то из друзей просек, что у Тодда Данки сегодня день рождения. Мерзавец пытается утаить данный факт от общественности. Плевали мы на его стеснительность!

Тут же скинулись, у кого сколько было. Двое отправились за едой и питьем в ближайший супермаркет. Набили там пакетами полный багажник и заднее сиденье, а когда прикатили обратно, парни стали готовить и раскладывать все по цветным бумажным тарелкам на столах в гостиной и во дворе. На портике установили бочонок пива и ящик с бумажными стаканами. Пробку вытащили, вернули помпу. Она славно крикала, выдавая пенистую хмельную жидкость.

Снимали они впятером трехспальный дом с просторной общей гостиной и двумя ванными на улице Монро, от университетского кампуса в двадцати минутах езды на велосипеде. Хозяин за домом не присматривал: он уехал из Калифорнии на другой конец Америки, в штат Мейн, и требовал только регулярно платить. Дом не запирался. В гостиной иногда спали посторонние, кому негде было переночевать, — это никого не волновало. Пожара, который легко могли устроить лоботрясы, владелец не боялся, поскольку старый дом был застрахован.

У четырех из пяти постоянных жильцов наличествовали постоянные подружки. Дом на улице Монро я хорошо знаю, потому что мой сын — один из четверых. Пара, которой не хватило отдельной спальни, свила гнездо в мансарде, под крышей. Значит, всего населения в доме номер 440 по улице Монро было девять персон. Именинник Тодд Данки жил один в гараже.

Тодд был на шесть лет старше, уже сдал пятьдесят два экзамена и кончал аспирантуру, но по всем прочим параметрам

оставался студентом. Гараж свой он сделал довольно уютным: при-тащил с помойки соседнего отеля продавленную кушетку, на которой спал, укрываясь теплым шотландским пледом. В пледе на случай холодной ночи было вырезано две щели: для глаз и для одной руки, чтобы держать книжку и гасить свет. Еще у него было кресло с остатками позолоты, выброшенное из очень богатого дома и сменившее бесчисленное количество хозяев, а с университетской свалки Тодд приволок списанную книжную полку. Кроме двери на улицу, имевшейся в бывших воротах, он пропилил прямоугольную дыру в стене, и, таким образом, мог, как змея, пролезать из гаража в гостиную, не выходя наружу.

Весть о том, что на улице Монро будет *party*, в мгновение ока распространилась через *e-mail* по всему кампусу Станфордского университета. Те, кто собирался отправиться на побережье с аквалангами или кататься верхом, срочно меняли планы, ибо Тихий океан в обозримом будущем никуда не денется, а тусовка сегодня. Публика, знакомая и случайная, на велосипедах, машинах, мотоциклах, роликовых коньках и просто пёхом повалила на улицу Монро. Состоятельные прихватывали с собой закуски, коробку коки или бутылку вина, безденежные рассчитывали поужинать на халяву. Запарковать машину удавалось не ближе, чем в двух кварталах. Некто прикатил на электрической инвалидной коляске, одолженной у соседа, и первым делом потребовал провод, чтобы подключить ее заряжаться для обратной дороги.

В тот чудный июньский вечер даже непьющие оказались под градусом, или, точнее сказать, под процентом, ибо в градусах алкоголь в Америке не меряют. Впрочем, кто-то разъяснил ситуацию:

— Надо спешить выпить как можно больше! Внутри кампусов алкоголь уже давно запретили. Теперь ходят слухи, что алкоголь запретят для студентов вообще, как курево запретили для врачей. Врач закурил, и его лишают права практиковать, что правильно. Студент выпил — так что же? Вот как: с бутылкой пива будут фотографировать и гнать из университета. Пора начинать борьбу с тоталитаризмом!

Оратора высмеяли, но как сложатся обстоятельства, никто не ведал. Свободная страна Америка, стало быть, в ней свобода и для запретов тоже. Но это значит также, что все еще остается, между прочим, и свобода возможностей. Забыл сказать, что город Пало-Алто, где назревала гульба, — самый дорогой в Силиконовой долине. На плохонькую квартиру в старом доме здесь угрохаешь сумму, на которую в других местах Америки купишь дворец. Тут, в компьютерной калифорнийской Мекке, выворачивают мозги наизнанку ради поиска невероятных идей, питающих прогресс электронных технологий во всем подлунном мире и дальше, аж до черных дыр во Вселенной. Здесь как нигде спешат жить, ибо свеженький компьютер, купленный вами, становится старым, как только вы затворили за собой дверь магазина.

Мальчики с соображалкой, которым еще и повезло, выскочив из университета, богатеют быстро. Но пашут по несколько лет без сна и отдыха, следовательно, и без личной жизни. Душ они принимают на работе, а то и остаются в офисах ночевать. Из-за этого в компьютерных фирмах Силиконовой долины явный перебор одиноких тридцатилетних мужчин, которые могут купить самолет, но не имеют лишней ложки. Они мечтают о семье, однако женщинам нет к ним доступа: флирт на службе нынче чреват серьезными неприятностями, досуга у этих невольных холостяков нет. Может, потому четверо студентов в доме на улице Монро обзавелись подружками заранее и спешили нагуляться впрок.

Пятый, Тодд, в отличие от своих соседей и многочисленных друзей-компьютерщиков, был гуманитарием. Лишняя ложка у него была, но стать обеспеченным ему не светило. Молодых людей с диссертациями по литературе и искусству пруд пруди, соответствующие университетские кафедры маленькие, давно и прочно укомплектованы. Надежды юношей и в Калифорнии питают, но приходится идти за стойку в банк, жарить мясо в «Макдоналдсе» или развозить по домам пиццу. Неохота об этом думать в день рождения, ибо, пока ты студент, жизнь прекрасна. Как говорили прабабушки нынешнего поколения, I'm in the pink — я в розовеньком, читай: все отлично. Раз, еще в бытность мою в Москве, я гордо употребил эту штучку в разговоре с американским журналистом; он начал хохотать, ибо с тридцатых годов так никто не выражается. Я подцепил I'm in the pink в советском учебнике «Современный английский», выпущенном в семидесятые.

Часть собравшейся толпы узнала, кто из присутствующих именинник, когда тусовка уже раскалилась до определенной температуры, и Тодда Данки, в строгом соответствии с принятой тут академической традицией, начали чествовать. Его привязали во дворе к сосне, и каждый получил право выразить ему свою любовь по случаю тридцатилетия.

Поначалу Тодда просто кормили и поили от души, поскольку собственные его руки держала сосна. Потом начали расписываться кетчупом, кремом и мороженым на его рубашке и джинсах. Затем пошла витаминизация именинника: на голову и за шиворот ему выдавливали сок из помидоров, апельсинов, грейпфрутов и лимонов. Лапшу на уши вешали и итальянские длинные макароны. Поливали пивом, чтобы лучше рос, сделали погоны из эклеров. Кончилось тем, что перевернули ему на голову несъеденный торт, и шоколадная лава медленно поползла по лицу и ниже. Записки с едкими пожеланиями под гогот зачитывались вслух и приклеивались к Тодду горчицей или соусом терьяки. Вскоре он стал похож на круглую тумбу, где вешают объявления. По подбородку сползали остатки салата, на бровях висели розовые взбитые сливки. Теперь понятно, что Данки был в самом прямом смысле in

the pink. В переносном — и вообще вся эта компания, they all were in the pink.

Вокруг именинника, привязанного к сосне, начались танцы. Потом водили хоровод. Наконец девочки решили прекратить это надругательство. Одна из них размотала шланг для мойки автомобилей и начала обмывать Тодда сильной струей воды.

Покурлесив до четырех утра, толпа стала также весело разъезжаться. Кому далеко и кто боялся садиться после поддачи за руль, устраивались на половиках в гостиной или, раздобыв одеяло и пачку старых газет, находили местечко на траве под деревьями. Трое ухитрились укатить на одной инвалидной коляске, которая к тому времени хорошо подзарядилась. Дом долго продолжал гудеть, как улей, в который вернулись пчелы. В темноте слышались сопение, обрывки фраз, пение и стоны любви. Наверняка соседи звонили в полицию, и не раз, просить, чтобы утихомирили этих скоморохов.

Я и сам, было дело, звонил в полицию, когда по соседству шла студенческая гульба, а мне утром предстояла лекция. Пойти и попросить не галдеть нельзя: это вторжение в чужую личную жизнь. Полицейские тоже только стучат в дверь и вежливо просят сбавить децибелы. Но они все-таки представители закона и после десяти вечера имеют на это право. Так вот, я как-то позвонил, в полиции дежурная ответила:

— Сейчас передам в патрульную машину. Постараемся помочь, но конец семестра, сами знаете. Ваша жалоба номер сто тридцать девять, а на весь город патруль один.

Они действительно приехали, но к тому времени все исчерпалось само собой.

Короче говоря, гульбе на улице Монро никто не помешал. И завершилось все по своей естественной усталости. Тодд, которому пришлось принять горячий душ с шампунем, чтобы стереть с себя масло, кремы, сливки, отделить свои волосы от чужого шоколада да еще смыть липучий соус терьяки, долго лежал в своем гараже, тупо глядя в потолок, и слушал разные звуки, доносившиеся из комнат его друзей. Он, как уже было сказано, единственный спал без подружки.

Аспиранта Данки все любили. Мужик он открытый и улыбчивый, белобрысый, с рыжей, даже когда не вымазана в красном кетчупе, бородкой, ростом чуть выше среднего и неплохо сложенный. Любил плавать и даже изредка гонял на океан, натягивал гидрокостюм, когда вода холодная, и занимался серфингом. У него было одно уязвимое звено: все в компании уже перебивали boy-friend'ами по несколько раз, сходились и расходились легко, болезненно или по случайности, а он, по всеобщему подозрению, в свои с сегодняшнего дня тридцать оставался непорочным. Впрочем, похоже, что страдали от девственности Тодда больше его приятели, чем он сам.

Под него пытались, причем не раз, подложить какую-нибудь охочую до этого занятия студентку. Тодд сперва вез ее на горное озеро Тахо (или она его везла) — пять часов коленка к коленке; гулял вдоль берега, любясь бездонной голубизной воды, просаживал с ней десятков долларов в казино для развлечения, без азарта. Вел в ресторан обедать (согласие женщины, особенно молодой, на ресторан в американской транскрипции часто означает, хотя она, несомненно, сама уплатит за себя, что она готова к дальнейшим отношениям). Но потом, вместо того чтобы просто, как делают все, снять номер в первом попавшемся мотеле по принципу «куй железо, пока горячо», Тодд предлагал взять напрокат четырехколесный велосипед, чтобы покататься по заповеднику или отправлялся с ней в кино, и ночью пять часов ехали обратно в Пало-Алто. Он завозил ее домой (или она его). Там у нее или тут, возле его гаража, после выжидательной паузы она целовала его в щеку и исчезала.

Приятели начали подозревать его в некоторой голубизне (прославленная Калифорния все-таки), но этим и не пахло. Женщины ему нравились и он им, однако как-то не так Тодд к ним подступался. Смутился что ли, или говорил не то, не вовремя, или слишком много, или в нужный момент руки его парализовывала дьявольская сила? Казалось бы, чего проще в наш суперэмансипированный век? Но в каждый отдельно взятый раз у него недополучалось, и это превратилось в комплекс.

Притом у Данки был один секрет, о котором он никому не говорил: раз он уже был женат, но неудачно. Почему Тодд держал свой брак в тайне, вопрос особый, дойдем и до него. Факт остается фактом: он скрыл это от друзей, ибо признаваться казалось ему как-то стыдно.

В субботу утром, после загульной ночи, все слонялись по дому на улице Монро сонные, как овцы в жару. Надо было бы опохмелиться, но этот жанр в Америке еще не развит. В конце концов, когда проспавшиеся гости разъехались, хозяева, кто в халатах, кто в купальниках, кто в шортах, постепенно собрались за столом на кухне для принятия кофе. Доедали вчерашние остатки, сунутые наспех в холодильник, разбросанные в гостиной и по двору. Когда Тодд влез змеей через отверстие из гаража, все вдруг замолчали. Он не обратил на это внимания, открыл стиральную машину и стал бросать в нее свою одежду, в засохших пятнах от крема, соков и шоколада, налил из банки мыла. А они переглядывались так, будто вчера недошутили и готовили ему еще сюрприз.

Налив себе кофе, ухватив со стола корочку сыра и не особенно вникая в разговор, Тодд нажал кнопку, и старая стиральная машина заурчала, недовольная тем, что белье такое грязное.

— Слушай, Данки, — крутя свою длинную косу, обратился к Тодду Брайан, когда Тодд подсел к столу. — Мы тут вроде как обмозговываем некий весьма заманчивый проектец... В общем, подарочек для тебя.

Брайан приехал учиться в Станфорд из Южной Африки, только что

получил магистерскую степень по компьютерным наукам и уже оседлал место в маленькой компании в Сан-Хосе. Все у них в Претории были умельцами по части шуток и розыгрышей или он был частным экземпляром, не знаю, но занятие это увлекало его больше учения и службы.

— Ну и как вам мозгуется с похмелья? — уточнил Тодд, развалившись в своем скрипучем кресле.

Кружку с кофе он поставил на пол.

— С похмелья, да, с трудом, но мозгуется по спирали. Идем на поиск десятого члена нашего коллектива. Ты как — за?

— Да у нас и так тесно, — пробурчал Тодд, сразу ухватив намек, и стал намазывать на хлеб арахисовое масло.

— Сэр не понимает, — Брайан переглянулся со своей курносой подружкой Лесли. — Это нам тесно, а тебе свободно. Мы даем объявление в сеть Интернета, что ищем молодую леди определенных кондиций, каковые мы сейчас с тобой обсудим. Тебе, старик, в принципе какие больше нравятся: большие или маленькие, толстые или худые? Сформулируй, уж мы...

Тодд отмахнулся.

— Опять вы мне навязываете бабу. Я же решил сперва dokonать диссертацию.

Компания загалдела, возмутившись.

— Обижает! — Брайан надул губы. — Слишком ты серьезен, старина, и это твоя беда. Где игра живого и любознательного ума? Сделаем так, чтобы получить как можно больше объявлений. Может, тебе чего-нибудь да подойдет, а нет — глядишь, нам. Нам-то тоже обновляться пора, правда, девочки?

Девочкам показалось это пошловатым, но возмущаться было нелепо, и они захихикали.

— Шучу, — подмигнул своей Лесли Брайан. — Многоженство в Америке пока запрещено.

— И охота тебе тратить время, — ворчал Тодд.

— Главное, охота подурачиться. Жизнь без игры напоминает конвейер по производству зубных щеток, которым управляют роботы.

— Если подурачиться, то валяйте. Я-то тут при чем?

— Ты нам составь свои требования. Только и всего.

— Зачем же ломать голову? — Тодд открыл воскресное приложение к газете «Сан-Франциско кроникл». — Тут все формулировки и размеры. «Свободно сердце настоящего мужчины...». Или: «Спортивный и жизнерадостный хочет познакомиться с обаятельной...». Годится? Или вот: «Ищу подругу, с которой можно...».

— Что можно? — все загоготали.

— Какой размер бюста желаете? — уточнил Брайан. — Большой, средний, маленький?

— Ну, допустим, чем больше, тем лучше...

— О'кей! Так и укажем... И писать кандидатки со всего мира будут тебе. Мы-то все пока что заняты, а ты свободен, как птица. Я смотрел филиппинский брачный журнал: там обычно дается рост и размеры бедер, талии и груди. Но это скучно. Что бы добавить духовного? Предложить кандидаткам сделать чего-нибудь эдакое? Думай, Сократ, думай! Ты у нас один кандидат в философы...

— Пускай сочинят стихи и пришлют, — предложил Тодд.

Предложил потому, что сам баловался стишатами, хотя мало кому их показывал: стихами мир нынче не удивишь.

— А что, идея! В качестве экзамена: достойны ли они полюбить нашего интеллектуала Тоддика? Пусть пройдут тестирование.

— К тому же поэтессы у нас тут не хватает, не так ли? — оживилась Лесли. — Ну и добавь в текст: «Желает познакомиться для устойчивых отношений». Это всегда привлекает.

— Лучше написать, — Брайан гнул свое, — «для неустойчивых отношений»...

— Нет, надо чем-то привлекать, — Лесли погладила Тодда, словно причала к этой мысли. — И чтобы это выглядело солидной, допиши «... и возможной женитьбы».

— Вы что, серьезно? Катитесь вы к дьяволу! — взорвался Данки. — Никакой женитьбы не надо! Сыт по горло. Ничего хорошего, одни неприятности.

— Вот как?! Ты об этом никогда не заикался...

— Не говорил потому, что мечтаю забыть.

Если человек не раскрывает карт, не пытаться же его. Тодд не допил кофе, в сердцах вскочил, вытащил из машины белье, бросил в сушилку и потащил свое когда-то золоченое кресло через двор к себе в гараж.

Когда Данки ушел, Брайан, помолчав, сказал:

— Шикарная идея, но он против. Почему, собственно, мы должны его слушаться? Свободная страна... Пошлем без его согласия, и пускай разбирается... Ему какие больше нравятся? Давайте напишем: «блондинка».

Брайан вытащил из сумки lap-top, маленький компьютер, с которым не расставался, подсоединился к телефону и запустил объявление во всемирную сеть.

2

В городе Санкт-Петербурге, в Музее-квартире Пушкина на Мойке, дом 12, поставили компьютер. Зачем поставили, никто не понимал. Пушкину он вроде бы ни к чему, кассирше тем более: у нее

были прекрасные вечные счеты — костяшки на проволочках. Но как было не взять компьютер, если спонсоры себе купили новый, а старый широким жестом поднесли музею?

Экскурсовод Тамара оказалась в этой области самая продвинутая. Антон, муж ее, служил программистом в морском пароходстве. Тамара принесла игры, и теперь, отдыхая между экскурсиями, когда директор на горизонте не виднелся, сражалась с компьютером в карты. Возмущение исходило от Дианы Моргалкиной: играть в квартире, где Пушкин умер, кощунственно.

— Что тут такого? — возражала Тамара. — Пушкин карты любил и нам завещал.

— Бездельничать тут стыдно! — ворчала Диана.

— Какая зарплата, такая и работа, — отвечали ей.

Впрочем, до компьютерной эры Моргалкина возмущалась, когда тут рассказывали анекдоты. Не любили Диану, но терпели, ибо экскурсовод она прирожденный и с охотой работала за себя и за других.

Моргалкина была существом со странностями, но вовсе не плохим. Не большая, но и не маленькая, не юная, но не старая, худая, но неплохо сложена. Лицо правильное, без заметных дефектов, только неухоженное. Кожа без крема, волосы без прически, ресницы без краски. Зубы все свои; могли бы быть белее и ровнее, впрочем, тут вина не ее, а неразвитой отечественной стоматологии. Слабина Дианы состояла в другом. При такой профессии она была не очень — или, точнее — очень не общительна. Внешняя холодность, отчужденность от окружающих этих самых окружающих от нее отпугивала.

Ни с кем она не делилась бабскими секретами. Никто ни разу не был у нее дома. Никому она не делала вреда, даже плохо ни о ком не говорила, но негибкая, не способная адаптироваться, как другие, к непрерывно меняющейся житейской ситуации, она всегда оставалась в проигрыше. Моргалкина окончила филфак, потому что любила книжки читать, говорила, что хочет стать журналисткой, но ни одной статьи в жизни написать так и не собрала, уверяя себя, что вся ее энергия уходит в устное слово. Она состояла при Пушкине, была у него на содержании; он ее не только кормил, как ни мизерна была ее зарплата, но стал опорой, — в нем одном сосредоточился смысл ее существования. Дома день за днем вела она дневник. Только с этой тетрадкой и была откровенна. И через эту тетрадку откровенна с Пушкиным.

Восемь лет назад у Моргалкиной созрел роман с известным в узких кругах пушкинистом Конвойским. Но скоро она поняла: любил он не ее и даже не Пушкина, а только свои сочинения о нем, и ни о чем другом не говорил. Он ходил по комнате и громко читал ей свои научные компиляции. Их интимные отношения были странными, без существа интимности, в котором Конвойский почему-то не нуждался. Своей

скользкостью и занудством он отвратил ее от других мужчин. И когда он Диану оставил, обожание ее еще больше сосредоточилось на Пушкине. Бестелесность этой преданности тоже несколько смущала, но преимущества были неоспоримы. Пушкин, в отличие от Конвойского, любил ее преданно и, что важно, всегда в зависимости от ее настроения, а никак не его, Пушкина.

В отличие от коллег Диана смотрела на все серьезно. Хотя работали они в одном учреждении, называемом Музеем Пушкина, они служили государству, она Пушкину. Они за деньги — она, хотя получала такой же, как Пушкин говаривал, «паек невольника», трудилась от души. Они, побыстрее закончив экскурсию, норовили подольше посидеть в тесной комнатке, попивая зеленый чай из пиалок, привезенных кем-то из Самарканда. Они трепались о чем угодно, только не о работе, в обед спешили смыться на Невский и пошляться по магазинам (не купить — на то заработок слишком мал, — только поглазеть). Моргалкина даже домой в обед не ходила, хотя жила неподалеку, на Миллионной. Договаривая последние слова в кабинете поэта, она плакала, потому что поэт в конце экскурсии умирал. И, проводя восемь идентичных экскурсий в день, восемь раз плакала в конце.

Родителей у Дианы давно не стало, брат, у которого имелась своя семья, поехал за границу на заработки. Никто на службе, кроме Тамары, с Моргалкиной не сблизился, да и Тамара была не подруга. Так, одно название. Но она единственная относилась к Диане по-божески, с теплом и беззлобным юмором. Тоже не такая уж устроенная, но все же с непьющим мужем, дочкой-школьницей и без собственных комплексов, Тамара еще пребывала неумемной жизнелюбкой. Ей про все хотелось узнать, везде побывать, надо всем посмеяться.

— Поглядите, девки, вокруг, — говорила Тамара. — Если все серьезно воспринимать, лучше сразу повеситься.

Байками и сплетнями она обеспечивала треть Питера и всегда знала, кто из артистов и писателей кого бросил и с кем живет.

Муж научил Тамару гулять по Интернету, но и там ее любопытство не могло насытиться. Она не раз наталкивалась на брачные объявления. Естественно, у нее возникали соображения насчет одинокой Дианы. Пару раз Тамара ей предлагала:

— Давай, Моргалкина, ответим чего-нибудь кому-нибудь. Вдруг кто клюнет? Спятишь ведь без мужика...

Но Диана и слушать не хотела, не то что втянуться в игру.

Как-то раз, когда погода была несносная и количество экскурсий к вечеру резко ubyло, а домой начальство раньше бы не отпустило, Тамара играла с мышкой, гуляя из одного интернетовского сайта в другой. Вдруг, прочитав объявление, хмыкнула и решила поддразнить Диану. Бесенок в ней сидел, в Тамаре, и водил ее рукой. Бесенок накатал

кокетливый ответ на предложение познакомиться, сообщив данные, соответствующие требованиям и даже превосходящие их. Там требовалось еще сочинить стихотворение. Бес вильнул хвостом, почесал темечко между рогов и приписал стихи.

Все сообщают о себе только хорошее, и мало кто эту тягомотину читает, подсказал Тамаре бесенок. Подпиши письмо: «Лицемерная Диана». Может, того мужчину хотя бы заинтересует, почему лицемерная, и он спросит. Поскольку Тамара все делала несерьезно, то последствия ее не волновали. Нажав клавишу, она отправила письмо, выключила компьютер, и бесенок, сидевший на мониторе, захлопал в ладоши.

3.

В Пало-Алто, на улице Монро, подписавшийся именем Тодда Данки студент Брайан, получил шестьдесят два предложения познакомиться с кандидатками со всех континентов. Все они прислали стихи собственного сочинения и письма разной степени романтизированнойности. Часть писем была взята из справочников, издающихся для этого в странах, где наличествует перебор невест.

Когда Брайан бросил на стол Тодду отпечатанную принтером пачку писем, Тодд возмутился. Но все подшучивали, и драматизировать проделку было глупо. Данки опять притащил из гаража в гостиную свое аристократическое кресло, уселся в него и вместе с друзьями стал изучать полученные тексты, по ходу дела ставя плюсы и минусы возле размеров бюстов и прочих достопримечательностей, указанных в письмах.

Большую часть стихов, написанных по-японски, по-китайски, на хинди и еще на каком-то, вообще неизвестном языке, никто читать не стал, хотя среди студентов нетрудно было найти любых толмачей. Одно стихотворение заинтересовало Тодда и было прочитано только потому, что текст оказался русский, русский же был для Данки будущей профессией. Стихи без названия описывали, по-видимому, некую гипотетическую сексуальную ситуацию.

Она подходит, он лежит
И в сладострастной неге дремлет;
Покров его с одра скользит,
И жаркий пух чело объемлет.
В молчаньи дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,

Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим;
И вот она, на ложе хана
Коленом опершись одним,
Вздыхнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливец прерывает
Лобзаньем страстным и немым...

Русский у Тодда был хорошим, но не настолько, чтобы понять нюансы, старомодность этого стиля и ощутить подвох. Он как мог перевел стихи приятелям. Слова «одр» и «чело» отыскал в словаре, «ложе» и «лобзание» объяснил приятелям из контекста. Друзья загалдели.

— В твоём паршивом гараже, — прокомментировал Брайан, — она к тебе лицо склоняет и осуществляется... что? Лоб-за-ни-е. Да какое! Страстное и немое. Представляешь? Идеальная женщина: с одной стороны, страстная, с другой — немая... И размеры подходят!

Стихи Тодд показал на кафедре своему научному руководителю профессору Иосифу Верстакиану, русского происхождения с армянскими корнями. Тот поглядел и усмехнулся:

— Хорошие, даже замечательные стихи. Знаете, кто автор?

— Конечно, — кивнул Тодд, — одна моя знакомая.

— Одаренная у вас знакомая! — сказал Верстакиан. — Прямо-таки талантливая фантазерка. Ведь это стихи Пушкина.

Данки изумился и не поверил. Он потащился в библиотеку и полдня перелистывал том за томом собрание сочинений Пушкина. Профессор Верстакиан оказался прав. Тодд истолковал плагиат по-своему. Значит, у корреспондентки есть чувство юмора, раз так шутит. Это уже кое-что. Остальные-то кряхтя рожают пошлые стишки о любви сами.

Диссертация Тодда Данки писалась, хотя и медленно, на весьма актуальную тему: «Феминистские тенденции в творчестве Александра Пушкина». Верстакиан, который предложил своему аспиранту столь изящную тему, хорошо понимал, что если тенденции и были в творчестве Пушкина, то, на взгляд, скажем, сегодняшней образованной американки, только антифеминистские. Пушкин, если следовать логике феминисток, по всем параметрам был типичный *male chauvinist pig*. Но Верстакиан также хорошо понимал спекулятивные тенденции в американском сравнительном литературоведении. Феминизм моден, под него сегодня охотно дают деньги на исследования, и легче выйти (о, великий и могучий!) в дамки.

Мне, пишущему эти строки, как, наверное, профессору Верстакиану, немного стыдно и грустно, что на свободном американском континенте выражение «сейчас надо писать о...» действует столь же призывно,

как на одной шестой суши при каком-нибудь Никите Виссарионовиче Брежнев. Поистине, ирония не знает границ. Аспиранту Тодду Данки предстояло накатать страниц триста научного обоснования, что Пушкин был первым феминистом России, развивал женскую литературу, боролся за эмансипацию русских женщин, за их равные права с мужчинами в политике и, конечно, в сфере секса, — в общем, способствовал прогрессу общества по феминистской части. Для сбора материалов Данки надо было отправиться в Россию, засесть в библиотеки и архивы.

Не то чтобы Тодд загорелся, получив e-mail из Петербурга, но и не остался совсем холодным. Во всяком случае, поколебавшись, решил ответить.

В сочинение писем, наполненных неким флиртом, втянулась и Тамара, не таясь от мужа, даже наоборот, советуясь с ним насчет кобелиной психологии: как лучше раздражить клиента, чтобы клюнул на живца.

— На кой тебе? — спросил Антон.

— Жить скучно, вот на кой! — объяснила она.

Но подписывалась всегда Дианой, которой об этом баловстве сперва тоже честно рассказывала в подробностях. Потом перестала, ибо никакого энтузиазма со стороны Моргалкиной не ощущалось.

Данки говорил, что переписка с девушкой из Петербурга нужна ему для языковой практики. Может, так оно и было, но он втянулся. Друзья стали уговаривать Тодда поехать в эту медвежью Россию, собственными глазами посмотреть на результаты тяжелой работы по эмансипации, которых добился Пушкин, и заодно на лицемерную Диану. Данки сопротивлялся, сперва активно, потом по инерции. Тогда приятели скинулись и положили ему в гараже на подушку билет. Визу он купил сам. Само собой, летел он по делу, деньги на которое отпустила аспирантура, и Тодд их вернул приятелям. Но переписка добавляла в поездку острого кайянского перчика.

Сообщив в Петербург, что прилетает, Тодд получил интригующий ответ с намеками на большие удовольствия за той же подписью: «Лицемерная Диана».

4

Тамара твердо решила ничего не говорить Диане, ибо убеждать ее бесполезно. Она упертая, как коза. Но накануне приезда Тодда, в перерыве между экскурсиями, глянула на нечесанную и без маникюра неряху Моргалкину и вдруг не выдержала.

— Посмотри, что у тебя на голове: ни цвета, ни укладки. Давай отведу тебя к Косте.

— Зачем мне?

— Директор недоволен. Что о тебе и обо всем нашем музее экскурсанты думают, когда тебя видят?

— Главное — духовная пища...

— Какая же духовная пища от огородного чучела? — она подтащила Диану к зеркалу и открыла французский журнал. — Сравни этих куколок с собой. Не хочешь выглядеть прилично, не надо. Но директор тебя уволит и возьмет попримечнее. Этого ты добиваешься? Глянь, какая безработица кругом! Куда денешься?

Диана молчала. Не нашлась, что возразить.

— Вот, душа моя, — не дала ей опомниться Тамара. — Пойдем вместе к Косте. Мне тоже надо сделать укладку. Сегодня, сразу после работы!

Тамара дождалась, когда в комнате никого не будет, и позвонила дамскому мастеру Косте. Какие-то отношения у нее с этим Костей были раньше. Теперь осталась рациональная дружба.

— Я подружку к тебе приведу. Ее надо случайно сделать блондинкой.

— Это как? — спросил Костя. — С тобой, Тома, не соскучишься.

— Господи, какой недогадливый! Краску перепутаешь, и все.

— А если она на меня потом в суд подаст?

— Не бойся, не подаст.

— Ну, глаза за это выцарапает...

— Сделай, Костя, что сказано. Ничего не будет, я за нее ручаюсь. Она еще тебе спасибо скажет... К ней жених из Америки причаливает, ему сказали, что она блондинка. Понял, болван? Только не говори ей заранее, и все!

Из музея Тамара с Дианой отбыли вместе. И часа два сидели в очереди в парикмахерской. Диана уже решила встать и уйти, когда Костя усадил ее в кресло.

— Давненько рука подлинного мастера к вам не прикасалась, девушка, — замурлыкал он возле ее уха. — Сделаем вас красивой. Доверяете моему вкусу?

— Делай, Костя, — Тамара его торопила. — Делай скорей!

— Может, оставить вас лохматой? — продолжал он, как бы невзначай проведя пальцами по ее шее. — Лично мне вы и так нравитесь.

— Прекрати свои глупые шутки, — оборвала его Тамара.

Костя надел на Диану пластмассовую накидку и втолкнул ее голову в раковину под кран.

— Вода очень горячая, — пробормотала Диана, булькая.

— Надо помолчать, не то захлебнетесь, — Костя уже ее намыливал.

Еще через час, когда она вернулась к зеркалу и Костя снял капюшон, на Диану посмотрела мрачная блондинка.

— Что вы наделали? — взвизгнула Моргалкина. — Кто вас просил?

— Как кто? Вот она! — сразу заложил Тамару Костя. — Но вообще-то вам идет. Это я как эксперт говорю. Хоть прямо под венец!

— Улыбнись, — приказала ей Тамара, — и держи улыбку до тех пор, пока не выйдешь замуж.

— Не хочу я замуж! — крикнула Диана, и женщины в очереди засмеялись.

Глаза ее вдруг расширились, и в них застыла догадка. Неряшливый вид всегда был ее защитой от проблем внешнего мира, полного опасностей. Но воевать было поздно: она теперь блондинка.

— Он что — едет? — спросила Моргалкина.

— Кто? — Тамара сделала вид, что не поняла, но вопросу обрадовалась.

— Не прикидывайся, я не ребенок. Этот.. из Калифорнии...

— Поздравляю! — сказал Костя, усаживая в кресло Тамару и начиная вокруг нее колдовать.

С Моргалкиной случилась тихая истерика. Успокоить ее им обоим не удавалось.

— Глупенькая! — просто заявила Тамара, расплачиваясь между тем с Костей. — Воешь, будто тебя в гарем персидского шаха продают. Да кому ты нужна? А счастье было так возможно, так близко...

За превращение в блондинку, хотя это было чистое надругательство, пришлось Диане раскошелиться. По дороге она заявила, что встречаться и не подумает.

— Как хочешь... — был ответ Тамары. — Вообще-то теперь товар соответствует требованиям заказчика. Блондинка. Грудь требуемого размера... Я думала, ты взрослая баба. А ты живой труп. Моя гражданская совесть чиста. Я свое дело сделала — ты хоть звание Героя России за свое целомудрие пробивай!

Диана продолжала всхлипывать. На том они расстались.

5

Тодд Данки прилетел в Питер под вечер. В Пулкове его с объятиями встретили приятели, с которыми он законтачил, когда студентом стажировался полгода тут в университете. Сонного его повезли в гости.

В самолете он поклялся себе, что не возьмет в рот ни капли спиртного, и эту клятву повторял в машине по дороге в город. Быть аспирантом на славянской кафедре тяжелее, чем на любой другой. Не потому, что

приходится ежедневно много читать. Если хочешь иметь дело с русской культурой, надо научиться пить. И Данки этой частью культуры вполне овладел. В прошлый раз петербургские кореша устроили ему проводы (на его деньги, само собой); возвращаясь домой, он упал на тротуаре и очутился в вытрезвителе. Когда проснулся, все деньги и билет на обратную дорогу исчезли, джинсы заменили на рваные китайские, а ему пригрозили, что если он заикнется об этом, то никогда не уедет. Словом, славист-алкаш прошел кое-какую спецподготовку.

Вернувшись тогда в Пало-Алто, Данки остался приверженцем ежедневного употребления алкоголя по известному принципу: «С утра выпил, и целый день свободен». Соседи по дому решили выставить его, потому что один алкаш среди трезвых раздражает. Он то и дело брал займы на выпивку, хотя отдавать было не из чего. К тому же Тодд не мог платить свою долю квартплаты. Из гаража его выселили, сдав место приехавшему на стажировку аспиранту из Сорбонны. Но сжалились, оставили в доме, и Данки стал спать где попало, раскручивая ночью на полу спальный мешок и утром пряча его в камин, который из-за лени никогда не зажигали. Так продолжалось года полтора. Потом друзья нашли ему работу, давили на него ежедневно так, что пить он перестал, и когда гараж освободился, вернулся в него.

Но с первого же дня его теперешнего пребывания в России в каждом питерском доме, едва он появлялся на пороге, первым делом ставили на стол пузырь водки. У него была целая книжка адресов не только своих собутыльников, но и знакомых его станфордских приятелей, которые раньше побывали в Питере, и он поплыл. Неделю Тодд не просыхал, таскаясь из одних гостей в другие, и все ему объясняли, что алкоголь очень способствует прогрессу человечества во всех областях и развитию филологических наук в особенности. Чем больше водки, тем быстрее прогресс. Ему оставалось, к радости хозяев, каждый раз произносить одну банальность, которую он услышал в санфранцисском колледже от учителя немецкого и русского языков, большого любителя поддачи и знатока алкогольного фольклора: «Кто не пьет, тот стукач».

Днем Данки заехал к другу, служившему в редакции журнала «Питерский бомонд». Там как раз пили по случаю получения денег от спонсора. Когда разошлись, заморосил мелкий дождь. Зонт и кепку Тодд оставил утром в общежитии. Был конец октября, рано осели сумерки. Шел он по Мойке в направлении Невского и вдруг остановился. Дверь в Музей Пушкина была закрыта, и на ней висела надпись «Открыто». В музее известного русского феминиста, это ему понятно, Данки уже отметил в прошлый приезд в Петербург. Тодд пребывал в сильном подпитии, в противном случае опять в музей его удалось бы втащить только в наручниках и с кляпом во рту, чтобы не сопро-

тивлялся и не орал. Но он вспомнил про глупую переписку с некоей лицемерной Дианой, которая тут должна работать экскурсоводом.

Пока он колебался, войти ли, дождь полил сильнее. Данки ввалился и в нерешительности застыл у дверей.

— Проходи, сынок, — пожилая кассирша поманила его. — Как раз экскурсия началась.

— Как имя экскурсиониста? То есть экскурс... — Тодд запнулся, не зная как сказать.

Русский он освоил хорошо, но говорил на нем хуже, чем по-французски или по-испански, особенно спяну. Кассирша поняла.

— Дианой звать. Да тебе какая разница? Все они хорошие, дело знают.

— Вам что дать? — спросил он. — Доллары или рубли?

— Доллары, — быстро сообразила кассирша.

Данки вынул пятерку.

— Хватит?

— Конечно, иди с Богом! Вот сюда, к лестнице. Да тапочки, тапочки на ботинки подвяжи...

Одной рукой кассирша указала ему, куда идти, другой резво спрятала пятерку за лифчик.

Пришлось привязать к грязным башмакам грязные шлепанцы. Топая в группе экскурсантов и озираясь, Тодд время от времени икал. Голова у него подкруживалась. Он то и дело толкался, наступал на чьи-то ноги и громким шепотом произносил:

— Извиньте, п-п-пжалуста...

Экскурсовод, симпатичная, как ему издали показалось, блондинка, держала указку наперевес, упирая острый конец ее в живот ближайшего экскурсанта. Она обводила взглядом группочку человек двадцать и хрипловатым голосом тараторила что-то про эту квартиру, в которой Пушкин прокантовался около четырех месяцев.

Тодд попытался зайти сбоку, чтобы увидеть ноги блондинки — мешало длинное платье. Значит, решил он, либо тут так теперь модно, либо под платьем блистать особенно нечему.

В тесном кабинетике Пушкина экскурсовод остановилась перед диванчиком, подождала, пока посетители переместятся, заполнят пустоты и затихнут. Выдержав паузу, загробным голосом она произнесла фразу, от которой спазм свел ей горло:

— Вот на этом диване лежал смертельно раненный поэт. Пушкин попросил морошки, которую очень любил. Двадцать девятого января тысяча восемьсот тридцать седьмого года в два часа сорок пять минут дня у него упал пульс, похолодели руки. Пушкин, не вынеся мучений, скон... скончался...

На глаза ее навернулись слезы. Она попыталась сдержать их, вы-

нула платок, приложила к векам. Слезы всегда непроизвольно текли — так живо она представляла себе каждый раз мгновение смерти. Но сегодня она разрыдалась. Наверное, нервы стали никуда.

— Ну, не надо... Зачем же ты так, дочка? — попыталась ее утешить пожилая женщина, по виду учительница. — Ведь это давно было...

— Для вас давно, — всхлипывая, резко возразила ей экскурсовод. — Для меня как сейчас...

Экскурсанты в смущении стояли, задерживая следующую, подпиральную их группу. Сзади кто-то потопал к выходу. Наконец экскурсовод успокоилась. Маленьким платочком она вытирала покрасневшие глаза.

— Если у вас есть вопросы, — всхлипнув, произнесла она, — я с удовольствием отвечу.

— На любые вопросы? — спросил Тодд с улыбкой, стараясь смотреть ей в глаза и пряча акцент.

Тодд просто так, от скуки спросил. Ответа не ждал. Моргалкина сразу догадалась, что это он. Губы сжала, чтобы виду не показать, но щеки зарумянились.

— Что именно вас интересует?

— А где кровать?

— Зачем вам кровать, молодой человек? — растерявшись, переспросила она.

— Не мне! Я имею в виду, что поэту с его женой нужна кровать. Может, я ошибаюсь...

Экскурсанты заулыбались. Кто-то засмеялся.

С каждым, кто говорил о Пушкине не только непочтительно, но без должного пафоса, Диана просто переставала знаясь навсегда. Проходила мимо, затаив злобу, и отворачивала лицо. Тут был иностранец. Может, он не понимает, что такое для нас Пушкин? Тем не менее после небольшой паузы она строго произнесла:

— Это музей, молодой человек. Не...

— Что «не»? — не понял он.

— Ничего!.. Вам к выходу направо.

Диана смотрела на него с неприязнью:

— И вообще, пить надо меньше!

Резко повернувшись, она ушла в комнату для экскурсоводов.

Рабочий день кончился, сотрудники разбежались по домам. Тамара, конечно, издали определила, что за лицо мужского пола беседовало с ее подругой. Поглядев ему вслед, она зашептала Диане:

— Дура ты! Шикарный парень, притом настоящий американец. Не чета эмигрантам, не говоря уж о тутошних...

Диана ничего ей не ответила. Закуталась в плащ, на миг остановилась перед выходом, приготовила зонтик, чтобы сразу открыть его за дверью, и нырнула в уличную слякоть, смешанную с темнотой.

Дождь перестал, но влага висела в воздухе, и с деревьев падали набухшие капли. Моргалкина топала как всегда большими шагами и весьма решительно. Она не оглядывалась, но через некоторое время почувствовала, что ее преследуют. У метро она замедлила шаги и резко обернулась. Тодд чуть не налетел на нее.

— Чего вам от меня надо?

Он вспомнил, что летел в Петербург, чтобы заполучить эту лицемерную Диану, и в самолете ему в подробностях приснилось, что и как они с ней делают. Хотел было сказать: «Всё!». Но теперь стоял возле этой обшарпанной блондинки почти вплотную, и никаких электрических искр в теле его, пропитанном водкой, не возникало.

— У меня вообще-то еще есть вопросы, — Тодд смотрел на нее с максимальной серьезностью. — Например, зачем у вас в России столько музеев Пушкина?

— Но ведь это Пушкин!

— О'кей! Допустим, он жил в ста местах. Что же, везде музеи делать? Одного мало? Ведь это ж деньги налогоплательщиков, а жизнь у вас трудная. Вон, для Ленина сколько музеев сделали, теперь разрушаете. Может, лучше не на Пушкина, на уличные туалеты деньги потратить?

— Как это? Что вы такое себе позволяете?!

Тут Данки сообразил, что про туалеты он зря сказал. Это не романтическая тема.

— Извините за выражение, — он вспомнил заученный когда-то оборот.

— Не извиняю!

— Но все-таки вот, в Ирландии, в Дублине. Я летом был. Мои предки оттуда. Маленькая страна и небогатая. Там сделали один музей для всех писателей. Зато налогов с писателей не берут вообще, государство поддерживает журналы и издательства. У вас все калории идут на мертвых писателей, а живым, насколько я вижу, жизни нет!

Он дружески взял ее за пуговицу, которая была плохо пришита. Она его руку решительно отвела, но не нашлась, что ответить, и поэтому пробурчала:

— Ничего вы не понимаете!

Повернулась резко на каблуках и поспешила от него прочь. Тодду хотелось еще порассуждать, но он остался посреди тротуара один. Смотрел ей вслед, крутя в пальцах оставшуюся ее пуговицу.

Хмель прошел, но одиннадцатичасовая разница во времени с Калифорнией все еще давала себя знать. Данки хотелось только завалиться в постель и уснуть.

В музее тек обычный день. Директор ругался с кассиршей, которая, не отрывая билеты, прикарманивала деньги. Кассирше на директора и на музей было наплевать: она давно вышла на пенсию и прирабатывала не на таком уж доходном месте. В коридоре толпились посетители, ожидая, пока к ним выйдет экскурсовод. Сами экскурсоводы кучковались в своей комнатенке. Там стоял обычный женский треп. За столом заполнялась ведомость на зарплату. Елись бутерброды, наводился марафет, девушки курили одну сигарету «Мальборо» на двоих, затягиваясь по очереди. Тамара играла с компьютером в карты. Диана ободрала палец о пружину, торчащую из старой кушетки, и приклеивала пластырь, когда забренчал телефон.

— Диана! — крикнули из противоположного угла комнаты. — Тебя. Между прочим, мужской приятный баритонец и вроде бы с иностранным акцентом.

Вздыхнув, Моргалкина поднялась со стула и взяла трубку.

— Кто это?

— Тодд.

— Какой Тодд? — она сделала вид, что не узнает.

— Тот, который вас вчера пытался проводить. Может, увидимся?

— Зачем это?

— Хм... Чтобы отдать вашу пуговицу.

— Какую еще пуговицу?

— Она осталась у меня в руках. Я хочу попросить у вас прощения, что лишил вас пуговицы. Если согласитесь, то вместе пообедаем... Ну, как?

— Нет, я занята.

— Тогда можно я еще позвоню? Вдруг вы освободитесь?

— Звонить в музей каждый имеет право.

Комнатенка притихла. Всем было интересно, кто такой в кои-то веки появился у Дианы, что посреди дня ей звонит и куда-то зовет, а она кривляется. И даже, в общем-то, хамит.

По-видимому, голос в трубке настаивал, и она ответила:

— Не знаю. Может быть. Если смогу... Если будет свободное время... Но только взять пуговицу!

И повесила трубку.

Сослуживицы попереглядывались и вернулись к своим делам.

— Не глупи, Диан, — не отводя глаз от расклада карт на компьютере, заметила Тамара.

— На что он мне?

— Вдруг он с серьезными намерениями?

— Не нужны мне его намерения — ни серьезные, ни легкие. Знать его не хочу...

— Блондинка к старости строга к мужчинам стала, — прокомментировал кто-то, и все захохотали.

— Пошли, девочки! — раздался другой голос. — Тут персональные дела, но надо работать: директор в коридоре — слышите, гневается.

Тамара задержалась, пытаясь обыграть компьютер, но опять ничего не вышло.

— Слушай, подруга, не мудри...

Моргалкина сидела на своем любимом коньке:

— Никто мне не нужен! И вообще, Диана — символ девственности.

— Ты что, девственность свою до гроба сохранить хочешь? Так там ведь по одному лежат.

Пожав плечами, Тамара вырубил компьютер, поднялась и, хлопнув дверью, вышла. Спорить с ней было трудно: Тамара за словом в карман не лезла. И Диана, как всегда, надулась.

Оставшись одна, Моргалкина поразмышляла еще немного и убедил себя, что на свидание пойдет. Исключительно для того, чтобы забрать у этого жалкого американского алкоголика свою пуговицу от пальто. Такую сейчас ни за какие деньги не купишь.

Данки действительно позвонил еще раз. После работы она с ним встретилась. Тодд был совершенно трезв и ужасно обходителен. Он проштудировал карту Петербурга и нашел хорошее место, где можно пообедать. Через полчаса они уже сидели за столиком в ресторане «Белые ночи». Тодд изучал Диану, она это не без некоторого любопытства чувствовала.

— Почему вы все время улыбаетесь? — спросила она.

— Меня так учили.

— Где?

— Я подрабатывал на учебу контролером в системе супермаркетов «Сейфвей». У них все, кого нанимают, обязаны пройти специальную школу, в которой учат улыбаться.

— Мне тоже не мешало бы в такую школу походить, — вдруг посветлела она.

— Может, в России это нормально, быть всегда печально-серьезным. Но у нас могут уволить за такое выражение лица. Покупателю должно быть приятно, когда он в магазине. Одевшись похуже, я должен был ехать в другой город и идти в «Сейфвей» обыкновенным покупателем, лучше вечером, в час пик, когда продавцы устали и все спешат. Брал в магазине какую-нибудь ерунду, например, пачку печенья или банку бобов, ставил перед кассиром и тут говорил: «Ой, я забыл взять растворимый кофе».

— А кассир? У него же очередь...

— Кассир ждал, он уже ввел мой счет в компьютер. Я неторопливо шел за кофе. Принес кофе — вижу, что к моему продавцу очередь человек пять, но он мне по-прежнему улыбается. Подхожу и говорю кассиру: «Принесите мне французский багет». Он посылает за хлебом для меня, улыбается и говорит: «Сию секунду все будет сделано. Может, вам еще что-нибудь нужно?» Но не дай Бог, если он рассердится, что я копаюсь так долго. Тогда я вызываю менеджера и оказываюсь контролером. Через пять минут этот кассир уволен.

— Да вы, Тодд, страшный человек!

— Для кого? Для плохого работника? Зато покупатели всегда уверены, что их обслуживают по самым высоким стандартам, и не пойдут в другой магазин. Служащие могут опасаться, что любой простой покупатель окажется контролером. Всегда приходится улыбаться и вообще держать марку.

Рассказывая про себя, Тодд опустил одну деталь: улыбаться-то его научили, но вскоре выгнали за пьянку, и пошли его беды. Теперь он лицемерную Диану разглядывал и думал: удастся сегодня или нет? Он решил, что именно сегодня. Во что бы то ни стало он должен достичь цели. Почему сегодня, он не смог бы объяснить. Он был на взлете и трепался обо всем на свете. Она слушала, и он был уверен, что ей с ним интересно. Со стороны это выглядело как самое полноценное охмурение. Может, оно таковым и являлось?

Как ни удивительно, их хорошо кормили, и они выпили две бутылки «Цинандали». Диана несколько расслабилась, и у него прибавилось уверенности, что будет, как задумано.

На улице подсохло, но было пасмурно. Сырость липла к коже, пробираясь через щели в одежде. Они медленно шли вдоль витрин с опущенными железными решетками.

— Поедем ко мне, — решился предложить он.

— Это куда? — насторожилась она.

— У меня комната в университетском общежитии.

— Зачем я там нужна? — спросила она, и вопроса глупей придумать было трудно.

— Покажу мою диссертацию, — предложил Тодд. — Все-таки это близкая вам тема: феминизм Пушкина.

— Да? — вежливо удивилась она. — Но ведь это на английском.

— Тогда кофе попьем...

— Мы с Тамарой выпиваем по семь чашек кофе за день — между экскурсиями.

— Кто это — Тамара?

— Моя подруга. Не знаете? Она вам письма посылала...

— Разве не вы? — Тодд остановился и взял ее под локоток.

— Конечно, нет... Я бы ни за что не стала! Ну, мне пора домой.

Типичная недотрога... Но в ее холодности и постоянной отстраненности есть какая-то тайна, некая причина, ему непонятная. Повторное предложение прозвучало жалобно. Не надо было говорить, но само вырвалось:

— Может, все-таки поедем ко мне?

— Что за шутки? Ведь я замужем. Я другому отдана и буду век ему верна.

— Кто ваш муж?

— Пушкин.

— Остроумно. Стало быть, он не умер?

— Для всех умер, для меня жив.

Он смотрел на нее с осторожностью.

— Хорошо, — проговорил он, помедлив. — Но у Пушкина другая жена.

— Была, — согласилась она. — Умерла. Я — его вторая жена. Вы — первый, кому я сказала, что Пушкин мой муж. Эту тайну я никому не открывала.

— Понял. Буду молчать, как рыба, — прошептал он серьезно и только потом улыбнулся.

— Мне пора.

— Я вас провожу.

— Незачем, я тут недалеко живу.

— Тогда пока...

Он попытался прижать ее к себе и поцеловать, но лицемерная Диана напрягла мышцы и испуганно отстранилась.

Дверцы подкатившего автобуса открылись. Моргалкина, переступив через валявшуюся бутылку от кока-колы, встала на ступеньку. Тодд шагнул за Дианой, протянув на ладони пуговицу. Пуговицу она взяла, и двери захлопнулись.

Черт с ней, с этой лицемерной блондинкой! Ни поцеловать, ни обнять, не говоря уж о том, что ему надо, а ей, похоже, не надо вообще. И юмор у нее какой-то гробовой. Тоже мне, жена Пушкина!.. Ну и холоду-га тут у них! Данки поднял воротник, сунул замерзшие руки в карманы и, чертыхаясь, побрел искать вход в метро.

7

Моргалкина была влюблена в Пушкина до самозабвения. Она и стихи, посвященные ему, сочиняла, но однажды, когда прочитала в письме к Наталье, что он запрещает ей сочинять, собрала все до единого и сожгла. Подлинная любовь требует абсолютной пре-

данности. Если бы он шел по снегу, она собирала бы снег из-под его подошв и ела. Она была абсолютно уверена, что Пушкин принадлежит ей лично, а уж она ему само собой. Самозабвенная любовь к нему давали ей энергию жизни и счастье от обязанности быть с ним всегда — и днем, и ночью. Однако реально она входила в коммуналку, отпирала дверь в свою комнату и оставалась одна.

У нее был знакомый художник Дасюк, в высшей степени гений, как сам он себя оценивал. Дасюк спился и работал плотником в БДТ. Что-то у него было с кожей на почве алкоголизма: красные с синим отливом пятна украшали лицо, шею и руки. Прошлой зимой Диана наплела ему с три короба про какую-то выставку. Они вместе выбрали рисунок, с которого Дасюк обещал сваять Пушкина во весь рост.

— Черт с тобой, вырежу из фанеры.

— Из фанеры? — огорчилась она. — Я думала...

— Хорошей фанеры достану, толстой, авиационной. Будет лучше живого.

Неделю спустя после работы Диана поехала к Дасюку. В захлавленной мастерской позади сцены перед ней стоял, прислонившись к электропиле, ее родной Пушкин, только без одежды. Дасюк раскрасил лицо и тело, приклеил парик — кудряшки настоящих черных волос с пролысиной. Бакенбарды — так даже гуще настоящих. Не забыл мастер вырезать и приклеить все, что покоится под одеждой. Моргалкина вспыхнула, увидев это, сердце у нее забилось. Она потребовала немедленно оторвать сию мерзость. Дасюк издал звук, похожий скорее на кудахтанье, чем на смех:

— Почему же мерзость? Ты чего? Хочешь, чтобы я его кастрировал? Не буду! Не позволю надругаться над нашим культурным достоянием! Как у всех, так и у него. Так Всевышний распорядился. Я это с себя творил, с природы. Не веришь — хочешь покажу?

— Нет, нет, ради Бога! Тебе это нужно, а ему-то зачем?

— Он что, не мужик? Ну, это ты брось! Или сама делай что хочешь! Вот тебе нож, кисть, палитра — замазывай. Хоть фиговый лист присобачь, хоть вообще ликвидируй, что тебе не по душе! Валяй, уродуй произведение высокого искусства!

Красные с синим отливом пятна на щеках и лбу Дасюка стали от нервного напряжения коричневыми, глаза налились кровью.

Моргалкина взяла в руки нож, но прикоснуться к этому месту не решилась.

— Одеть его нельзя? — робко спросила она.

— Купи костюм да одень.

— Шутишь? Ему ведь мундир положен. Где ж такой достать?

— Он кто был? — Дасюк опять закудахтал. — Кажись, камер-юнкер?

— Камер-юнкер, — обиделась Диана, — был, между прочим, по уровню статский советник!

— Ты меня не путай! Бутыль за это будет? В костюмерной они наверняка три шкуры сдерут.

— У меня есть деньги. Брат переправил.

— Откуда?

— Из Мексики.

— Чего он там не видал?

— Работает. Туда русские геодезисты бегут, потому что там платят.

— Может, и мне в Мексику податься? Что я, слабже Сикейроса? Такое могу намазать, что закачаются!

Косолапый Дасюк вразвалочку пересек мастерскую, пнул ногой дверь и скрылся. Моргалкина в панике, прижав ладони к шее, осталась наедине с обнаженным Пушкиным.

— Видите, как получается, Александр Сергеич, — сказала Диана, стараясь отводить глаза от нагого изваяния. — Я понимаю, что вам холодно. Потерпите чуток.

От Пушкина пахло олифой.

Моргалкина стащила свое пальтишко и накинула на Пушкина, обвязав вокруг его талии пояс. Теперь, хотя вид у поэта был странный, на него стало удобнее смотреть. Диана вытащила из сумочки флакончик с духами «Сlimat», давно ей подаренный пушкинистом Конвойским, и приснула Пушкину на небрежно раскиданные каштановые локоны. Пушкин поморщился, наверно, ему не понравилось, что духи женские.

Дасюк вернулся, волоча пластмассовый мешок.

— Всю костюмерную бабоньки перевернули. Насилу нашли. Был, говорят, у них спектакль по Пушкину, давно не идет. Куда костюмы подевались, никто не помнит. Может, говорят, давно сперли. И вот нашли все-таки. Надо будет с ними расплатиться...

Открыв сумочку, Диана вынула деньги, оставив себе на такси.

Она сдвинула на столе пустые бутылки, корки хлеба и аккуратно разложила парадный мундир темно-зеленого цвета с красными обшлагами и высоченным воротником. Золотое шитье с падающими по краям кисточками придавало вид торжественный. К мундиру прилагались белые суконные рейтузы, слегка поношенные и сильно мятые. Дасюк бросил на пол башмаки и извлек из кармана белые чулки. Диана нашла в мешке мятую шляпу, тоже обшитую золотом. К шляпе, в подвязанном к ней пластмассовом мешочке, прилагался белый плюмаж.

— Плюмаж не надо, это украшение для лошади, — Дасюк оторвал плюмаж от шляпы.

Положив Пушкина на стол, она натянула на него белые рейтузы, потом поставила и надела мундир.

— Совсем другое дело! — сказала она, любуясь им.

Пушкин стоял босой.

— Сапоги не забудь, — напомнил Дасюк, — с собой возьми.

— Да он же замерзнет, холод на дворе.

Дасюк посмотрел на Диану внимательно, но возражать не стал. Она натянула Пушкину чулки, потом сапоги. Он не сопротивлялся, наоборот, она чувствовала, старался ей помочь.

— Красавец твой Пушкин, — наклонив голову набок, глядел на них Дасюк. — А в жизни-то был уродом.

— Сам ты урод!

— Слушай, — Дасюк посмотрел на ее счастливое лицо с подозрением. — Если взаправду, зачем он тебе? Мужика что ль нету? Я лучше могу, чем этот фанерный... Давай прямо сейчас, а?

Он взялся волосатой рукой за пряжку ремня.

— Не болтай глупости! — сухо отрубил Моргалкина, не рассердившись, но и не приняв предложение за комплимент. — Сказано тебе, для выставки. У тебя всегда только одно на уме.

— Обижаешь! — фыркнул Дасюк. — Я и выпить всегда хочу.

Он помог ей вынести свой шедевр на улицу и свистнул такси.

— Куклу куда? — спросил шофер. — В багажник? Пополом согнет-ся?

— Да вы что! — возмутилась Диана. — Мы на заднем сиденье вполне вдвоем вместе устроимся.

Александр Сергеевич не сгибался, поэтому поместился несколько наискосок. Одной рукой держа его под руку, другой Диана пошевелила пальцами Дасюку.

— Бутылка когда завезешь? — крикнул Дасюк, захлопывая дверцу.

Она не ответила.

— Для демонстрации что ли? — не оглядываясь, спросил таксист, выруливая в поток машин. — Или для витрины?

Городского извозчика ничем не удивишь. Спросил он не потому, что заинтересовался, просто для разговора. Вместо ответа она сухо назвала улицу, и он больше не возникал.

В лифте Пушкин с Дианой стояли рядом, плечом к плечу. Моргалкину волновало, как он найдет ее комнату, которую она давно не убирала. К счастью, был поздний вечер, и в коридоре соседей не оказалось. Она с ними не очень ладилась и старалась общаться как можно реже. А теперь вообще никого на порог не пустит.

Прислонив камер-юнкера к шкафу, Диана положила ему руки на плечи.

— Ну вот мы и дома, Александр Сергеич. Вам здесь нравится? Покушать желаете? Сейчас я чего-нибудь сготовлю. С прислугой, извините, проблемы...

Она только теперь почувствовала, как голодна: с утра, кроме кофе,

ничего во рту не было. Заглянула в холодильник, там у нее был вчерашний суп, вынула кастрюльку, побежала на кухню. Вернулась, быстро поставила две тарелки, ему и себе, отрезала хлеба, передвинула Пушкина к столу, начала есть. Он стоял совсем рядом и неотрывно смотрел на нее.

— Не хотите со мной есть, ну и не надо, — она обиженно скривила губы. — Я понимаю, вы человек избалованный. Но вообще-то привыкайте. В рестораны вы водить меня не будете. Знаете, какие сейчас цены? Лучше становитесь домоседом. Ведь вы всегда мечтали обо мне, и вот я перед вами.

Бледная Диана

Глядела долго девушке в окно.
(Без этого ни одного романа
Не обойдется; так заведено!),

— продекламировала она. — Ну, от шампанского вы, надеюсь, не откажетесь?

Она вытащила из холодильника бутылку, купленную заранее, поставила два бокала, с трудом, пустив пробку в потолок, открыла и неловко налила. Шампанское зашипело, пена поплыла через края на клеенку.

— Извините, что дешевое. Зато импортное, из Венгрии. Давайте выпьем, Александр Сергеич! Выпьем за то, чтобы все у нас с вами было путем, как у людей!

Он кивнул. Диана выпила свой бокал, глядя Пушкину в глаза, закашлялась и, поскольку второй бокал оставался полным, выпила и его. Пузырьки защекотали в носу. Стало хорошо и легко. Кастрюльку с супом она поставила обратно в холодильник. Подошла к Пушкину, обняла за шею, прижалась к нему, поцеловала в щеку.

— Фу, как от вас краской пахнет! И нафталином... Можно, я вас еще подушу? Замечательные духи, другие, тоже французские. Брат из Мексики прислал. Только опять женские... Вы знаете, сколько сейчас? — спохватилась она. — Полночь. Для вас, конечно, только начиналось бы гулянье, а мы в это время уже должны баеньки. Завтра-то на работу...

Диана ласково погладила его по волосам, и он тоже нежно к ней прижался.

— Хотите меня? Знаю, знаю, все вы одинаковые... Потерпите немного. Сейчас ляжем.

Она поспешно раздвинула диван, постелила чистую простыню, достала из шкафа подушку с одеялом.

— Теперь, Александр Сергеич, отвернитесь, я разденусь.

Но он не отвернулся. Она раздевалась, он смотрел. Диана скинула одежду, попрыгала, стаскивая колготки, и теперь стояла перед ним.

Сама удивилась, что совершенно его не стесняется. Ей хотелось покочетничать, и она пристыдила его:

— Вы мужчина, вам положено меня раздевать. А выходит, я вас...

Пушкин покорно ждал, пока она снимет с него мундир, сапоги и рейтузы. Она взяла его, раздетого, под руку и медленно повела к дивану, стараясь не глядеть на то место с курчавыми, как на голове волосами, которое столь эффектно изобразил Дасюк. Положив Пушкина лицом к себе и укрыв одеялом, она погасила свет и юркнула к нему.

— У меня никого до вас не было, — призналась она ему. — И не могло быть. Еще в школе я вас полюбила, целовала ваш портрет в учебнике. Вы — первая моя любовь, вы — последняя. Я однолюбка: всю жизнь люблю только вас! Для вас себя берегла, только для вас... Наконец-то вы это поняли и пришли ко мне! Значит, вы тоже...

Повернувшись лицом к нему, она гладила его по голове и по спине. Едва усмехнувшись, он кивнул, протянул к ней руки.

— Вы меня задушите, — прошептала она. — Я готова сейчас же умереть от счастья. Хотите? Вот я. Берите меня!

Комок подкатил к горлу. Судорога свела ее тело. Она застонала, прижимаясь к нему, покрывая поцелуями его лицо, волосы, шею, плечи, грудь.

Это была первая в ее жизни брачная ночь.

8

В комнате поселился мужчина, что Моргалкина тщательно скрывала от соседей. Не поймут. Будут смеяться и, конечно, завидовать. Донесут в домком, что он не прописан.

Поскольку они спали вместе, нелогично было говорить Пушкину «вы». На «ты» с ним она перешла естественно, даже не заметила. И он стал говорить ей «ты».

Вечером она раздевала его, укладывала рядом с собой, утром поднимала и одевала. Он глядел, как она пила кофе, но сам не завтракал, ссылаясь на то, что еще очень для него рано. Она целовала его в губы и убегала на службу. Глядя на автобусы, забитые доотказа, она думала: стыдно, что люди едут быстро, ведь он вынужден был тащиться на лошадях. Сейчас вообще из дому не выходит. Но это мелочи. Главное, мы любим друг друга.

Много она про него знала, но ей казалось недостаточным. Она старалась запомнить больше. И все прочитанное обсуждала с ним, в том числе особенно часто глупости, которые писал про него пушкинист Конвойский.

— Он тебя совершенно не понимает. Да и другие тоже... Только я...

Читать именно Пушкина она любила с детства. Теперь она читала только Пушкина, в чтении других авторов видела измену ему.

— «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы», — открыв томик, читала она. — Ты, Пушкин, молился в моем храме, когда был в Крыму?

— Конечно, дорогая, — отвечал он, не сводя с нее глаз.

— Теперь ты опять в моем храме, и отсюда я тебя никогда не выпущу.

Он с радостью соглашался.

Во время экскурсии Диана ловила себя на том, что, не только говорит его стихами, но и думает. Это было подлинное слияние душ, проникновение, катарсис. При этом она, стыдясь, объясняла экскурсантам:

— Знать наизусть я должна всего Пушкина, а знаю только треть.

Весь день в музее она не могла дожидаться, чтобы вернуться домой и попасть к нему в объятия. Когда у нее было плохое настроение (а перемены настроений от разных обстоятельств случались часто), она на него сердилась:

— Как ты мог написать, Пушкин, что я — лицемерная? Я, которая тебя о-бо-жа-ет?! Это все остальные на свете люди тебе лицемерят, и только я тебя люблю больше всего на свете, больше себя! Глаза готова выцарапать каждому, кто на тебя не молится, хочу умереть за тебя. Ты мой! мой! мой!..

И она рыдала, не могла успокоиться до тех пор, пока он не начинал ее целовать.

Она все больше фантазировала, преувеличивая роль Дианы в его жизни. Что это за таинственная любовь Пушкина, неразгаданная до сей поры? Ответ ясен: это богиня Диана. Про Наталью, свою первую жену, он написал только одно стихотворение и называл ее дурой, обо мне же писал восемь раз и в стихах, и в прозе. У Пушкина было колоссальное чувство предвидения. Он знал, что встретит меня. Наталья была мадонной только в невестах. Я — настоящая богиня, он сам сказал. Принципиальная разница!

Иногда она перемещалась во времени и говорила ему: «Тебе надо развестись с Натальей Николаевной, тогда мы...» Или: «Мы с тобой решили, что дуэль должна состояться. Ведь умереть ты не можешь». Ты всю жизнь искал идеальную женщину, Пушкин. Она являлась тебе в разных образах, и вот ты нашел меня. Я оказалась лучше того, о чем ты мог мечтать. Твоя жизнь оборвалась из-за той жены, но ты продолжал искать свой идеал. Ты не мог прийти ко мне сразу после смерти, потому что я еще не родилась. Теперь ты мой. Наталья тебя не понимала. Только я понимаю! И буду твоей последней женщиной. Эта твоя связь навсегда!

Пушкин с Моргалкиной полностью соглашался, не спорил.

— Как быть с теми бабами, — спрашивала она его, — которые были у тебя после женитьбы?

И сама отвечала:

— То были случайные связи оттого, что Наталью ты быстро разлюбил. Не оказалось в той семье радости — вот и рыскал на стороне. Прощаю тебя...

Тема эта ее беспокоила, когда она уходила из дому.

— Больше ты других любить не будешь! — строго сказала она ему ночью, когда он лежал и смотрел на нее. — Понял? Даже не думай... Потому что лучше меня нет. Правда, квартира у нас с тобой коммунальная. Зато здесь я — твое счастье.

С этим он тоже соглашался, как ей казалось, охотно. Все же он старше стал. С возрастом, это всем известно, у мужиков меньше желания гулять.

И все же она нервничала, возвращаясь домой: вдруг он отправился гулять. Кругом женщины, и многие одеваются теперь шикарно, юбки едва ниже пупа. Ей казалось, он все время ускользал от нее. Сколько бы она ни старалась не упоминать в экскурсиях всех так называемых «адресатов лирики Пушкина» — они фигурировали в его жизни, о них спрашивали экскурсанты, она никак не могла отделаться от других его женщин.

Чтобы бороться с ними и победить, Моргалкина решила узнать о них больше, найти в мемуарах их слабые места. Она сравнивала их с собой и находила в себе явные преимущества. Она переписала «Донжуанский список», который он оставил в альбоме Ушаковой, и прибавила себя в конец. Почерк Пушкина она знала, сама отработала такой же, не отличить, — значит, это он вписал ее последней. Теперь она его женщина, справедливость свершилась. Он писал, что Наталья — его сто тринадцатая любовь; Диана игнорировала эти сто тринадцать и всех последующих. Она стала сто последней.

Оставался все же некий разлад в душе. Тот Пушкин, которого она знала всю жизнь, был общительным жизнелюбом, — теперь у нее дома он постоянно молчал. Может, ему мало моего общества? Она старалась быть веселее, что ей давалось с трудом. К обычным женским играм, хотя и понимала всю важность умелого кокетства для Пушкина, Диана плохо была приспособлена.

— Почему ты лежишь со мной равнодушно? Гуляка! Тебе надо чего-нибудь свеженького. Иди, я не возражаю, иди! Сейчас проститутки на Невском полно, больше, чем в твои времена. Только к ним иди, потому что тебе надо. Не провожай никого и не целуйся в подъездах, пожалуйста!

Пушкин вернулся к ней посреди ночи. Она уже спала, и он разбудил ее прикосновением.

— Наконец-то, — сказала она. — Нагулялся. Теперь ты опять мой!

Запах чужих духов возмутил ее, но ведь она сама разрешила ему. Диана поднялась, накинула халат, раздела его, положила на чистую постель, прислонив спиной к стене так, чтобы он мог видеть ее, повесила на плечики его рейтузы и камер-юнкерский мундир. Пушкин вдруг приподнялся, поднял руки и прочитал ей стихи. Возможно, не он прочитал ей, а она ему, — какая, в сущности, разница?

— Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.

Тем временем она скинула халатик и юркнула под одеяло, рядом с ним. Погрозив ему пальцем, усмехнулась:

— Что за рифма, Пушкин, «друзья — меня»?! Стыдоба! Тебя Бог наказал за то, что ты, греховодник, разбрасываешься: грудь тебе нравится моя, щеки у Флоры, ножка Терпсихоры. Бабник несчастный! Ладно уж, прощаю в который раз... А работаешь мало. Эдак вообще разучишься стихи сочинять.

Корила его Моргалкина за отлучки и за лень. Он становился перед ней на колени, просил прощения, и после притворного ворчания она позволяла ему прижаться к себе. Она как-то сразу расслаблялась, и он уже мог делать все, что хотел именно с ней. Поэтому другие женщины отступали в тень, переставали иметь для нее какое-либо значение.

Они лежали рядом, он читал ей на ухо стихи, которые она давно знала наизусть, но делала вид, что ей невероятно интересно. Даже хлопала в ладоши, но тихо, чтобы соседи не слышали.

— Что женка, не махнуть ли нам в театр? — обратился он к Диане.
— Вот ужо страсть какая тоска...

— Хочешь сказать, что тебе со мной скучно, Пушкин? Нацелился меня обидеть?

— Сидение дома сводит меня с ума, Дианушка. Чего дают в опере? Диана подала ему газету «Вечерний Петербург».

— Бог мой! — воскликнул он. — Сколько развелось театров! Глаза разбегаются. И что ж, все хорошие?

— Разные. Ты желаешь в оперу? Вот смотри: сегодня «Пиковая дама».

— Что-то знакомое, — попытался вспоминать он.

— Еще бы!

— Поехали! — он вскочил с постели. — Сейчас велю кобылку бурую запрячь.

— Лучше на автобусе, — предложила Диана.

Она стала судорожно вспоминать, хватит ли у нее денег на билеты. Полезла в книжный шкаф, где в книге прятала деньги — берегла на черный день.

На этот раз Александр Сергеевич одевался сам. Давно надо было бы купить ему современный костюм, финский или хотя бы болгарский. Он кряхтел с непривычки, самостоятельно натягивая сапоги. Она его избаловала, раздевая и одевая. В шляпе он стал великолепен. Было холодно, а у него пальто нет.

— Не бойся, дорогая, — сказал Пушкин. — Я к морозу привычный...

Диана надела свое лучшее, оно же единственное, вечернее малиновое платье с кружевами. На улице Пушкин загляделся на маленький флигель на углу Мошковского переулка.

— Узнал? — сообразила Диана. — Ну конечно! Здесь твой приятель Одоевский жил со своей красавицей-креолкой...

Дверцы за ними стиснулись, поехали. В автобусе толчея, в давке да полутьме на Пушкина, слава Богу, не обратили внимания. Билеты в Мариинке стоили бешеных денег, за рубли их вообще не было, пришлось купить за доллары.

В фойе уже стемнело. Пушкин шагал стремительно, Диана в длинном платье едва поспевала за ним. Двери распахнулись. Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла, все кипит. Начинает гаснуть свет. Пушкин идет меж кресел по ногам, она следом.

— Пушкин... Смотрите, Пушкин! — раздаются голоса.

Его узнают, приветствуют. Ему это явно нравится, и ей тоже.

— Кто там с ним? Ведь не Наталья Николаевна! Как же так?

— Да разве вы не слышали? Весь Петербург говорит. Это его новая girl-friend. Ее зовут Диана...

— Диана? Какое поэтическое имя! И знаете, она ничего...

— Еще бы! Не зря же он от нее без ума...

Они усаживаются в партере. Соседи им кланяются, шушукуются. Весь зал говорит только о них. Пушкин шарит по карманам, пытается найти свой двойной лорнет, чтобы навести его на ложи незнакомых дам, но лорнет, который она высмотрела и купила для него на Невском в подвале у нового русского старьевщика, куда-то запропастился. Перед выходом из дому Диана передумала и специально вытащила лорнет из пушкинского кармана, чтобы на незнакомых дам он не глядел.

Тут стемнело. Появился дирижер, раскланялся, взмахнул палочкой, и грянула увертюра. Зал музыку не слушает, продолжая о них шушукаться. Поднялся занавес. Пушкин на сцену глянул, отворотился — и зевнул. Почесал бакенбарды и молвил:

— Всех пора на смену...

В антракте, едва зажгли свет, Пушкин, почувствовала Диана, забыл о ней. Глаза его разбежались от обилия красивых женщин, одетых так,

как ему не снилось: полуобнаженных, источающих такие запахи, от которых кружилась голова. Они вышли прогуляться в фойе. Диана крепко держала своего легкомысленного спутника за локоть.

— Вы настоящий Пушкин или артист в гриме? — с изумлением спросила у него идущая навстречу нимфетка с длинными ногами, растущими из подмышек.

Увидев это божественное создание, Александр Сергеевич потерял голову.

— Мадемуазель! — воскликнул он. — Разумеется, я настоящий. Если позволите поцеловать вам ручку, вы в этом убедитесь. Вы — прелесть, чистый ангел.

— Зачем же ручку? — нимфетка сделала глазки. — Кто сейчас ручки целует? Поцелуйте лучше в губы.

И не дав Пушкину задуматься, бросилась к нему на шею. Пушкин обнял ее за тонкую талию и стал что-то шептать на ухо. Нимфетка обмякла, будто сейчас, здесь готова упасть с ним на пол.

Краска бросилась в лицо Диане. Господи, зачем я привела его сюда? Зачем он ожил? Ведь я его теряю! Мертвый, он был мой и больше ничей. Деревянное его тело принадлежало мне одной. И вот...

Вокруг стала собираться толпа. Диана возмутилась, вырвала Пушкина из объятий нимфетки и вlepила ему пощечину. Руке стало больно: она ударилась о деревяшку. Слезы брызнули из глаз, дотекли до рта, она почувствовала на языке их соленый привкус.

Было утро, за окном на углу скрежетал трамвай. Пушкин лежал рядом и смотрел на свою *girl-friend*. Надо было встать и бежать на работу.

9

Сомнений нет, он любит только ее, Диану, принадлежит только ей. Но этого было мало ее жадному воображению, которое требовало и логики, исторической обоснованности, и, так сказать, легальности. Как биографические детали жизни Пушкина ни обходи, невозможно им противоречить: Наталья его жена, Диана — нет. Надо получить свое законное право быть рядом с ним. Ее совершенно не смущает, что он жил тогда, а она — теперь, когда он уже умер. Важно другое: как же стать его законной женой?

В Вербное воскресенье Моргалкина пошла к заутрене в церковь к отцу Евлампию. Познакомились они еще в университете: вместе оказались на уборке картошки, и он Моргалкину по части Самиздата прошещал. Он же ее, как только все можно стало, крестил. В миру Евлам-

пий был Евгением, раньше простым советским экономистом, работал в Ленинградском управлении торговли, засыпался на взятках. Господь его просветил, укрыл в монастыре и послал в духовную академию.

Отстояв воскресную службу, Диана подошла к отцу Евлампью, сказала, что разговор у нее конфиденциальный. Он ее в сторону отвел, ухо наклонил. Она оглянулась, не слышит ли кто, и прошептала:

— Мне надобно обвенчаться с одним человеком, но тайно, на дому, как делали иногда предки.

Евлампий тоже историю знал, но тут сразу остерег ее, перекрестив:

— В церкви надобно, по закону, с бумагой из загса.

— Какие теперь законы? — возразила она. — Мы сперва Божеское одобрение хотим получить... И срочно надо, я заплачу, сколько скажешь. Знать никто не будет. Тут рядом.

Она долго его уговаривала, пока он по старой дружбе не согласился.

— Когда?

— Прямо сейчас.

— Тогда быстрее, — сказал он. — У меня впереди обедня и начальство из епархии грозились нагрять.

По дороге отец Евлампий молчал, только на часы то и дело поглядывал да рясу руками над лужами приподнимал. Моргалкина привела его домой. Она знала, что соседи все на садовые участки отбыли. Войдя в комнату, Евлампий спросил:

— Ну, где твой жених, которому так приспичило?

Тяжелая зеленая штора закрывала свет в окне. Диана сперва молча зажгла две свечи, будто не слышала вопроса. Потом, раздвинув книги, вынула из шкафа почтовый конверт, излекла две бумажки по сто долларов и протянула Евлампью. Деньги он опустил в карман рясы.

— Где жених-то? — опять спросил он.

Деваться было некуда, она указала на Пушкина, прислоненного спиной к шкафу.

— Да вот он.

Палец в рот от удивления положил отец Евлампий да чуть не откусил. Зажмурился, опять открыл глаза, поморгал, проверяя зрение, перекрестился, закричал и выдавил из себя:

— Ты шутишь, девка! Не может того быть, чтобы серьезно...

Моргалкина уже надела фату, заранее приготовленную, молча встала рядом с Пушкиным, опустив очи в пол. Ждала.

Отец Евлампий, готовый выбросить деньги и бежать, сунул руку в карман. Пошелестел купюрами, посопел, размышляя. Не в деньгах дело. Деньги вернуть можно. Чудит она, несчастная раба Божия. Конечно, в данном случае не имеется полного умственного благополучия,

но ведь Господь, в отличие от людей, всегда терпим и снисходителен к человеческим слабостям.

— Боюсь я, — вслух произнес отец Евлампий и опять осенил себя крестным знаменем. — Вот ведь ситуация, прости меня Отче.

— Начинай, чего же ты?

— Вот что... Ты, Моргалкина, на кресте поклянись: этого — никому! Ни единой земной душе!

Диана кивнула. Он поднес к ней распятие. Она его поцеловала.

Отец Евлампий, все еще неуверенный, переступил через протест внутри себя и стал читать молитву, стараясь не глядеть на Пушкина. Перекрестил их обоих, спросил, согласна ли она стать женой (не сказал кого), и нарек их мужем и женой.

— А кольца? — спросила Диана, когда он повернулся уходить.

Глаза его расширились. Страх застыл в них или смущение, но скорей то и другое вместе.

— Обменяйтесь кольцами, — торопливо пробормотал он. — Обменяйтесь... Обменяйтесь... Прости, Господи, нас, грешных детей твоих...

Моргалкина открыла пожелтевшую коробочку и надела Пушкину на безымянный фанерный палец обручальное кольцо своего отца. Потом вынула второе, материно, и надела себе.

— Ну, с Богом! Я побежал, — у двери отец Евлампий оглянулся. — Смотри, дочь моя, помни о клятве. Никому! Кривая нынче жизнь...

Так Моргалкина стала второй законной женой Александра Сергеевича — Дианой Пушкиной.

Любовник он был первоклассный, божественный, лучший в мире, хотя предыдущего опыта для сравнения у мадам Пушкиной не имелось. Она стала почти счастлива. Почти, ибо один дефект в их отношениях и теперь, несмотря на жаркие ночи, когда она его обнимала, никак не преодолевался: она все-таки оставалась девственницей.

В следующее воскресенье утром она опять пошла в церковь просить Господа: сделай один-единственный раз исключение, верни к жизни раба твоего. Преврати деревянное тело в нормальное, чтобы дышал, чтобы сам обнимал. Оживи хотя б ненадолго. Хоть бы один-единственный раз не мне с ним, но ему со мной поговорить, чтобы сам признался, как любит меня. Ведь все время только я говорю и за него, и за себя. Для меня он и так живой, конечно, абсолютно все у меня с ним замечательно. Вот только почему-то зачатия никак не происходит — ни непорочного, ни порочного. Оживи мужа мово, Боженька, чтобы показал, как меня любит. И чтобы ребеночек почувствовался.

Уже начав молиться, она, однако, в испуге одумалась. Не захочет Бог оживить одного, ибо немедленно все смертные возжелают того

же. Да и что получится, если сжалится Бог надо мной и Александр Сергеевич оживет, то есть превратится в телесного мужчину? Тогда ведь и вовсе контроля над ним не будет. Все-таки натура его известна. Как все живые мужики, поволочится за первой встречной юбкой. Мне станет врать или вообще исчезнет из дому, так что не дожدهшься. Нет уж, пускай остается фанерным, зато верным мне до гробовой доски. Обнять его я и сама могу, руки не отсохнут.

Она вышла из церкви, не домолившись. Из-за этого Пушкин не ожил.

Порой Диане казалось, что она вот-вот забеременеет от него или даже уже беременна, уже животик появился, кто-то топнул в нем ножкой, скоро рожать, глядишь, мальчик в школу пойдет, — ее и Пушкина сын. Но как она ни убеждала себя, беременности не получилось.

— Тамар, — сказала Диана шепотом, когда они остались вдвоем между экскурсиями. — Поклянись матерью, что никому не скажешь!

— Ты чего это? — удивилась Тамара и с подозрением глянула на нее. — Банк грабить собралась?

— Хуже, — Диана еще понизила голос. — Мне срочно забеременеть надо.

— Вот те на!.. Ты что, мать моя, рехнулась? Все дрожат, чтобы не влипнуть, ты наоборот. Прямо по твоему любимому поэту:

Берегитесь — может быть,
Это новая Диана
Притаила нежну страсть —
И стыдливymi глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.

— Кто бы помог? — Диана зацепилась за строку.

— Я что — сводня? Вон — кобелей вокруг тьма тьмуцая.

— Да разве это мужики? Ни энергии, ни души. Ни дом построить, ни бабу соблазнить.

— Ты чего хочешь? Какая жизнь, такие и мужики...

— Вот и я о том же! Только он личность.

— Кто?

— Пушкин.

— Ой, бабоньки, не могу больше! — заголосила Тамара, хотя в комнате никого не было. — Вот и беременей от Пушкина.

В глазах у Дианы стояли слезы. Тамара погладила ее по руке, взяла за плечи, встряхнула.

— Ты вообще-то, Моргалкина, дурачишься или как? Если серьезно, то бери любого.

— Любого? Может, поговоришь со своим Антоном? Он не согласится? Один раз только...

Тамара губу прикусила.

— Нет, ты просто рехнулась! Вы только подумайте?! А меня куда? В мусоропровод спустить?

— Не пугайся, я ведь только спросила, — замахала на нее руками Диана.

— И потом, мужик мой слишком ленивый, — миролюбивей добавила Тамара. — Я и сама-то Светланку на третий год еле-еле зачала.

— Кто бы помог? — заикнулась Диана. — Если очень серьезно...

— Если очень, то все равно не на улице же! Тодд твой пропадает без толку? Какой-никакой, все ж американец. И хоть знаешь человека.

— Я его отшила.

— Ну и что? Обратно пришей. Это ж идеальный вариант! Только не будь полной идиоткой и не ляпни ему, что рвешься забеременеть. От такого светлого будущего любой нормальный мужик мгновенно испарится, только его и видели. Перетрахайся с ним, он уедет в свою Америку, и дело с концом. Будет сопротивляться, напои.

— Зачем?

— Пьяный мужик на это всегда готов, как юный пионер. Звони ему...

— Страшно...

— Страшно, когда тебя насилуют. А тут... Слушай, — Тамара сжала ее плечо. — Что если он тебя в Америку возьмет? Дурой будешь, если откажешься.

— Как же я Пушкина оставлю?

— Нет, душа моя, по тебе психушка тоскует. Лучше от тебя держать-ся подальше...

Через знакомых в университете Моргалкина нашла телефон общезнания легко и оставила просьбу позвонить в Музей Пушкина. Тодд перезвонил. Но чтобы прийти с ним домой, надо было посоветоваться с Пушкиным. Он по женщинам легко бегал — почему же ей один раз нельзя?

Вечером она вошла в комнату и первым делом его спросила. Пушкин молчал, только смотрел на нее. Наверное, растерялся. Думал и не знал, что ответить.

— Но ведь ты сам был гуляка! — настаивала Диана. — Теперь эмансипация полная. Тодд говорит, что ты всегда был феминистом. Люблю-то я тебя, он просто донор, понимаешь? До-нор! По-французски le donneur...

Пушкин еще немного подумал и разрешил. Диана поцеловала его в щеку и убежала.

— Наконец-то мужика привела! — громко, ни к кому не обращаясь, изрекла соседка, идя на кухню. — Может, он тебя нормальной сделает...

Моргалкина промолчала. Тодд стоял позади нее и, видимо, не очень понял смысл сказанного. Она пошарила в сумочке, ища ключ, открыла свою комнату, впустила Тодда и сразу заперлась на замок.

Когда Диана позвонила, Данки удивился, услышав в трубке ее голос. Она была деловита, даже не спросила его, хочет ли он увидеться, сразу предложила встретиться, и у него выбора не осталось. Он не спрашивал, куда она его везет — неловко было. Теперь Тодду показалось, что в темной комнате кто-то есть, и он поздоровался. Никто ему не ответил. Диана зажгла настольную лампу: в полутьме стоял Пушкин. Данки протянул ему руку, которая осталась не пожатой. Тогда Тодд учтиво поклонился и сказал:

— Хай, Пушкин!

Пушкин не ответил.

— Вот почему вы шутили, что замужем...

— Я не шутила, — отрезала Диана, чтобы Тодд прекратил фамильярничание.

Она быстро собрала ужин, вытащила из морозильника бутылку водки. Тодд сидел за столом и только водил глазами, следя, как она бежит по комнате.

— Хорошо у вас. Очень уютно. И книг много, — с вежливой инерцией говорил он, глядя на ужасный беспорядок, с которым можно сравнить только его собственный гараж в Пало-Алто. — Если я когда-нибудь опять женюсь, у меня обязательно будет уютно.

— Опять? — Моргалкина зацепилась за слово и на мгновение перестала хозяйничать. — Вы разве женаты?

— В общем-то нет...

— Как это? — непонятка ее озадачила.

— То есть я был женат, развелся, но жена все пытается судиться со мной. Стоит мне купить что-нибудь, например, машину, как она нанимает адвокатов, утверждая, что я при разводе утаил от нее еще некоторую сумму. Она мне просто мстит, но не понимаю, за что...

Пять лет назад еще студентом Данки летал на каникулы в Гонконг и там познакомился с вьетнамкой, которая в него влюбилась. Она — сирота, родители погибли, когда пытались переправиться на лодке за границу, девочку береговая охрана спасла. Тодд расчувствовался и решил привезти ее в Америку. Они зарегистрировались тогда же в Гонконге. Через некоторое время она приехала к нему в Калифорнию и

получила статус постоянного жителя США. Жить с Тоддом, однако, она отказывалась, придумывая разные причины.

Вскоре он узнал, что у нее есть жених в Лос-Анджелесе, к которому она, собственно, и приехала, используя Тодда в качестве транспортного средства. Больше того, жена уговорила его не разводиться, пока она не получит американского гражданства, не то ее вышлют из страны. Потом она начала отсуживать у него все что возможно и невозможно, скандалить из-за каждого пенни и продолжает это делать по сей день, хотя у аспиранта Данки взять практически нечего, кроме старого кресла и спального мешка. Адвокаты в Калифорнии зубастей крокодилов и умеют кушать клиентов лучше, чем где бы то ни было еще.

Тодд ей все оставил, себе из принципа хотел взять фото матери в серебряной рамке. Рамка ему была не нужна, но сколько он себя помнил, она висела в доме матери рядом с иконой. Из какого-то глупого принципа он хотел эту рамку оставить себе. Жена упиралась: не отдаст, потому что рамка ей нравится, и все тут. Судья, то и дело ворчавшая на него, что вот эти свинские мужчины разводятся, бросают невинных женщин и прочее, когда поняла, что жена претендует на фотографию его матери, вдруг стукнула молотком по столу и изрекла нечто внеюрисдикционное: «Не будет этого, мадам! Совесть надо иметь!»

— Теперь не знаю, — печально проговорил Тодд Диане, — надо совесть иметь или не надо.

Как ни смешно, брак его оказался без постели. Без постели для него — она-то жила с женихом. Вот почему Данки избегал рассказывать про это приятелям. Кому охота откровенничать, имея столь оригинальную форму семейной жизни? О, блаженное время наших советских разводов! Собственности никакой, делить нечего, кроме комнаты в коммуналке, которая принадлежит государству. Счет в банке? Но денег никогда не хватало до полочки. В худшем случае при разводе, как выразился один мой знакомый адвокат, придется распилить пополам люстру. Не то в Калифорнии. По закону, муж обязан содержать жену до конца дней после развода так же, как он это делал в браке. Смертельный номер для общества, если, женившись, рискуешь оказаться в западне.

Предстоял еще суд, на котором символическая жена рассчитывала получить от Тодда реальные алименты на свое содержание в будущем, потому что она ведь приехала в Америку вовсе не для того, чтобы работать. Получилось, что Тодд будет кормить и ее жениха, замуж за которого она по этой причине не спешит. Некоторые калифорнийские законы весьма удобны для некоторых нечестных людей.

— Вышел я из зала суда на свежий воздух, — сказал Тодд, — и пожелал больше не жениться никогда.

Диана сидела тихо и, не перебивая, слушала.

— Налейте, — наконец попросила она. — У нас в России мужчинам положено разливать. Выпьем за ваш развод...

И сразу, не ожидая Тодда, выпила до дна.

— Ему тоже нальем, — Тодд подошел к Пушкину с бутылкой. — А то как-то несправедливо.

Воткнув рюмку между фанерных пальцев, он наполнил ее. Пушкин держал рюмку криво, и половина водки пролилась на ковер. Тодд чокнулся сперва с ним, потом с Дианой. Он уминал все подряд, что было выставлено на стол. Через полчаса оба захмелели. Один Пушкин оставался трезвым.

— Давай выпьем на брудершафт, — сказала Моргалкина, от полноты чувств заранее перейдя на «ты». Но придется поцеловаться. Ты не против?

Нет, Данки был не против. Он перегнулся через стол, она подставила ему губы. И как-то само собой они начали обниматься и очутились на диване. Диана вдруг замотала головой, отвела его руки, вскочила и опустила платье.

— Я что-нибудь опять сделал не так? — растерянно спросил Тодд.

— Подожди. Не здесь, здесь плохо!

— Но почему?!

— Он смотрит на нас. Пойдем в другое место.

— Какое — другое?

Диана не ответила. Она вдруг осознала: зачать сына ее и Пушкина надо не здесь. Как она сразу не сообразила? Обязательно в другой, только в той и ни в какой другой квартире!

— Пошли! — прошептала она, натягивая плащ.

Данки нехотя подчинился. Лифт не вызывался. Спотыкаясь, Тодд следовал за Дианой по лестнице. Выйдя из подъезда, она взяла его под руку и вывела на набережную. Ветер разогнал тучи, и на небе висела половинка луны. Шаги гулко отзывались в подворотнях.

Милицонер в Музее на Мойке, дом 12, спал, но, когда Моргалкина позвонила в парадный вход, глянул через стекло, узнал ее и спросил только:

— Тебе чего?

— Открой, Василий, — попросила она. — Мне поработать надо.

Про спутника ее он не спросил, понял, что они вместе, выключил сирену охраны, и Диана с Тоддом вошли. Располневший и в годах Василий опять уселся на стул, надвинул фуражку на глаза и вырубился.

Во тьме Диана шла по музею, как у себя дома, и тянула за руку Тодда. В кабинете Пушкина она остановилась. Свет то ли от луны, то ли от уличного фонаря проходил сквозь щель между шторами.

В голове у Тодда был туман. Он уже перестал удивляться Дианиным прихотям.

— Здесь? — шепотом спросил он.

— Здесь...

Диана сняла плащ, бросила на стул, села на диванчик возле полки с книгами, стиснув коленки, ждала.

— Тут он умер? — продолжал шептать Тодд.

Она кивнула.

Тодд сделал несколько шагов по комнате и вернулся обратно. Что-то его беспокоило.

— У меня к тебе просьба, — вдруг решился он. — Если тебе не трудно... На всякий случай... Напиши на бумажке, что ты сама этого хотела.

— Как это? — она закрыла лицо руками. — Господи, стыд какой! Какой стыд!

— Не обижайся. Просто у нас в Америке все сошли с ума, и с сексуальными домогательствами очень строго. Я бы не хотел сидеть за изнасилование в тюрьме, если ты утром передумаешь и пойдешь в полицию...

— В милицию, — поправила она.

— Да, конечно, в милицию.

— Ни в какую милицию я не пойду.

— Знаю! Но пожалуйста... На всякий случай.

Диана хмыкнула, решительным шагом подошла к выключателю. Вспыхнул свет. Она наклонилась над письменным столом с фигуркой негритенка на нем и ларцом, в котором поэт держал свои рукописи. Сейчас там валялся всякий конторский мусор. Она вытащила из ларца листок бумаги.

— Что писать? — охрипшим вдруг голосом спросила она.

Тодд молчал, не зная, как по-русски пишутся официальные бумаги. Да и на английском он таких бумаг не видел.

— Напиши что-нибудь... Ну, что добровольно...

— Может быть, после?

— Нет, до...

Лицо ее вдруг озарилось.

— «Я, Диана Моргалкина, гражданка Российской Федерации, — медленно произнесла она казенным голосом и написала, — вступила в интимные...» Как лучше — «в интимные» или «в сексуальные»?

— Лучше «в сексуальные», — посоветовал Данки. — Интимные — это может быть все что угодно...

— Значит, «вступила в сексуальные отношения с гражданином США Тоддом Данки по собственному желанию. Никаких юридических и материальных претензий я к мистеру Данки не имею». Годится? Подпись... Как будто **это** у нас уже было, да?

Она расписалась, Тодд сложил и спрятал бумажку в карман пиджака.

— Раздеваться не будем, — строго сказала она. — Отвернись, я сниму колготки. Просто сблизимся, и привет.

— Как сблизимся? — не понял он.

— Тебе лучше знать, как...

— А твой **boy-friend** Пушкин? — Тодд не то чтобы пошутил, просто вырвалось.

— Он мне разрешил...

Диана опять села на диванчик, ждала. Тодд все еще медлил.

— Смотри! — она расстегнула две пуговицы и руками подала ему груди. — Неплохо смотрится при свете луны, да? Ну что же ты стоишь, как истукан? Делай что-нибудь!

— Что это — «истукан»? — он не знал такого слова.

Ее немного знобило, и она не ответила. Подняла руки, положила ладони ему на уши и держала так, пока он не ожил и не решил действовать.

— Ты что же? — через некоторое время спросил он, коснувшись губами ее уха. — Никогда?

— Никогда.

— Эх ты, а еще древнеримская богиня любви!

— Ну и что? Диана — символ девственности.

— Зачем же хранить девственность две тыщи лет?

— Дурак ты! Неужели все американцы такие? Понимаешь, символ...

— Символ-то ладно. Но реально зачем?

Диана закрыла глаза и долго не отвечала. Потом прошептала:

— Так получилось...

Диванчик оказался скрипучим. Не понятно, как Пушкин на таком неудобном отдыхал. Диана ничего не почувствовала, кроме сопения Тодда возле своего уха.

— Ты что, не умеешь? — удивилась Диана.

— Не знаю, не пробовал, — пробормотал Тодд.

— Таких мужчин нету.

— Я вот есть.

— Выходит, и у тебя так получилось?

Получилось быстро, неудобно, нескладно, нелепо, глупо, противно, грязно, мерзко, вообще отвратительно. Но ведь это был не он, не ее Пушкин, успокаивала она себя, только лишь минутный его заместитель. Она быстро натянула колготки и опустила платье.

— У тебя есть пять долларов? — спросила она.

Донор усмехнулся, вытащил из бумажника, протянул ей.

Диана погасила свет, взяла Тодда за руку и, держа в другой руке зеленую пятерку, повела в полутьме к выходу. Милиционер спал, она

хлопнула его пятеркой по фуражке. Он встрепенулся, выключил сигнализацию и открыл дверь. Она сунула ему в руку купюру.

— Я тебя доведу до метро, — Диана взяла Тодда под руку, но тут же, вспомнив Пушкина, отпустила. — Иди за мной, а то еще заблудишься...

По тротуару они шли молча, на некотором расстоянии друг от друга. В сквере у Казанского собора Моргалкина остановилась, поглядела на небо, начала что-то бормотать.

— Ты что, молишься?

— Видишь, какая луна? Это я сама с собой разговариваю, ведь Диана — это богиня Луны. Я — Селена.

В метро «Невский проспект» в этот поздний час спешили редкие прохожие. Протрезвев от холода и дождя, поеживаясь, Данки смотрел на Диану настороженно. Зря я с ней спутался: странное она существо. Не лицемерная, тут что-то другое...

— Извини меня, — сказал Тодд.

— Нет, это ты извини меня, — возразила Моргалкина, глядя в сторону. — Мне не следует тебе этого говорить... Я хотела, чтобы ты помог мне родить ребенка.

— В каком смысле? — он испугался.

— Боже, какой ты недогадливый: в прямом. Я хотела от тебя забеременеть. Наверно, я отвратительная любовница и вообще никудышная баба. Как только свет терпит таких, как я?

Она резко повернулась и побежала. Тодд постоял еще минуту, тупо глядя ей вслед, в растерянности пожал плечами и вошел в вестибюль метро.

На следующее утро Данки улетел рейсом «Аэрофлота» в Сан-Франциско.

11

Моргалкина вернулась домой в полном разладе с собой, а почему, не понимала. Ведь все получилось, как она хотела. Только гармония в душе ее нарушилась. Червь проник в душу, точил ее душу, которая и без того раздиралась сомнениями. Пушкин встретил ее молча, глядел с осуждением. Но ведь сам виноват! Сам вынудил, подтолкнул к такому шагу. Ей не хотелось ни оправдываться, ни вообще с ним разговаривать. Первый раз она не почувствовала радости, когда осталась с Пушкиным наедине. Она решила, что ляжет спать одна. Диана постелила постель, разделась, укрылась одеялом. Он, одетый в зеленый с красным камер-юнкерский мундир, стоял и смотрел. Тогда она сжалилась: поднялась, раздела его и уложила в постель.

— Я тебя ненавижу, — сказала она.

Повернула его лицом к стене и сама легла спиной к нему.

Что-то в ее счастливом браке с Пушкиным с той ночи разладилось. А ему все равно. Диана больше не говорила за себя и за него, молчала. Она сердилась и, сердясь, перестала плакать, когда на экскурсии говорила о его смерти. Так продолжалось месяца полтора, до того дня, когда она наконец поняла, что беременна.

Все вернулось на круги своя. Моргалкину словно подменили. Она ожила, снова спешила домой к своему Пушкину. Она уверила себя и стала уверять его, что он и никто другой — отец ее ребенка. Скоро у меня будет живой маленький Пушкин. Он обязательно тоже станет великим поэтом! Я так хочу!

— Ты рад? — спрашивала она мужа.

Пушкин отвечал ей, что он в восторге.

— У тебя было четверо, — говорила она ему, это пятый, еще мальчик.

— Откуда ты знаешь, что мальчик? — спрашивал Пушкин.

— Знаю, знаю! Назовем Сашей, ладно?

— Но сын Сашка у меня уже был, — сказал Пушкин.

— Ну и что? Ведь тот Саша умер...

В общем, он согласился, что будет Саша. Диане осталось только выносить и родить.

Женщины в музее посплетничали вокруг нее немного. Между собой посмеивались, у нее спрашивали:

— Ну, скажи хоть от кого?

— От Пушкина, — отвечала она.

И это была ее правда.

Впрочем, сослуживицы просто так, для вида приставали: все и без нее знали, что от того приезжего американца.

С животом экскурсии ей стало водить труднее, но она почувствовала особую гордость, когда стало заметно. Блондинкой она быть перестала и даже не заметила этого. Зато важная тайна сделалась явью. Если забыть маленькую неувязку, то вот факт: она носит его ребенка, того, кто хозяин в ее комнате, самого умного и самого великого человека в России, носит нового Пушкина.

Беременность протекала тяжело. Два раза Моргалкина ложилась в больницу на сохранение. Но в больнице было еще хуже, чем дома: полуголодный паек, ухода никакого и лекарств никаких, разве что самой через знакомых удастся достать. Работала она до самого конца, водила экскурсии, несмотря на летнюю духоту, боялась только, как бы в тесноте шустрый экскурсант с ног ее не сбил.

Проснулась Диана утром затемно, почувствовав, что надо идти, а

то дома сама не управится: на помощь-то мужа надежды никакой. Он лежит или стоит, облокотясь на стол, и в одну точку смотрит.

— Эх, Пушкин, Пушкин, — только и произнесла она. — Жди меня, да смотри, никого сюда не приводи!

В роддом Диана по пустынным улицам, поеживаясь от утренней сырости, дошла пешком сама. Принимать ее не хотели, так как все переполнено, посоветовали ехать в другой роддом. Ноги у нее подкосились, и она села на пол в приемной. Позвали дежурную акушерку, та на Моргалкину накричала, мол, нечего прикидываться, не ты первая, не ты последняя рожать просишься. Где на всех на вас место найти? Беременеют и беременеют, как кошки. Но, обругав и поиздевавшись, выгнать почему-то побоялась, и санитарка бросила Диане халат и шлепанцы.

В палате только и разговоров было, что все заражено стафилококком, матери болеют — детям передается, но это ничего, случается, что рождаются и здоровые дети. Диане не пришлось долго в разговорах участвовать. Положили ее на стол, дальше она смутно помнила, как и что, боль только. Да еще акушерка удивилась:

— Ты что ж, девственница? Тоже мне святая Мария... От кого ж ты так, балуясь, понесла?

— От Пушкина, — опять пробормотала Диана в полубреду.

— Хамишь, девка! — обиделась акушерка и больше ее ни о чем не спрашивала.

Моргалкина и сама не знала, что осталась невинной. Гинеколог ей после сказала, что такие беременности имеют место, когда сходятся по быстрой случайности. И многозначительно на нее посмотрела.

Не везло Диане. Роды затянулись. Хотя самому рожать не довелось, процедура эта представляется мне и в легком виде великим мучением и безвестным подвигом во имя человечества. Более серьезным, почетным и наверняка более гуманным, нежели бóльшая часть мужских подвигов, за которые так называемому сильному полу на грудь вешают побрякушки. А уж в тяжелом виде роды — это, наверное, как пытки в застенках инквизиции, даже инструменты похожи. Американские отцы, которые на видеопленку снимают для семейного архива весь процесс, как жены их рожают, вызывают у меня изумление. Я понимаю, что это модно и будет что поглядеть потомкам из жизни их матери и бабушки, но страдание, снятое для развлечения, напрашивается на весьма жесткий комментарий в адрес мужа с видеокамерой.

Моргалкину никто на видео не снимал. Да и поскольку долго она не могла разродиться, никакой видеопленки не хватило бы. Акушерка уходила несколько раз помочь другим, возвращалась, принесла инструмент. Диана кричала в бреду, губы до крови искусала, сознание теряла. Акушерка ей нашатырь в нос заталкивала и по щекам лупила, чтобы в чувство привести.

— Мальчик! — перекричала она вдруг Диану. — Уморила ты меня... Еле вытащила...

Через четыре дня Моргалкина, бледная, как тень, тихо вышла из роддома со своим младенцем на руках. Никто ее не провожал и никто не встречал с цветами. Симпатичный, голубоглазый, курносый, с белесым пушком на макушке Саша спал у нее на руке, изредка причмокивая. Она принесла его домой.

Муж ее стоял возле шкафа в той же позе, в которой она его пять дней назад оставила. Он не взял сына на руки, хотя она гордо показала ему мальчика. Ничего не сказал, просто смотрел. Диана вдруг обиделась, хотя вроде бы ничего не изменилось в нем с тех пор, как они начали жить вместе и обвенчались.

Пушкин оставался таким же, только у Моргалкиной бытие обновилось. Из музея она ушла в долгосрочный отпуск. Сотрудницы скинулись и купили ей пеленок, сложив их в детскую коляску, которая у кого-то нашлась и была щедрой рукой отдана бесплатно. Тамара позвонила, хотела забежать в обед, но Диана, как всегда, воспротивилась, сказала, что лучше встретиться на сквере. Тамара прикатила Диане коляску и прибавила:

— Телепатия существует. Ибо еще у меня для тебя свеженький сюрприз!

Открыв сумочку, она извлекла полосатое авиаписьмо из США, пришедшее в музей. На конверте значилось: «**Ms. Diana Morgalkin**». Диана разорвала конверт. В нем оказался написанный ее собственной рукой документ об отсутствии претензий с ее стороны, к которому прилагалась следующая записка:

Извени за не отдование этого бумагу ранше. Я был дурак попросить его. Теперь зделал себя немношко умней. Привет.

Тодд Данки.

Разговорный русский его был значительно сильнее письменного. Да и вообще без практики любой язык слабеет, выученные правильности ускользают.

— Что он там пишет? — поинтересовалась Тамара.

— Так, чепуха...

Диана разорвала письмо на мелкие кусочки и, не перечитывая, швырнула в тумбу для мусора. Тамара не обиделась, наоборот, посмотрела на нее с печалью и тихо ушла. Диана с коляской, в которую уложила Сашу, отправилась в загс, чтобы ребенка зарегистрировать: без бумажки сын — букашка, а с бумажкой — гражданин Российской Федерации.

Очередь была маленькая, но не двигалась. Оказалось, рядом в зале регистрировали браки. Саша молчал, потом стал сучить ножками и заорал — ни соска, ни грудь не помогали.

— Настоящий мужчина будет, — заметила сидевшая рядом с Дианой женщина, которая разводиться пришла. — До отчаяния доведет, тогда успокоится.

Через полчаса ее пустили. Саша, умница, угомонился. Регистраторша приветливая оказалась, сразу вынула чистый бланк свидетельства о рождении, спросила справочку из роддома, паспорт.

— Какое будет имя у новорожденного?

— Александр, — протянув справку и паспорт, прошептала Диана, на всякий случай покачивая коляску, чтобы сын опять не принялся кричать.

— Надо же, — сказала регистраторша, — сегодня уже четырнадцатый Александр. Или пятнадцатый, я со счета сбилась...

Диана никак не прореагировала, и женщина округлым почерком медленно вписала имя в бланк. Она промокнула чернила тяжелым мраморным пресс-папье, чтобы не размазать и, поглядев в справку из роддома, произнесла как само собой разумеющееся:

— Так... Фамилию напишем — Моргалкин.

— Как это — Моргалкин? — встрепелась Диана. — Его фамилия — Пушкин.

— Не дурачьтесь, девушка! — регистраторша перестала вежливо улыбаться. — Если не ваша фамилия, тогда нужен паспорт отца.

— Где же я вам сейчас возьму паспорт отца? — у Дианы слезы выступили немедленно. — Если не напишете Пушкин, я вообще не буду его регистрировать!

— Нельзя этого делать, — миролюбиво возразила женщина. — Если отца нету, так и сказали бы. А то сразу Пушкин... Святое имя трепать...

Тут мне придется сделать краткое заявление для тех моих читателей, которые уже настроились по предыдущему тексту воспринимать Диану как женщину, у которой, если сравнивать ее с более обыкновенными представителями населения, нас окружающими, есть в быту и в духовной сфере некоторые отклонения в ту или другую сторону. В данном случае г-жа Моргалкина повела себя абсолютно адекватно и сделала то, что сделали бы в подобном случае вы или я — жить-то надо, без маневрирования не обойтись.

Некое объяснение Диана обдумывала не один день (она же не на Луне живет), заготовила заранее и теперь, чтобы не дразнить гусей, изложила какую-то муру о предках своего мужа из некой деревни Пушкино. С мужем она состоит только в церковном браке. Время сейчас на дворе настало такое, что антирелигиозные реплики в российских официальных учреждениях администрацией не приветствуются. Цер-

ковь теперь, как прогрессивные газеты нас поучают, играет влияние и оказывает роль.

— Да! — не давая времени для возражений, будто вспомнила Моргалкина и, еще больше волнуясь, извлекла из коляски прикрытую клеенкой большую и красивую коробку с косметикой. — Вот тут самые необходимые документы...

Регистраторша на эту коробку с документами, переданными Диане братом из Мексики с оказией, бегло взглянула, вздохнув, поднялась, открыла сейф, всунула коробку на полку и тщательно заперла стальную дверцу. Диана с удовлетворением проводила свою коробку глазами и, продолжая покачивать коляску, произнесла:

— Отца моего ребенка зовут Пушкин, Александр Сергеевич.

— Бывают совпадения! — почти без иронии молвила женщина. — Вчера Антона Павловича Чехова зарегистрировала...

Было слышно, как скрипит перо, скользя по плотной гербовой бумаге. Тяжелое мраморное пресс-папье качнулось вправо и влево, после чего печать крепко поцеловала свидетельство, и оно оказалось в руках у Моргалкиной.

12

Вот ведь какой парадокс: богиня Диана, она же Артемида, дочь самого Зевса, действительно была у греков охранительницей матерей. Ее покровительство обеспечивало женщинам благополучные роды. И Диане Моргалкиной она наверняка старалась помочь. Но сама мифическая богиня Диана, в отличие от многих других богинь, почему-то не рожала. Видимо, ехидный человек сочинял древние мифы, оказавшие столь серьезное влияние на человечество. Может, их создатель сам в них не верил? Завести бы богине Диане прекрасного мальчика, а не таскаться по лесам с луком и стрелами в надежде подстрелить лань. Но родить богиня почему-то не смогла. Может, не решила, от кого зачать? боялась гнева отца? или дурного предсказания? Та первая Диана была родной сестрой Аполлона, — не случайно на стене у Дианы Моргалкиной, над диваном, висела сильно запылившаяся, с точками от мух, репродукция со знаменитой картины Брюллова «Встреча Аполлона и Дианы». Пушкин на нее подолгу внимательно смотрел.

— Мой брат Аполлон — прорицатель, бог мудрости, покровитель искусства, — часто повторяла Моргалкина, прикрывая веки, будто вспоминала что-то, с ее собственным детством связанное. — Он — идеал мужской красоты и гармонии. Только таким будет наш с Пушкиным сын!

Год она кормила Сашу грудью, бегала в детскую кухню за бутылочками с молоком и творогом. Мыла мальчика и пеленала, стирала грязные пеленки по три раза на дню, сражаясь с микробами, тщательно проглаживала все утюгом, который приходилось греть на газу на кухне и бежать с ним в комнату. Диана пела песенки, терпеливо ждала, когда Саша встанет на ножки. Ждала, когда покажет пальцем на прислонившегося к шкафу Пушкина, когда заговорит и скажет ему «па-па», как она его каждый день учила. Ждала, когда попросится на горшок. Почему-то все задерживалось. Год прошел, мальчик не произнес ни единого членораздельного слога, ползал на четвереньках, на ноги вставать не хотел, сопротивлялся, кусал мать.

Перед тем как отдать Сашу в ясли и вернуться в родной музей, без которого она уже тосковала, Диана, посадив сына в коляску, двинулась за справкой в детскую поликлинику. Там старая врачиха поморщилась, осмотрев мальчика, велела сделать все анализы. Еще раз ощупав Сашину тельце, выписала направление к невропатологу. Невропатолог тоже ничего толком не объяснила, только молоточком по Сашиним ножкам постучала и выписала квиточки на рентген и к психиатру.

— Зачем к психиатру-то? — спросила в тревоге Диана. — Я вполне нормальная, отец тоже...

Невропатолог посмотрела на Диану внимательно и как-то невнятно объяснила:

— Мальчик медленно развивается. Все что угодно может быть... Может, алкогольное зачатие... Или генетический дефект... Где работаете?

— Я музейный работник...

— Никогда не облучались?

— В музее что ли?

— Мало ли... Теперь где угодно можно облучиться, хоть в трамвае...

Короче говоря, надо мальчика обследовать, тогда видней будет...

Принялись Сашу обследовать, и психиатр — как обухом Диане по голове. Сперва диагноз звучал так: «Олигофрения невыясненной этиологии, проблематично связанная с родовой травмой (щипцы)». Потом, при следующем визите, диагноз еще более ухудшился: «Болезнь Дауна, патология эмбриогенеза». Наконец в истории болезни появилось слово «имбецил», прочитав которое, Моргалкина чуть не потеряла сознание, потому что в промежутке между визитами уже книжки полистала, и там черным по белому писано про таких, что это «ребенок-идиот».

— Боже мой, несчастье-то какое! — причитала она вслух по дороге домой, катя коляску и таща на руках потяжелевшего Сашу. — Какая беда на меня свалилась... За что это, Господи!..

Прохожие на нее оглядывались.

Нескончаемые хождения Дианы по поликлиникам только обнаде-

живали, но положительные результаты никак не проявлялись. Одни советовали массажи, другие чудодейственные средства из Тибета и акулы плавники, третьи говорили, что лучше всего специалистов-дефектологов нанять за наличные деньги и они будут с утра до вечера Сашу развивать. Где же средства взять? Тут уж никакой брат из Мексики не в состоянии помочь. Только результаты, четвертые советчики шептали ей, или будут небольшие и не скоро, или вовсе их не будет.

Диана металась. Пошла в церковь, молилась, молилась неистово, но это пока никак не помогло. Она жила по инерции, крутилась, как всегда, однако это была не жизнь. По ночам плакала, когда Саша спал, сидела возле него, уставясь в одну точку. Под утро проваливалась в сон. Черный тоннель привиделся ей, и она идет, не видя, не слыша. Саша у нее на руках, и Пушкин рядом с ней бредет молча. Шаги ее все быстрее, кто-то ее нагоняет, и тут молния, гром... Она проснулась от крика Саши. Он лежал мокрый. Глянула на календарь, приколотый булавкой к стене — 29 января, день смерти Пушкина.

Хотя для Моргалкиной Пушкин всегда был живой, день этот для нее и для всех сотрудников музея значился траурным. С утра ее самое и всю ее комнату обволокла скорбь. Весь день прошел нервно. Диана места себе не находила. Металась по комнате, вымыла пол, чего года три не делала, мебель передвинула, чуть шкаф на себя не опрокинув, но от всего этого легче не стало. Пушкин, прислоненный к стене, смотрел на происходящее с равнодушием. Саша кричал так, что у нее разболелась голова.

— Да успокой ты его! — ворчала на нее в кухне соседка. — Ночью сама рыдает — через стенку слышать и не заснуть, днем ребенок. Жить в квартире не стало!

Вечером Саша затих и уснул, Моргалкина немного успокоилась. Она села за стол, взяла свой дневник, который аккуратно вела много лет, стала перелистывать, вчитываясь в отдельные места. Потом решительно вскочила, разорвала тетрадь страницу за страницей на мелкие кусочки и выбросила в мусорное ведро. Чтобы никто не попытался извлечь и прочитать, вылила на клочки бутылку подсолнечного масла.

— Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит, —

бормотала она. За окном было не поле темное, а тускло освещенная фонарями Миллионная улица. Пустой автобус, выбросив клуб серого дыма, с ревом сворачивал в проулок. Улицу покрыл снег. Машины

оставляли за собой черные полосы мокрого асфальта. И лучом Диане озарять было некого.

— Ну скажи мне что-нибудь! — в исступлении крикнула она Пушкину. — Ты же отец, глава семьи!

Она стояла, протянув к нему руки, прося о помощи. Почему ее так обделила жизнь? Куда скрыться, чтобы никто не мешал, не топал грязными сапогами, не говорил глупостей о страшных болезнях, чтобы не видеть никого и обрести, наконец, с мужем и сыном полное счастье?

Сперва он по-прежнему молча смотрел на нее и вдруг усмехнулся. Он ждал от нее чего-то. Она всегда действовала в его интересах, но теперь поняла: он и его сын требуют от нее еще больше любви, слияния, проникновения в мир, где находится он, мир холодного дерева и покоя. Нет другого выхода. Внезапно она осознала свою роль и свою ответственность.

На часах было около одиннадцати, когда Моргалкина это окончательно поняла. Молча, стиснув зубы, не торопясь, аккуратно одела и обула сонного Сашу, который на этот раз не сопротивлялся, закуталась в пальто сама. Прижимая одной рукой мальчика, она подхватила другой рукой фанерный контур, одетый в темно-зеленый камер-юнкерский мундир, и Пушкин послушно уткнулся ей в ухо. Дверь в свою комнату Диана тщательно заперла, спустилась в лифте и выбросила ключи в помойку.

Она бежала в ночь. Прохожих не встречалось. По темному коридору улицы летел ей навстречу смешанный с дождем мокрый снег, поддуваемый ветром с залива. Фонари едва просвечивались сквозь метель.

На Дворцовой набережной от прожекторов на крышах стало немного светлее, но ветер и дождь усилились. Диана приостановилась возле скользких гранитных ступеней, ведущих вниз, оглянулась. Никто ее не видел. Она сделала несколько нетвердых шагов по корявому, припорошенному свежим снегом льду Невы. Вдали светился желтыми огнями шпиль Петропавловской крепости. Она спешила туда. Лед был твердый, бугристый, и она побежала, то и дело спотыкаясь, прижимая к себе одной рукой Сашу, другой Пушкина.

Впереди зияла трещина с черной водой.

Два спецназовца с автоматами на шее тяжело топали по пустынной Дворцовой набережной и остановились закурить. Спичку от ветра и дождя прикрыли четырьмя ладонями. Когда задымили, тот из них, что смотрел на Неву, молча указал подбородком другому: темная фигурка двигалась поперек реки в сторону Петропавловки. Почему не по мосту, ведь мосты не разведены? Да и нельзя перейти: в фарватере полынья — вчера ночью ледокол пробил.

Парни перевесили автоматы за плечи, перемахнули через чугунную

ограду и побежали по льду. Один сигарету выбросил, у другого она прилипла к нижней губе. Бежали они осторожно, мягко ступая на лед, иногда проваливаясь в лунки, наполненные снегом.

— Баба, да еще с ребенком, — углядел один.

— И еще кто с ней? — второй продолжал на ходу попыхивать сигаретой.

— Доска вроде какая-то... Может, краденая?.. Эй, девушка, назад! Дуреха! Там прохода нету!

Услышав крики, Моргалкина в панике оглянулась. Двое бегут к ней. Она заметалась, испугавшись, что помешают, не допустят ее к собственному счастью, заспешила вперед, едва не падая. Они вот уже, рядом.

— Назад! Тут лед слабый, не выдержит, — донеслось до нее.

Куски льда плавали у кромки, качаясь на волнах. Диана застыла на миг с широко раскрытыми глазами. В обнимку с Пушкиным и Сашей она резко шагнула вперед, в черную мглу. Ощутила ледяную воду, прикинула губами к холодным губам мужа и, опускаясь вниз, застонала, почувствовав полное соединение с ним, какого у нее раньше не наступало. Пушкин смотрел вдаль, на подбегающих спецназовцев.

Первый парень добежал, рванул за шиворот ребенка у нее из руки. Уходя в воду, Диана оглянулась, крикнула:

— Отдайте!

Взмахнула свободной рукой, пытаюсь забрать с собой выхваченного из ее рук сына, но только проводила его глазами. Второй парень протянул руку, стремясь ухватить Диану за рукав, но льдина под ним начала крошиться, и он, разжав пальцы, упал на спину, чтобы не уйти под лед. Вода колыхнулась, хлюпнула, льдины закачались, накренились, раздвинулись и опять сошлись.

Парни отступили подальше от хрустящей кромки и стояли в растерянности. Доложили по рации начальству и с ребенком на руках, подгоняемые в спины ветром со снегом, молча затопали к берегу.

Фанерного Пушкина, ушедшего под лед в обнимку с Дианой, в устье Невы подцепили рыболовы. Камерюнкерское одеяние вода унесла, парик смыло, и голова стала лысой, краска от дерева отслоилась, вытащили на берег грязный деревянный силуэт. Рыболовы решили было, что это Ленин, выброшенный после недавней демонстрации красных. Но тут обратили внимание на сучок, торчащий пониже пояса.

— Глянь-ка, разве ж у Ленина такая штука была? — задумался один из рыболовной компании. — Ведь он же бездетный...

Он отломал сучок и бросил в костер.

Народец на берегу поспорил немного, но так и не решил загадку. Начали рубить фанерное изваяние на куски, чтобы использовать для костра. Намокшая фанера гореть не хотела, дымилась, вода капала на

сухие дрова. Пришлось мокрые куски из огня вытащить. Их побросали обратно в реку, и течение унесло обломки в залив.

Труп Дианы Моргалкиной не обнаружили. Похорон не было.

13

Тодд Данки вымучил свою диссертацию о феминистских тенденциях в произведениях Пушкина, и профессор Верстакян ее одобрил. Я тоже к этому скрипя сердце руку приложил: диссертация-то выеденного яйца не стоила, но Тодд — хороший парень, коллега Верстакян просил его поддержать. Престижное издательство «*New Academic Press*» согласилось издать книгу молодого ученого Тодда Данки о Пушкине под скромным названием «Первый русский феминист».

На уплотненном рынке университетского труда для столь перспективного слависта нашлось теплое местечко на кафедре иностранных языков в маленьком частном колледже в кукурузном штате Канзас, где Тодда допустили участвовать в конкурсе на должность ассистента профессора, чтобы преподавать там русский язык для начинающих. Он собрался ехать отдохнуть в Грецию: друзья его с улицы Монро договорились взять там на две недели яхту, чтобы поплавать между островами. Неожиданно Тодд передумал.

Никому не сказав ни слова, Данки отстоял очередь в российском консульстве в Сан-Франциско, купил разовую визу, взял билет на «Дельту» и в середине июля с пересадками в Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорке и Франкфурте-на-Майне прилетел в Петербург.

Звонить из Пулкова местным приятелям он не стал, боясь, что опять утонет в беспробудной пьянке, он ведь твердо решил завязать. Автобус привез его к Московскому вокзалу. На табло светилось «13:50». День был облачный и потому не жаркий. Данки закинул чемодан в камеру хранения и вышел на Невский, в чем летел: в джинсах и мятой белой майке. Сонный после перелета, он отправился просто прогуляться и заодно снять номер в какой-нибудь не самой дорогой гостинице. Но через полчаса ноги привели его на Мойку, к дому 12.

Всё в истории повторяется, но иногда обновляются действующие лица. Молоденькая новая кассирша в музее сказала, что Дианы Моргалкиной нет.

— Где она?

— Сказано, нету! — кассирша не стала распространяться перед неизвестным ей иностранцем.

— А Тамара? Тамара работает?

— Тамара ведет экскурсию, ждите.

— Я ее найду.

Тодд было двинулся внутрь.

— Без билета нельзя, молодой человек! Сперва билет возьмите.

Прочитав надпись о новой цене билетов, он протянул купюру кассирше. Она посмотрела ее на свет и убрала в железный ящик.

В кабинете у Пушкина Тодд очутился позади большой группы школьников. Никаких сантиментов по поводу происшедшего с ним в этой комнате он сейчас не испытывал. Он так и не женился, но какие-то соединения осуществлял теперь периодически, нельзя же совсем без этого. Тамара заканчивала экскурсию, скороговоркой сообщая сведения о последних часах раненного на дуэли поэта. Данки никогда Тамару не видел, но она, хотя углядела его всего раз, да и то мельком, едва Тодд приблизился, неизвестным науке женским чутьем сразу его вычислила.

Завершив тур, она увела Тодда, направляя его за локоть, в служебную комнатенку, мимоходом глянула на себя в зеркало, пальцем обвела нижнюю губу, поправляя помаду, спросила:

— Вам Диану?

Он молча кивнул.

— Разве не знаете? Она же умерла.

— Как это — умерла?!

— Руки на себя наложила. Вы же знаете, она чокнутая была...

— Что это — «чокнутая»? — не понял он.

— Ну, со странностями. Психика у нее была слегка того... А мальчик...

— Мальчик?

Данки привалился к стене и поднял руки, словно защищался от удара.

— Какой мальчик?

— Разве она вам не писала? Ребенок, которого она родила...

Тодд поискал глазами стул, сел на него, наконец выдал вопрос:

— Когда?

— Как это — когда?! Тогда! Мальчика забрали в детприемник. Он же числился без отца и остался без матери. Да еще больной.

— Больной как... то есть, чем?

— Не знаю точно... Может, наследственное...

Тамара изучающе на него смотрела. Тодд прикусил губу и долго молчал. Наконец спросил:

— Можно его увидеть?

— Сашу? Тогда подождите полчаса. Вернусь — попробую помочь...

Она убежала на следующую экскурсию. Тодд сидел в комнате, ждал. Входявшие женщины его оглядывали, ухаживали, шептались. Кто-

то предложил ему пиалу чаю. Тамара вернулась, стала звонить куда-то, в конце концов записала адрес и протянула Данки.

— Найдёте?

— Покажу таксисту. Он, наверно, довезет.

— Good luck! — Тамара блеснула эрудицией, погладила его по плечу и даже приложила щекой к жидкой его бороде.

Из такси Данки вылез на окраине города перед каменной стеной, местами сильно обвалившейся.

— Во-он вход, за деревьями, — таксист показал пальцем, развернулся и уехал.

Ржавые железные ворота, когда-то покрашенные зеленой краской, оказались обмотанными цепью. Тодд толкнул калитку — она оказалась не заперта, заскрипела и уперлась в землю. Он пролез в щель и потопал во двор, переступая через лужи, по тропинке, заросшей подорожником. Дом выступил из пышной пыльной зелени старый, примерно такой, как их дом в Пало-Алто, только, судя по шуму, крикам и лицам, выглядывающим из окон, населения в нем было раз в десять больше, чем у них во время тусовки. Его провели к заведующей.

Женщина без возраста, со старомодной косой, уложенной вокруг головы, одетая в когда-то белый халат, на Тодда даже не взглянула, не хотела разговаривать, буркнула, что некогда, прием посетителей завтра. Данки еще в прошлый приезд накопил кое-какой опыт сотрудничества с местными учреждениями, вынул из бумажника две двадцатки, положил перед ней. Она выдвинула ящик стола, смахнула туда деньги.

— Вы ему как — родственник?

— Я его биологический отец.

— Ишь ты! — скривила рот заведующая. — Биологический... Как же это вы ухитрились из Америки? По почте что ль?

— Да вот, — смутился Тодд, — так получилось...

Она и не ждала другого ответа, может, и вообще ответа не ждала. Больше ничего не произнесла, только шумно воздух в нос втянула, осуждая аморальность, имеющую быть на земном шаре, и вышла из комнаты, оставив дверь открытой.

Данки поглядел в окно, на подоконник, загаженный голубиным пометом и пухом. Узкий кусок неба, видный сквозь ветви, прояснился, но солнце в кабинет не пробивалось из-за тополей, росших вплотную к стенам.

В ожидании прошло с четверть часа. Тодд услышал шаги и повернулся.

Белобрысый мальчик, нескладный, с непомерно большой головой неправильной формы, похожей на чайник вверх дном, пошатываясь и волоча ноги, вошел в дверь, выставив руки вперед, словно опирался о воздух, чтобы не упасть.

— Вот ваш Александр Пушкин, — представила заведующая безо всякой иронии. — Выходит, хотя и дебилный, но все-таки наполовину американец?

— Привет, — дружелюбно сказал Тодд ребенку.

Мальчик не ответил и глядел мимо бесцветными, водянистыми глазами.

— Тебя Саша зовут, не так ли? — спросил Тодд.

Саша опять не прореагировал. Заведующая застыла в дверях и, не проявляя никаких чувств, смотрела пристально то на одного, то на другого. Вздохнув, она прошла к столу, оперлась о него двумя кулаками и изобразила нечто отдаленно похожее на улыбку.

— Сдается мне, и вправду похож. Вы, надеюсь, женаты?

— Что? — не расслышал или не понял Тодд.

— Я говорю: надо согласие жены.

— Нет, я не женат... Приехал вот, чтобы жениться на его матери, а она...

— Она была да сплыла... Ну что ж... Оформим усыновление, все по закону. Вам это обойдется в три тысячи долларов. Государству, конечно, не мне... Вообще-то он не совсем здоровый.

Тодд приоткрыл рот, всему удивленный, а она поняла это как вопрос. Повернулась к шкафу красного дерева с резными дверцами, неизвестно как тут очутившемуся, скорей всего от старых, настоящих хозяев дозаворушной поры. Заведующая вытянула с полки папку, бросила на стол, полистала.

— Ага, вот, — продолжила она, ткнув палец в бумагу. — Гидроцефалия у ребенка.

— Что-что? — опять не понял Тодд.

— Чего же вы по-русски так плохо понимаете? — не сдержала она раздражения, о чем тут же и пожалела.

— Извините, — смущенно промямлил он, нисколько не обидевшись.

— Ладно уж, — пробурчала она, перелистнув пару страниц в папке, пробежала глазами по строкам, но что там было написано, не сказала, захлопнула папку и подвела оптимистический итог: — Чем черт не шутит, глядишь — у вас там в Америке его подлечат. Тогда в подростковом возрасте не умрет...

Женщина ждала от Тодда ответа. Он стоял в растерянности.

Саша смотрел в окно на взмахивающего крыльями голубя, севшего на подоконник, и то поднимал, то опускал руки: то ли делал физзарядку, то ли, подражая голубю, тоже собирался взлететь. Мальчик произнес что-то вроде «ва-ва-ва» и притих.

— Нюра! — крикнула заведующая. — Поменяй ему!

Вошла толстозадая нянька с выражением вселенской усталости

на лице. Ворча, ловкими движениями она стащила с мальчика мокрые штаны, бросила их на пол, вынула из кармана халата другие и надела ему.

Тодд продолжал молчать, и заведующая, устав ждать ответа, затопила его, постучав пальцами по столу:

— Ну что, гражданин хороший? Начнем оформлять, или как?

СМЕРТЬ
ЦАРЯ
ФЕДОРА

1

В театр Федор Петрович Коромыслов раньше всегда ходил пешком, а сегодня заколебался, не взять ли ему такси. Но решил старой традиции не изменять.

Главный режиссер Яфаров (говорят, с большими связями) позвонил часа три назад и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о настроении да о самочувствии. Коромыслов злился на Яфарова с тех пор, как тот, воздавая Федору Петровичу почести, одновременно заменял его в спектаклях, пока не вытеснил совсем. И коль звонил теперь, чего-то ему было нужно. Коромыслов уже заготовил отказ, когда Яфаров произнес:

— У нас замена сегодня. «Федора» даем. С тобой...

— То есть? Ведь Скаковский — молодой талант, твои слова!

— Мои... Но сейчас худсовет решил в твою пользу. Прости меня, Петрович, если что не так.

— А репетиция? — возразил Коромыслов, хотя про себя и без яфаровских извинений согласился. — Без прогона не потяну.

— Какая, к дьяволу, репетиция! Ты ж его раз триста играл.

— Больше. Все же надо бы.

— Это просто нереально!

— Ну, пеняй на себя, если...

— Никаких «если», — отпарировал Яфаров. — Все должно быть в полном ажуре!

Чувство своей незаменимости заставило Федора Петровича забыть обиду. Погорячились они тогда, молодежь, а сейчас осознали. Бог их простит. Театру я принадлежу, не им. Театр меня призвал.

Отшагав Большой Харитоньевский и кусок Садового кольца до метро «Красные ворота», которое он упрямо не называл «Лермонтовской» (что, впрочем, создавало неудобства для других), Федор Петрович скосил глаза на новый памятник молоденькому

Лермонтову. Памятник едва было видно в копоты от ревуших грузовиков, двигавшихся густым потоком. Коромыслов ничего не имел против Лермонтова, но и тот, бронзовый, предназначенный выражать восторг от встречи с нашими достижениями во всех областях, стал противен.

С каждым годом это становилось все невыносимее, и дело не в брюзжании Федора Петровича: был тихий переулочек, теперь не продохнешь. Мясницкие ворота стали Кировскими, Кировские — Тургеневской площадью, и нет зуду конца. Стоит раз переименовать, и все хлипчает, и уже не история, а газетные листы ценой в две копейки. Что осталось от Москвы, простоявшей века? От России что осталось?

Он ворчал по привычке, но в настроении была бодрость. Он любил Москву и не только говорил, но действительно считал, что не променяет ее ни на какой другой город мира (других стран он, правда, не видел). И было ясно, что закончит он свои дни здесь, где родился, хотя о конце старался не думать. Не потому, что так уж боялся, просто это был скучный предмет.

Выйдя из дому, он вспомнил, что в возбуждении не пообедал. Домработница Нюша, которая ходила за ним, как за малым дитем, без малого тридцать семь лет, оставила ему инструкцию, в какой кастрюле что, и поехала проверить, не обокрали ли дачу. Нюша боготворила его; одно время они и спали вместе — когда зимы были холодные, плохо топили и вдвоем было теплей. Коромыслов в молодости долго любил женщину, которая состояла замужем за другим актером. Роман этот тянулся годами. Не раз она обещала бросить мужа, но так и не решилась. Из-за ожидания или собственной инерции по части детей и брака Федор Петрович остался бездетным холостяком, что не мешало ему время от времени, а по ситуации и весьма часто, удовлетворяться случайными закусными соединениями.

Нюша была права: надо было самому разогреть обед и поесть дома. Нюша всегда оказывалась в практике права, может, именно потому Коромыслов на ней и не женился.

Не в силах забыть про голод, он стал думать, где бы пообедать. Забегаловки общепита с тухлым запахом отбросов и долго не мытой посуды попадались ему по дороге. Сама мысль заглянуть туда отвращала от еды. Там и слова-то человеческого не услышать, не то что поесть. Он завспоминал старые ресторации, которые в молодости его исчезали заодно с переименованиями улиц, обычаев и всего остального. Те, что сохранились, не узнать.

За теми окнами, где сейчас рыгают командированные с Севера, тогда не просто лопали, но совершали гастрономический обряд. Не просто гурманствовали, но коротали досуг, дискутировали о судьбах России, работали. Что говорить! Станиславский с Немировичем в «Славянском базаре» познакомились. За столиком в «Эрмитаже» Вла-

сий Дорошевич фельетоны строчил, закусывая куриными потрошками. А Пров Садовский? Тот за чарочкой часами просиживал между спектаклями и репетициями.

Размышления кончились тем, что Коромыслов вошел в булочную, выбил в кассе чек и взял батон, отломил горбушку, остальную часть выбросил в урну и, матеря Ньюшу, которая могла бы съездить на дачу в другой день, стал жевать.

Осень, любимое время Федора Петровича, стояла ветреная и бессолнечная; листья с деревьев все поддувало, снег не собирался лечь. Притупив голод и не ощущая холода, Коромыслов в приятной возбужденности легко двигался за кварталом квартал. Он чувствовал себя помолодевшим и совершенно вне времени. Его обгоняли дрожки, респектабельные кареты с гикающими кучерами, ландо, сани, крытые медвежьей шкурой, грузовички с солдатами, «эмки» и «зисы», «волги» и «чайки», а он шагал себе в театр, подгоняемый уличным сквозняком. Тут, возле китайского магазина, встретил Есенина в цилиндре и полосатом шарфе, чисто выбритого и слегка пьяного, как теперь говорят. Возле того угла гаркнул «здравия желаю» Маяковский; этот робот всегда по самому краю тротуара шаги отмерял. Вот здесь, на перекрестке, Марина Цветаева грозила Коромыслову пальцем из пролетки, — никак он теперь не вспомнит, за что. Уж не приревновала ли? Под конец этого долгого маршрута Коромыслов утомился. Все же надо было схватить такси.

Отворя дверь с надписью «Служебный вход», Федор Петрович по инерции поклонился вахтеру и уже занес ногу над ступенькой, когда сбоку из темноты услышал:

— Паспорт, пожалуйста!

Только теперь заметил Коромыслов, что вместо Максимыча, протиравшего стул здесь около полувека, сидит средних лет мужчина в сером костюме и при галстуке. По бокам двери и на лестнице стоят хорошо одетые молодые люди.

— Вы-то, собственно, кто такие будете? — удивился Федор Петрович.

— Ваш паспорт, — спокойно и твердо повторил спрашивавший.

— Это же Коромыслов! — объяснил Максимыч, неизвестно откуда взявшийся, и странно хихикнул. — Здравия желаю, Федор Петрович. Как самочувствие?

— Ничего не понимаю, — ворчал Коромыслов, ощупывая карманы пиджака в поисках документа.

Наконец нашел, протянул, с недоумением ждал.

Мужчина в сером костюме долго переводил глаза с паспорта на самого Коромыслова, поставил отметку в каком-то списке и вернул документ.

— Все в порядке, проходите.

Молодые люди на лестнице отступили в тень. Коромыслов пожал плечами и стал подниматься по ступеням.

В коридорах между уборными ходили новые люди, похожие на статистов из современного спектакля. Впрочем, два раза старые актеры бросились к нему с объятьями. Костюмерша Анфиса зарыдала, упав ему на грудь, и он долго не мог ее успокоить.

— Сейчас я... Мигом все принесу... Разоблачайтесь пока, — причитала она, пятась к двери и размазывая слезы по щекам тыльной стороной ладони. — Вы такой молодой, такой крепкий. Не женились еще? Надо, надо... А я мужа похоронила. Водка проклятая. Не то бы жил, как вы...

Переодевшись, он начал неторопливо гримироваться еще до полчасового сигнала готовности к спектаклю. Делал он это спокойно и размеренно, будто перерыва не было вовсе. Приклеив бороду, прижал ее пальцами, чтобы дать клею схватить. Слыша голоса в коридоре, Коромыслов чувствовал, что температура за кулисами выше нормальной, и по эмоциям встречавших его отнес это к себе, — не из-за нескромности, просто констатируя факт. Суета, однако, мешала ему сосредоточиться, начать другую, царскую жизнь.

На экране пошла рябь и возник занавес. Ведущий спектакля по-прежнему Фалькевич поздоровался и предупредил коллектив об особой тщательности подготовки. Затем он прибавил:

— Вводится народный артист Коромыслов. Труппа вас сердечно приветствует, Федор Петрович. Как там у вас дела? Впрочем, Яфаров вот-вот к вам заглянет.

Яфаров вбежал раскрасневшийся, с одышкой. Прокатился лысоватым коlobком и сзади положил Коромыслову руки на плечи. Говорили, глядя друг на друга в зеркало. Яфаров оглядывал Федора Петровича заботой и даже нежностью.

— Вот здесь, — он указал на левый край бороды, сам взял кисточку, подмазал и прижал к щеке.

— Ты чего за мной, как за бабой, ухаживаешь?

— Уж ты постарайся, Федор Петрович, не посрами!

— Да перед кем не посрамить-то!?! — воскликнул Коромыслов, и проскользнула вдруг мыслишка в подкорке: — Скажи, братец, Христа ради, уважь старика!

— Не мог я тебе по телефону этого сказать, — объяснил Яфаров, перейдя на полусшепот. — Меня предупредили, чтобы не разглашать. Сегодня Сам у нас в ложе.

— Это кто такой — Сам?

— Подумай, тогда и вопрос отпадет. Ну!.. То-то ж! Ведь Сам «Царя Федора» шесть раз уже смотрел. И всегда с тобой... Между нами, Пе-

трович, я был против того, чтобы тебя заменять. Но Скаковский сам знаешь, чей протезе. Министру культуры велели, он нам навязал. Пришлось... Сегодня разве ж мыслимо рисковать? Вся надежда на тебя. Спасай, отец, театр!

Коромыслов поколебался, не спросить ли, чей же протезе Скаковский, но воздержался.

— Не бойсь, Яфаров, — мирно произнес он. — Я таких Самов знаешь сколько перевидал? Самы уходят, а театр все стоит, батенька ты мой! Подумаешь! Тоже мне птица, Сам...

— Тс-с, — Яфаров закатил глаза к потолку и приложил палец к губам. — Знаешь ведь, какое о нас сейчас мнение в некоторых кругах. Дескать, растеряли традиции, любой плебей играет королей... Я, допустим, решительно с этим не согласен, мы идем вперед. Не так быстро, как хотелось бы, но идем. Не можем мы, к сожалению, запретить думать о нас что кому взбредет. Но что будет, если наверх критика доползет?

— Суета! Искусство, братец, выше суеты.

— Это покуда ты не главный режиссер, — уныло пробурчал Яфаров. — Со вчерашнего дня театр лихорадит. Везде личная охрана: «Куда ведет эта лестница? Люк закройте на замок. Вон тот прожектор — в ложу не будет слепить? Этот выход перекроем, зрителям хватит других...» Правильно, конечно. Мало ли что?.. Побегу, взгляну с противоположной стороны в ложу. Если опаздывает, придется занавес задержать.

Все же тот факт, что Яфаров лебезил, был приятен. Старая гвардия не сдастся, и мы пока что незаменимы. Сам тоже эту незаменимость должен увидеть на сцене, чтобы не забеспокоиться от опасной мысли. Вот почему они меня вызвали. Сам шесть раз смотрел и последние два раза всплакнул. Федору Петровичу после осветитель говорил, в каком точно месте. Плакать Сам стал оттого, что постарел, а все же это тоже льстит. И симпатия к нему проскользнула у Коромыслова, обычно всем недовольного. Теперь он на виду у Самого покажет своим гонителям, каков настоящий царь Федор.

2

Тихо и размеренно пошел спектакль. Отключившись от брэнной жизни, царь прошествовал по коридору, поправляя перстни на пальцах, и стал медленно подниматься по винтовой лестнице. Голос помрежа Фалькевича «Коромыслов, ваш выход!» прозвучал в пустой уборной. Двое рослых молодых людей в штатском широченными плечами загораживали железную дверь на сцену. Царь Федор сделал

величественный жест мизинцем, и они отпали к перилам, скороговоркой выдавив:

— Пжалста...

Зал встретил Коромыслова гудением узнавания, после чего пошел бурный аплодисмент, и царь Федор задержал вводную реплику. Несмотря на это, он постарался войти в действие незаметно, сдержанно, и только потом, разогреваясь в федоровских метаниях, сомнениях и страхах, набирал глубину. Труд и опыт долгих лет спрессовались, и алмаз заиграл теперь, заискрился, освободившись от оков брэнного актерского «я».

В какой-то момент это «я» напомнило: разгулялся ты слишком, снижаешь образ, переигрываешь для юмора, уходишь в пародию; раз ты почувствовал это, вот-вот схватят Ирина, Клешнин, Шуйский. Подчинятся тебе, именитому, а там и до зрителя дойдет. Но Федор Петрович не мог остановиться. Он играл теперь себя, каким он был бы на месте царя, и это было как озарение, впрочем, возможно, неуместное. Уходя со сцены под продолжительные аплодисменты, он думал самоудовлетворенно, что царя, мечущегося и слабого, он подал сегодня как никогда, и Самого не могло не пронять, если он не в полном маразме. Коромыслову хотелось, чтобы нынешний царь узнал на сцене себя.

Яфаров принял царя Федора у кулисы в объятия и в ухо ласково проптал:

— Сам дважды аплодировал, и жена тоже. Оба раза тебе. Я, конечно, заранее дал указание добавить пленку с хорошими аплодисментами, чтобы температуру в зале поднять. Но ты, Петрович, молодец. Спасибо, отец! Погорячились мы с твоим уходом. Теперь я за тебя в огонь и в воду. Даже против министра пойду. Проси, что хочешь, хоть полную ставку!..

Коромыслов все это слушал и молча принимал как должное.

Второй акт мчался для него на едином дыхании. Труппа потянулась за старым рубакой, голос которого метался между слабостью и силой, меж ненавистью и лаской. Коромыслов был уверен, что и зал, как всегда, поддастся его гипнозу.

Незанятый в очередной картине Федор Петрович едва успел самодовольно расслабиться на диване, чтобы отдышаться, как вбежал Яфаров.

— Беда-то, беда-то! Ох ты, Господи! — слова лились из него в беспорядке.

— Ведь в середине еще акта я глядел, все было в ажуре. То есть выражения, конечно, не угадал, темно, занавешена ложа. Сейчас нету в ней никого, пустота!

— Может, по нужде прошел?

— Где охрана? Охрану-то сняли!

— Без него охрана не уйдет. Уехал. Это бывает. Мало ли какие дела? Может, чепе какое... Ну, войну кто объявил...

— Ох, Федор Петрович, оптимист ты! Или начхать тебе на все, коль уже на пенсии. А если не понравилось?

— Почему ж «не понравилось»? Скажем, переел чего, желудок схватило или почки... Он ведь постарше меня. Да просто спать захотел!

— Спать? У нас в театре?! Ну, знаешь! — Яфаров причитал, больше не слушая встречных доводов. — С кем посоветоваться? У кого узнать, почему не досидел? Министру культуры доброхоты утром уже донесут. Ведь аплодировал сперва... Плакали наши гастролы в ФРГ.

— Да брось ты! Одному царю не понравился другой, только и делов. Нешто мы непривыкшие? Россия, братец, выдывала разных царей. Кто их знает, что у них на уме, какая вожжа под хвост попала... Плевать!

— Ежели ты такой храбрый, вот и позвони сынку-то Самого. Помнишь, ты с ним когда-то в санатории ЦК водочку кушал? Представь дело посolidнее, побренчи заслугами театра, объясни: так, мол, и так, как следует трактовать? Пусть спросит у папаша. Важно, мол, театру для творческого совершенствования. Да не крути носом! Не мне надо — народу. Вон Охлопков, когда его назначили замминистра культуры, сказал: «Мне легко, я на сцене царей играл». И тебе должно быть легко позвонить. Не откладывай. Попытай счастья, голуба!

Яфаров убежал мелкой трусцой. Видно, не такие уж у него большие связи наверху, раз трясется и даже позвонить боится.

Коромыслову, в отличие от Охлопкова, перевоплощение в цари давалось тяжелым напряжением сил, и его уверенность в себе колебаться не имела права. Сам ушел, не дождавшись того места, где плакал. Значит, не в нем, Коромыслове, дело, и он не может быть виноват. В чем же эта неприятность, постигшая театр? Яфаров прав: попытка — не пытка. Чепуха так чепуха, если же серьезно, узнать, что именно. Сразу после спектакля и позвонить.

Федора Петровича потребовали на выход. Он встал и понес с собой на сцену внезапно свалившуюся ответственность и даже торжество: доказать Яфарову и его людям, что он, Коромыслов, спаситель театра, который они губят, использовать внезапно представившийся шанс. Давно он не волновался перед выходом на сцену. Это была работа. Но тут, ожесточившись на самого себя, он пребывал в напряжении, которое никак не мог подавить привычными усилиями тренированной актерской воли. Вялость разлилась по телу и не проходила.

Поставив декорации восьмой картины, рабочие разбежались за кулисы.

— Подол я вам подшила, Федор Петрович, — прошептала Анфиса, — не беспокойтесь.

Он не заметил, что она стояла позади него на коленях.

— Я пуговицу потерял, Анфиса, — сказал он ей, ткнув себя пальцем в грудь.

— У вас выход, — испугалась костюмерша. — Где же такую сейчас взять? Давайте я пока вам это место через край пришью, чтобы держалось. После уж переделаю.

Кивнув, он смотрел на желтые и красные софиты, которые зажигались парами, подсвечивая своды царских хором. Анфиса склонила голову ему на грудь и зубами перекусила нитку.

— С Богом! — она оглянулась, не смотрит ли кто, и поспешно его перекрестила.

Вялость прошла, но не хватало воздуха. К горлу подступил комок страха. Страх просунул костлявые пальцы под ребра и больно сдавил сердце.

— Что-то света много, — сказал Коромыслов. — Спит!

— Не может того быть, Федор Петрович. Это уж, как всегда. Софиты двадцать лет не меняли.

Он отпустил кулису и прошел на сцену, усевшись в резное царское кресло. Его одежды, хотя и на марле, и мех не соболий — синтетика, мешали дышать.

— Занавес! — донеслась до него из репродуктора команда Фалькевича, и сразу загудел мотор.

Из зала хлынула волна воздуха с запахом человеческого пота и духов. Боль исчезла, или, может, он забыл про нее. И вдруг снова сжало. Царь Федор обтер пот с лица, как того требовала роль, и погрузился в государственные бумаги. Ирина положила ему на плечо руку: «Ты отдохнул бы, Федор...»

Давно привык Коромыслов: едва он начинал работать, в зале устанавливалась тишина, хотя он еще не бросил ни реплики. Произнося монологи, он умел полностью владеть залом. Мог смять его в комок или расшевелить одним жестом, одной интонацией. Но тут тишина в зале стояла особая. Никто не кашлянул, не задел о подлокотник биноклем, будто боль коромысловского сердца передалась всем и все боялись дыхнуть, чтобы у него не кольнуло под лопаткой.

Сидя на троне, он незаметно расслабил тело и чуть прищурил глаза. Так стало легче говорить. Но уже надо было встать, потому что вошел Клешнин «от хвораго от твоего слуги, от Годунова».

Играя, Коромыслов никогда не думал, что должен сделать в данный момент. Все свершалось само собой. Режиссерские находки автоматизировались в нем, исходили от самого его существа, и все бы катилось дальше, если б не эта жгущая боль.

Он старался незаметно повернуть лицо к залу — оттуда тек воздух, и ему легче было глотать его. Стало совсем худо, и он вспомнил о нитроглицерине. Нюша аккуратно клала ему трубочку во внутренний

карман, на всякий случай специально пришитый к его нижней рубашке, и напоминала: если что, вынуть таблетку и пососать. Чтобы достать нитроглицерин, нужно расстегнуть тяжелое платье. Он ощупал пуговицы, но той, которую надо отстегнуть, не нашел. Одну полу к другой Анфиса пришила суровой ниткой. Федор Петрович попробовал оторвать пришитое, но не хватило сил. Черт дернул сказать Анфисе про пуговицу.

Между тем он продолжал играть.

3

Коромыслову шел семидесятый год, не так уж много для человека его комплекции и здоровья.

— Я мужик, меня ничто не берет, — хвастался он и давал потрогать бицепс.

Сердце стало пошаливать последние года полтора. И почему-то сразу сильно.

Не ходил он к врачам: не жаловал их с детства. Весной наскоком устроили в театре всем поголовно профилактический осмотр. Не хотелось перед молодыми казаться упрямым стариком, и дал он себя ощупать. Врачиха из спецполиклиники, помяв ему живот, чуть-чуть послушала сердце, похлопала по плечу и отошла пошептаться к коллеге. Коромыслов самодовольно усмехнулся. Но они вернулись вдвоем, слушали обе и морщились. Потом вторая врачиха взяла листок бумаги, написала номер своего кабинета и велела явиться назавтра к ней в поликлинику.

— Хотя вы и царь, сердце у вас, как у овечки. Манкировать не советую.

Он был абсолютно уверен, что это чепуха. Но электрокардиограммы, анализы крови, мочи и еще чего-то скоро выросли в толстенную историю болезни, которую он назвал таинственной комедией, сочиненной про его жизнь врачами. Текст врачи, как известно, в руки пациентам не дают, а играть эту комедию приходится.

Когда обследования в спецполиклинике закончились, профессор Бродер, который годился Федору Петровичу в сыновья, встал и поучительно положил ему руку на плечо.

— Я вас уважаю, не раз видел на сцене, знаю, что театру без вас будет плохо и вам без театра...

Бродер не договорил и посмотрел в глаза Коромыслову.

Не понял тогда Федор Петрович, в чем дело, или просто не хотел понять и рассказал Бродеру историю, которую ему поведал актер Абдулов. Лежал он в одиночестве с приступом грудной жабы. Еле-еле

дополз до телефона и звонит врачу. Врач отвечает, что болен. «Лучше приходите, — говорит ему Осип, — иначе будете отвечать». Врач пришел и упал. Абдулов притащил его на кровать и, слушая указания, стал давать лекарства. Привел он врача в чувство, с сердцем у того полегчало, и врач ушел домой. Через несколько дней, когда Абдулов, отлежавшись, выздоровел, он опять позвонил врачу справиться о здоровье. Ему ответили: «Доктор умер...»

Бродер выслушал со снисходительной улыбкой.

— Запретить вам не могу, но заявляю, что частые стрессы вам противопоказаны категорически. Я бы на вашем месте себя пощадил: на сцену раз в неделю, больше — это риск. Не сокращайте себе жизнь. Катайтесь по санаториям, кроме юга, конечно. Гуляйте по скверу, уезжайте на дачу. За девушками можно... подглядывать. Иначе — за последствия не отвечаю.

Скрыл бы Коромыслов эту кутерьму от дирекции, да Бродер дорожку перебежал: увидел имя пациента на афише и рассказал Яфарову, с которым, как оказалось, был знаком. Тот использовал представившийся козырь: в интересах сохранения здоровья Коромылова сократить его рабочий репертуар.

Безо всякой ложной скромности Федор Петрович полагал, что театр с его уходом терял свое величие и компенсировать утрату нечем. Яфаров считал иначе: прогресс искусства неостановим, и новое должно, согласно диалектике, побеждать старое. Практически Яфаров под этим подразумевал выведение на первые роли нужных людей и заодно избавление от тех стариков, которые своим занудством и ссылками на классику препятствовали принятию новых пьес из Министерства культуры.

Трудность оставалась только с «Царем Федором Иоанновичем». Отменять постановку, идущую с 1896 года, не разрешали, и теперь худсовет собрался, чтобы найти выход, то есть альтернативу Коромыслову. Ввели нового Федора — Скаковского. К седьмому прогону тот пообтесался, спектакль заковылял и вскоре появился на афишах без Коромылова, будто его никогда и не было. Доживающие до пенсии актеры утешали:

— Ну чего нам, Федя, нужно? Талант, деньги, слава, ордена, дача — все тебе дадено. Смири гордыню! Собирай теперь спичечные этикетки, как Качалов, или черепаху купи в зоомагазине на Кузнецком и гляди, как ползает. Да оглянись на свое прошлое существование: отдыхали мы когда-нибудь? Зациклился ты, Федя, уймись! И паровозу передых нужен.

Не возражал он, только рассматривал советчиков как диковинные экспонаты. В чем они хотят его убедить? Черепаха ему не нужна, и он не паровоз.

Был он гибридом простых и благородных кровей. Отец его, потомственный дворянин, две трети сознательной жизни провел в Италии, а в один из заездов в златоглавую согрешил с молоденькой прислужгой, зачав народного артиста СССР. До революции Коромыслов выпячивал первую ветвь своих предков, после — вторую.

Желторотым мальчишкой бегал он в этот театр, деньги собирал по копейке, экономя на гимназических завтраках. В первую мировую Коромыслов остался без отца, в революцию — без матери. Голодал, осваивал театр с черного хода, чтобы попасть в него хоть кем-нибудь, лишь бы очутиться за кулисами. Театральный буфетчик приспособил его гардеробщиком, поскольку за право иметь доход от буфета обязан был содержать гардероб бесплатно.

Повесив все пальто зрителей, Федор надрывал живот ящиками с бутылками сидра и шампанского, таская их на второй этаж; раздав все пальто после спектакля, мыл и протирал бокалы. На репетициях разносил чай в уборные к артистам, и его любили за то, что не отказывал принести рюмашечку по-тихому и ловко пародировал актеров. В пародии он попался на глаза Мейерхольду, тот сказал о нем Немировичу. Как любил повторять Федор Петрович, Немирович согласовал вопрос с Данченко и заметил:

— Этого страшно запускать статистом. Уж больно внимание к себе притягивает.

Но — с одной репликой, в переднике и при метле, Немирович-Данченко его на сцену выпустил. С того момента, как вспоминал Коромыслов в ЦДРИ на своем шестидесятилетии, я стал солистом богемы. От богемы-то одно название, остальное — пот. В поту и пошла далее его карьера, а то, что до, кроме и после, — было предисловием, примечаниями, комментариями, которые вполне можно выкинуть как несущественные.

Приняв его тело, театр потребовал душу.

С детства он был человеком набожным, но в церковь давно уже ходить остерегался, и Нюша на всякий случай перевесила Богородицу к себе в комнату. Потом пошло в театре веяние, что героев Октября должны играть члены партии, и он повесил на себя этот ярлык, хотя не очень понимал, зачем он ему. Пьесы казались ему бесчувственными, он говорил, что играет не роль, а текст. И все же играл. В этом была даже увлекательность — вытягивать ничтожные характеры за счет своего божьего дара. Студенты из училища спрашивали:

— Передовую «Правды» сможете сыграть?

И он отвечал:

— Еще как!

Ему дали звание народного и от имени театра поручили выступить с благодарностью и хвалой Сталину — организатору и вдохновите-

лю театрального искусства. Он оглаживал своим бархатным голосом гальку пустых и, в сущности, ничтожных слов, написанных специально по этому случаю, и произвел впечатление. На банкете его подвели к Сталину, и рука Федора Петровича была им лично пожата. После этого потекли одна за другой Сталинские премии. Однажды ему сказали, что всех, кто играет с ним в спектаклях, не сажают благодаря ему. Но это не была ни заслуга, ни забота Коромыслова — ему просто везло.

Уже после смерти Сталина реабилитированный Мордвинов, вернувшись из мест отдаленных, сказал Федору Петровичу, что у них там, в лагерном театре, лучшие актерские силы были, а все же отсутствие Коромыслова ощущалось.

В том потоке сиюминутных пьес толстовский «Царь Федор Иоаннович» почему-то оставался, следовательно, оставался Коромыслов.

— Тебя специально при рождении Федором обозвали, предвидели, — под выпивку гудели приятели. — Только чего рвешь себя на части? Втянулся, ну и играй спокойно. Ремесло ведь!

Он чувствовал, что сохраняет себя в этой роли от измельчания. «Царь Федор» был для него в потоке времени, смешанном с дерьмом, опорой, связью веж, знаком того, что еще не все затоптано вокруг и в душе его. Остальное пошло в распыл, только этот старый дуб зеленел.

В театр Коромыслов спешил, будто опаздывал, хотя являлся задолго. Обратно шел медленно и бесцельно. Он не знал, чего нет в магазинах, как живут люди, зачем производят детей. Собственный дом был для него ночлежкой, где он имел койку, окруженную дорогой мебелью, которая нужна была только Нюше, чтобы протирать пыль. Сплетни, подсиживания, призывы и указания сверху он воспринимал как суету. Важно только то, что на сцене, тут — жизнь. В другой, действительной жизни все есть игра.

Оставшись без «Федора», единственной своей опоры, Коромыслов, однако, не приостановился, но углублялся в унижение и халтуру, боясь потерять все. Он согласился играть утренние спектакли для детей.

По воскресеньям зал набивали ребятней всех возрастов. Младшие дохрустывали вафли, принесенные из буфета, отношение к действию высказывали вслух и во время акта ходили по проходам.

— Федя, на кой тебе эти грошовые утренники?

— Да для поддержания формы. У меня, братцы, отдача полнее с утра, когда я еще не устал.

Врал Федор Петрович. Скучно ему было дома, хоть вешайся, в театре же все трудней.

В новой пьесе о рабочем классе «Металлурги» Яфаров дал ему маленькую роль, полагая, что Коромыслов оскорбится. А он взял. Конфликт вышел из другого. Яфаров вдвухвал воздух в мертвые легкие пье-

сы, искал оживления. Старый кадровый рабочий должен был, по замыслу Яфарова, выезжать на сцену на велосипеде.

— Я-то выеду, мне что, — согласился Федор Петрович. — Но зритель только и будет думать, свалюсь я в оркестровую яму или нет.

— Не учи меня! — огрызнулся Яфаров. — В Большом вон слона выводят на сцену, и то ничего.

— Так то ж Большой, для иностранцев показуха. Здесь кто же тебя научит? Металлурки? — он на ходу переделал слово. — На театре уцелели единицы, еще помнящие, что есть искусство. И эти единицы уходят. Вы наследники, а тайны нашего дела спешите выбросить на помойку. Ну и куда же вы будете двигаться?

— Голуба! — примирительно отреагировал Яфаров. — Театр меняется. Пойми, теперь другие масштабы режиссуры. Играет коллектив. Не я это придумал — эпоха. Звезды только дробят генеральный замысел. Ты, Федор Петрович, при всей нашей любви к тебе, человек предыдущего времени. Тебе этого уже не понять.

Коромыслов сдался. За последние месяцы он привык к мысли, что театру он обуза. Халтура, забвение старых заветов проще и потому удобнее. Организация дела вполне заменила талант. Махнул рукой Федор Петрович и, сославшись на здоровье, ушел совсем. В «Металлургах» его без особого труда заменили.

Всю весну он гулял от Мясницких ворот до Никитских и обратно, хотя это было противно и глупо.

— Как здоровье, Федя? — встречал его кто-либо из стариков.

— «Всем ведомо, что я недолговечен; недаром тут, под ложечкой, болит», — играл он Федора Иоанновича, но тут же добавлял:— Да ничего у меня не болит. Ну их всех! «Я царь или не царь? Царь иль не царь?» Общупали меня и кляузу сочинили, а я здоровше их всех вместе, как козел в марте.

Едва потеплело, они с Нюшей уехали на дачу. Он гулял в саду вдвоем с котом и с ним беседовал. Кот этот облегчал переустройство психики Федора Петровича, трогал своей дружбой. Однажды вечером кот появился на террасе, мяукнув, словно звал куда-то хозяина. Хозяин встал, побрел за ним. Кот бежал впереди, показывая дорогу, и привел его к двум кошкам, ожидавшим у калитки. Вот какая это была щедрая дружба: он привел двух кошек — одну себе, другую Федору Петровичу. В конце лета кота сбил мотоциклист, и Коромыслов с Нюшей похоронили его в саду под сливой.

В сентябре прослышал он, что в театральном музее Бахрушина есть стенд с фотографиями, рассказывающий о творческом пути народного артиста Коромыслова. Он поехал посмотреть. Молоденькая девушка-экскурсовод что-то бормотала группе беззаботных школьников, к которой он пристроился. Когда он после экскурсии назвал себя, девушка испугалась:

— Вы разве живы?

«Да я царь этого театра! — хотел крикнуть он. — Все вымерли. Я последний мамонт...»

Но, конечно, ничего не произнес вслух, понимая эту девушку, которая твердо знала, что экспонаты покоятся на стендах, а не приходят на экскурсию посмотреть на себя.

4

С искаженным от боли лицом Федор Петрович продолжал работать на сцене. Он вдруг отчетливо ощутил, что потерял контакт с актерами, играет в неживом театре один. Вокруг по сцене ходят тени. Яфаров искорежил пьесу новыми вводами, сделал вырезки, и изуродованный текст не узнать. Он, Коромыслов, один играл в ней всерьез, но силы иссякали. Да Яфарова за сто верст нельзя к сцене подпускать. Он насильник Мельпомены, могильщик искусства. Коромыслову с ним не по пути, и зря он нынче согласился. Потрафил мелкому своему честолюбию, стал ширмой, прикрыл позор своей широкой спиной.

И мысль, простая, как глоток воды, сейчас, на сцене, вышла на поверхность сознания Федора Петровича: он один — театр. Только поэтому противился он уходу — они не понимали этого, — сопротивлялся не для себя. Злобы к Яфарову Федор Петрович не имел. У того ведь трое детей, большая жена, две пожизненные любовницы, одна почка и квартира, только что полученная от министерства, которую надо оправдать, затем получить казенную дачу. Театр заботил Коромыслова, вызывал тревогу, почти отчаяние. Театр умирал — Коромыслов спасал театр. Последнее усилие, чтобы поддержать умирающего. Может, следом за пьесой уже и театр умер? Я еще кое-как брожу по сцене, да я-то живой ли?

Действие достигло покоев царицы в царском тереме. Впервые в жизни Коромыслов отделился от роли, играл ее автоматически, а мыслями, и заботами, и горестью своей был вне и не мог возвратиться. Сдавливало виски, он то и дело подносил руки к шее, пытаясь оттянуть воротник, вздохнуть поглубже, но вздохнуть не мог: каждый раз слева чувствовал укол. Он плохо видел вбежавшего Шаховского и никак не мог ухватить рукой протянутую ему челобитную. Еще немного, и кончится, кончится, все-таки кончится эта картина. В следующей меня нет, после антракта. Там ужо отдышусь.

Но картина никак не кончалась, и он не очень был уверен, действует ли он, произносит ли те слова, что надо, или ему только кажется.

Яфаров и остальные, они победили, выбили его из колеи. Он потерял уверенность в единственной правильности интонации и жеста, которая была ему свойственна всю жизнь. Он поплыл. Они — мертвецы, но ведь и меня умертвили, и я плохо играю. Зритель кашляет все время. Это не оттого, что эпидемия гриппа. Это я вял, скучен, работаю без огня. Сам пришел в театр в сентиментальном состоянии поплакать, но понял, что не заплачет, и ушел домой, чтобы напиться. Почему мне так плохо? Это от усталости, от бесполезности борьбы я... я... я...

Мысль закрутилась на одной букве, заякала и превратилась в серию искр, взлетевших в высоту сцены и одновременно погасших. Ногги впились в ладони. Он заметался, сидя на царском троне, сник и вдруг ясно понял, что играет смерть.

Такой роли ему раньше не поручали, да и никак не могли поручить, ибо играл он смерть свою собственную. Роль эта неожиданно потребовала от него такой силы, какой он не обладал. И душа его рванулась, пытаясь преодолеть самое себя.

Рука царская напряжением всех мускулов судорожно обхватила государственную печать. Язык облизал горячие и сухие губы, и царь Федор с ненавистью бросил:

— «Тебя — мою Ирину — тебя постричь!»

— «Ведь этого не будет!» — бросилась перед ним на колени Ирина, наконец дождавшись реплики, с которой он так долго тянул.

— «Не будет! Нет! — поднялся во весь рост Федор Иоаннович, произнося фразы, которых мозг уже не понимал. — Не дам тебя в обиду! Пускай придут! Пусть с пушками придут! Пусть попытаются!»

Он сделал несколько хаотических, пьяных шагов навстречу князю Ивану Петровичу Шуйскому, взмахнул рукой, угрожая проклятьем, и захлебнулся. Боль заволокла сознание и свела тело. Князь Шуйский качнулся и стал падать на Коромыслова. Поняв, что тело больше ему не подчиняется, Федор Петрович попытался сделать шаг, чтобы уйти со сцены. Еще один шаг... Кулиса подплыла к нему синим облаком, и он повис на этом облаке, обняв его, как последнее живое существо, которому он мог отдать неизрасходованную ласку. Затрещали гнилые нитки, не выдержав веса тяжелого тела, потому что кулису Федор Петрович обнимал уже мертвый.

Костюмерша Анфиса, поняв, рванулась к нему, первый раз в жизни показавшись зрителю. В партере кто-то засмеялся. Анфиса не удержала тяжелого тела, и оно осело на пол.

Занавес быстро закрыли. Немногие зрители успели заметить и сообразить, что произошло, но неизвестная тревога передалась всему залу. Главного режиссера немедленно вызвали из кабинета.

— Наверх он позвонил? — спрашивал Яфаров, пробираясь сквозь плотное кольцо. — Узнал что-нибудь плохое?

Никто не мог ему ответить, только пропустили вперед. Медсестра уже сложила руки Федора Петровича на груди, медленно опустила ему веки, придерживав их пальцами, и стала разбирать шприц.

Яфаров опустился рядом с ней на колени и сжимал себе виски, будто сомневался в том, что видит.

— Федор Петрович, — глухо пробормотал он, поправляя мятого синтетического соболя на расшитом золотом царском одеянии, — прости меня, грешного, дорогой ты наш товарищ, прости нас всех. Во, несчастье-то какое... Вот ведь...

— Чего ж несчастье? Для нашего брата всегда почиталось за счастье на сцене умереть.

— Да ведь не в таком же ответственном спектакле! — Яфаров поднялся с колен. — А если бы...

Он не договорил, но все поняли. Яфаров подумал, что Сам, может, и вправду семи пядей во лбу: предчувствовал и потому отбыл раньше.

— Где «скорая»? Вызвали? — чтобы прийти в себя, режиссер принялся за распоряжения.

— «Скорая» прибудет вот-вот.

— Родным сообщили?

— Какая у него родня! Домработница... Чего ей сюда ехать, когда его в морг...

— Кто залу объявит? — спросил Фалькевич.

— Я, кто же еще? — с остервенением ответил Яфаров, отряхивая колени. Фалькевич подбежал к микрофону, скомандовал:

— Свет белый с двух сторон на занавес! Рампу в полнакала.

После краткого сосредоточения Яфаров отогнул занавес и вышел под свет. В зале установилась уважительная тишина. Медленно подбирая слова, Яфаров объявил, что ввиду внезапного заболевания актера, администрация театра приносит извинения за спектакль, не доведенный до конца. Он не знал, можно ли без согласования с руководством сказать о смерти, и не назвал также имени актера.

Билетерши уже успели по своим каналам узнать, в чем дело, и сообщили тайну своим зрителям, которых они пропустили за наличные — скромную прибавку к мизерной зарплате, а те передали новость соседям. К моменту выхода главного режиссера на авансцену часть зала правду знала, другие догадывались, и зал гудел ульем. Но поскольку правда эта была неофициальной, к сокрытию ее главным режиссером все отнеслись с пониманием.

Некоторое время Яфаров постоял с разведенными в извиняющемся жесте руками, ожидая, пока зрители начнут подниматься. Зрители, однако, ждали, пока он уйдет со сцены и в зале дадут свет. Когда это произошло, зал постепенно зашуршал, люди начали вставать, и обычная гардеробная толкотня взяла всех в свою власть.

Выходя из театра, зрители в нерешительности останавливались. У театрального подъезда, запрудив улицу, образовалась толпа.

— Там есть смерть Шуйского, есть смерть Дмитрия, — рассуждал филологического вида юноша в кругу симпатичных подружек. — Черт его знает, может, Федор тоже должен был умереть? Поднимите руки, кто в школе историю проходил?

Театралы, тихонечко переговариваясь, пробирались поближе к служебному входу, ждали. Молодые люди подсаживали друг на сваленные штабелями декорации. Потом все зашевелились, задвигались, стали давить друг на друга. Из ворот выехала «скорая». Она притормозила, замигала фарами, тронулась, опять замигала.

— В реанимацию, — сказал голос в толпе.

— Поздно в реанимацию, умер...

— Почему — умер? — спросили одинаково с разных сторон.

— Если бы не умер, «скорая» сирену бы включила. Теперь ему спешить некуда.

— Не знаете, а говорите! Яфаров объявил, что заболел. Значит, приступ. Сейчас таких подымают.

— Подымают да в гроб кладут.

Это уже оказался чужой гражданин, неизвестно почему проникший в толпу людей, причастных к театру. О ком идет речь, он не знал, но, дыша водочкой, свое мнение изложил:

— Ждите, подымут! У меня тетка два месяца лежала. Сказали, пускай гуляет. Она встала — и с копыт долой.

У случайного гражданина нашлись единомышленники.

— Сейчас, говорят, или инфаркт, или рак — только и выбирай.

— Врут всё! Помереть от чего хошь можно: и от гриппа, и от бутылки.

— Народ мудёр, все-то он знает, — пробурчал старичок в обтертом пальто.

— Ах, Наташа! Смерть царей в России — самое любимое зрелище, — тихо говорил, выбираясь из толпы и вытаскивая за руку свою полную подругу, седой интеллигентный человек без шапки. — Тут нашему народу и хлеба не надо. Посмотрели, разошлись — и счастливы. Пойдем, Наташенька!

— Разговорились! Дайте «скорой»-то проехать. Все-таки артист!

— Да что артист? Ему что царя, что Ивана-дурака играть. Профессия.

— Так-то оно так, а все же, видно, нервное дело играть царей, раз при исполнении сгорел.

— Не слушай их, Наташа! Пошли спать...

«Скорая» выбралась наконец на улицу и тихо, не включая сирены, покатила мимо театра по улице. Три с половиной столетия спустя по Москве вторично везли в последний путь царя Федора Иоанновича. Однако на этот раз царь был в гриме.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

ЖАНР ДЛЯ XXI ВЕКА

«- Paul! - закричала графиня из-за ширмов, - пришли мне какой-нибудь новый роман, только пожалуйста не из нынешних.

- Как это, grand'maman?

- То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленных!

- Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

- А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!»

А. Пушкин.

Микророман «Пиковая дама».

Заметки эти возникли после перечитывания Гилберта Честертона, который сказал, что искусство — это всегда некое ограничение, и смысл картины заключен в ее раме. Жанр и есть рама, в которой писатель выставляет перед читателем свой реализованный замысел. Автор и только он определяет размеры рамы, обозначив свой жанр. Даже если жанр не обоснован, писатель, в отличие от теоретика лите-

ратуры, имеет право на некоторую долю абсурда, или, как сейчас говорят, непонятку, — иначе скучно жить и, тем более, писать.

Хрестоматийные примеры, какую ни подводи научную базу, являют нам авторский субъективизм. «Мертвые души» — стали поэмой по воле Гоголя. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», названные так автором — рассказы. Однако в сопровождающем рукопись письме к издателю Плетневу Пушкин называл повести сказками. Пушкин поименовал «Медного всадника» петербургской повестью, а в конце вступления к поэме — сам же назвал рассказом. «Евгений Онегин» по байроновским моделям — поэма, не роман, но это, конечно же, роман в стихах, состоявший, согласно замыслу автора, из песен.

«Герой нашего времени» выходил отдельными повестями, а целиком Лермонтов издал его с подзаголовком «Сочинение», хотя это роман в рассказах или, скорее, в новеллах с элементами дневника путешественника. «Яма» Куприна — повесть, хотя объем ее равен двум современным романам. «Бедные люди» Достоевского и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына — по жанру классические повести. Солженицын назвал «Щ-854 (Один день одного зека)» рассказом. Твардовский, редактор «Нового мира», против воли автора поменял жанр на «повесть». Заменили и название. А в Западных публикациях «Один день Ивана Денисовича» называется романом.

«Мать Горького» — повесть, но произведена в романы, чтобы исток соцреализма выглядел солиднее. «Жизнь Клима Самгина», считавшуюся другим классическим образцом не просто романа, но — «романа социалистического реализма» (особый термин, см. например: «Словарь литературоведческих терминов, 1974), Горький тоже назвал повестью. И действительно, в раму романа это медленное, перегруженное второстепенными деталями повествование толщиной 2077 страниц не втолкнешь. Для «Самгина» был также придуман специальный жанр «монументальная повесть».

Жанр романа «Чапаев», которым, писалось в Литературной энциклопедии, заложены «основы эпической формы в советской прозе», не сильно образованный автор его Дмитрий Фурманов определил как «очерк». Пастернак, работая над «Доктором Живаго», в начале пятнадцатой части назвал свое произведение «повестью», а в письмах «романом в прозе», «большой прозой» и «большим письмом». Жанр этого произведения, по мнению

Е.Зотовой, «можно определить как псевдовоспоминания, воспоминания о вымышленных современниках». «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева являет собой рассказ (пьяную исповедь о коротком вояже), а назван автором «поэмой» (иронический поклон Гоголю?). Авторское определение «поэма» исчезло у первых издателей, конечно же, не по авторской воле, и лишь позже восстановлено.

Примеры можно продолжать нанизывать на этот шампур. Трудно не согласиться со словами Л.Тимофеева, сказанными (подчеркну это) еще в шестидесятые годы: «В нашей критике иногда к жанровым определениям подходят как к табели о рангах и отнесение, скажем, «Чапаева» Д.Фурманова к числу повестей, а не романов рассматривают как недостаточное уважение к памяти автора этой книги. Понятно, однако, что она не станет ни лучше, ни хуже от ее жанрового определения». Это, хотя не в столь безысходной ситуации, имеет место и сегодня.

Отстранившись от политической конъюнктурности, признаемся, что подбор рамы для произведения труден и в теории, где на каждом шагу встречаются справедливые оговорки об условности любого жанра. Речь идет не о прокрустовом ложе, но об адекватности содержания и формы. Другими словами, можно ли вставить маленькую книжную иллюстрацию, ну что ли, в раму картины Сурикова «Боярыня Морозова» или, наоборот — само такое полотно во всю стену зала в Третьяковке вставить в настольную рамку для фото?

ГЕНЕТИКА ЖАНРОВ И ПОИСКИ НИШИ

Русский рассказ, как известно, вытанцевался из западной новеллы или под ее влиянием. В свое время Б.Томашевский упростил задачу, просто поставив знак равенства между новеллой и рассказом, заявив: рассказ — русский термин для новеллы. Новелла явилась из анекдота, который, однако, необходимо уметь рассказать. Она ведет отсчет от Боккаччо. Новеллу его о Торелло, приручавшем соколов и затем прилетевшем на кровати к собственной жене («Декамерон», глава девятая) Пауль Хейзе, сам новеллист и литературовед, использовал для термина «соколиная новелла», одно время модного среди немецких критиков. Так, у

нас говорят «чеховская новелла», хотя Чехов чаще подлинный рассказчик, а не новеллист, в сравнении, скажем, с О'Генри.

В отечественном литературоведении рассказ порой смешивается даже с очерком. Но такое упрощение таит опасность размывания русского смысла прозы. Оксфордский словарь переводит слово «новелла», как повесть, а Американский толковый словарь Уильяма Морриса — как «короткий роман». Можно согласиться: граница, никуда не денешься, зыбка. Но было бы легкомысленной ошибкой утверждать, что ее вообще нет.

В практике западная новелла еще в XIX веке весьма сильно отличалась от русского рассказа. «Новелла, — по мнению Гете, — ничто иное, как случившееся неслыханное происшествие». Новелла «раскрывается в свете сюжетной неожиданности, точно при вспышке магния, — считает А.Наумов и ниже продолжает: — Уменье подготовить такой эффект, удвоить восприятие — и есть то самое искусство рассказать новеллу». Чистая новелла почти не прижилась в русской литературе, а если употребляется, то имеет другое значение, нежели на Западе, более легковесное, что ли. Забегая вперед, отмечу, что Моррис прав: короткая романная форма идет скорее именно от новеллы, в которой, по традиции жанра, обычное сочетается с необыкновенным, даже с мистикой или фантазией, словом, с чем-то, что неожиданно для читателя резко меняет привычный уклад жизни героев.

Рассказ эпичен, он тяготеет к раме неторопливой повести, дела с которой обстоят сложнее. Немецкий термин *Erzählung* переводится в разных словарях то как рассказ, то как повесть. По Белинскому, рассказ — «низший и более легкий вид повести», что нынче выглядит некоторым упрощением. Ясно, что повесть длиннее рассказа, но к тому же она предполагает наличие большей социальной проблематики, хотя сюжет ее обычно незамысловат. И в рассказе, и в повести он «ослаблен», повествование «описательно».

Белинский называет повесть «распавшимся на части... романом» и даже просто «главой, вырванной из романа». Всё в русской литературе — разновидности повести, — такой взгляд привычен, но несколько устарел, как и трактовки романа опубликованные в советское время. Например: «Роман представляет индивидуальную и общественную жизнь как относительно самостоятельные, неслиянные, не исчерпывающие и не поглощающие друг друга,

хотя и взаимосвязанные стихии, и в этом состоит определяющая особенность его жанрового содержания». На мой взгляд, как раз наоборот: именно в романе две стихии сливаются. А уж рассмотрение героя романа в советской Литературной энциклопедии как стимулированное «общенациональными, государственными идеалами и целями» нынче звучит пародийно.

С XIX века роман приходит к «художественному анализу современного общества, раскрытию тех невидимых основ его, которые от него же самого скрыты привычкою и бессознательностью». Этот взгляд Белинского, похоже, еще в действии. Русский роман, благодаря Пушкину, слегка заиклился на теме «лишнего человека», которая, возможно, вовсе не была главной, но воссоздавалась искусственно Лермонтовым, Тургеневым, Гончаровым, частично по инерции успеха «Евгения Онегина». Роман двигался к своему величию в лице Достоевского и Толстого.

Традиционная вялая сюжетность литературы XIX века стала беспокоить авторов в начале XX. Выразил это в манифесте «Почему мы Серапионовы братья» Лев Лунц. Тема развита также в его статьях «О публицистике и идеологии» и «На Запад!». Он призывает к большей динамичности сюжета, к «хорошо организованной» прозе. Е.Замятин, патрон Серапионов, указывал на О'Генри и Уэллса, как отличных сюжетников. Требование остроты сюжета Лунц попытался реализовать в собственной новелле «Исходящая №37», где реальность смешена с фантазией. Нельзя, однако, сказать, что призыв Серапионов удался осуществить хотя бы им самим: может, генетика русской классики оказалась все-таки сильнее?

По Бахтину, романному герою присущ «избыток человечности», ситуация, когда личность и судьба ее неравновелики. Роману, в отличие от спокойной повести, нужна сильная интрига — пружина, которая держит всю драматургию происходящего. Традиционный подход, что в романе должен быть «треугольник», сегодня в американском литературоведении иногда заменяется другим: для сюжета романа нужна «зависть» (*mimetic desire*).

Так или иначе, степень драматизированности романа выше, чем рассказа и повести, а магнитное поле шире, иногда глобально. Повесть может расплываться, оставаться вне рамы, роман же замкнут, и события в нем самоисчерпаемы. Температура рассказа и повести ниже, повесть более открыта, фрагментарна, незавер-

шена. Рассказ изображает одно событие, роман — целую жизнь, а повесть — между ними. В теории была попытка разделить прозу на два жанра: рассказ и повесть в одном, новелла и роман в другом жанре. Французское *gйcit* и *conte* понимается как рассказ, повествование, история, даже сказка, также и немецкое *Erzdhlung* и *Geschichte*, а новелла и роман в обеих литературах отделены.

В принципе можно говорить о двух типах прозы (или авторской реализации прозы): прозе динамичной и статичной. Пушкинская и лермонтовская проза — динамичная, тургеневская; Достоевская, Толстовская — статичная. Но в обоих типах романная рама остается. Впрочем, сегодня это кажется некоторым вовсе необязательным. Уильям Тодд вынимает роман из рамы. Его формула: «Что такое роман? Роман — это теория человеческой жизни». А именитый литературовед Лайонел Триллинг просто уничтожает раму жанра обобщением: «Роман... есть вечный поиск реальности». О конце романа заявлял, например, Роб-Грийе, из последних — о смерти романа в XX веке — И. Бродский в 1989 году. После этого его публичного заявления у Сергея Довлатова был спор с Бродским, и я присутствовал. Довлатов сказал ему: «Тебе смерть романа нужна, чтобы утвердить приоритет поэзии». Бродский отшутился, ответив, что он имел в виду средний роман: «А великий роман ты еще накатаешь в оставшееся десятилетие». Лидерство романа в мировой литературе, слава Богу, никем не поколеблено.

Итак, что же остается в осадке после всех размышлений? И не проще ли объяснить читателю, что новелла и рассказ — это то, что читается за один присест, за полчаса, повесть — за вечер, после ужина и за чашкой чаю, а роман — за ночь с пятницы на субботу и дочитывается после завтрака? Остается вот что: желание прочитать роман за час-полтора.

ПОТРЕБНОСТЬ В КОРОТКОЙ РОМАННОЙ ФОРМЕ

В американской славистике применительно к русской литературе существует термин *Long Short Story* — свидетельствующий о потребности в жанре, который еще не сформировался. Виктор Террас отделяет большой русский роман от «*short novel (or romance) or Long Short story*». Хотя жанр «маленькие трагедии» и

приписывается Пушкину его исследователями, но трагедии действительно маленькие. Термин «маленький роман» в русском контексте тоже встречается. Заголовок «Маленький роман» дал своему ранее опубликованному рассказу «Старая песня» Бунин в 1926 году, — как название, а не как подзаголовок жанра, но рассказ так и остался рассказом. В советское время эстонский прозаик Энн Ветемаа назвал свою книгу «Маленькие романы» (в ней были типичные большие повести).

Short novel («Короткий роман»), по расплывчатой формуле Уилфрида Шид, «форма, которую великие мастера находят наиболее подходящей для наибольшего эффекта». А в пример приводятся Достоевский («Записки из подполья»), Чехов («Палата №6»), Томас Манн («Марио и магикан»), Стейнбек («Tortilla Flat»), Фолкнер («Старик»). «Литературная форма, которая предлагает такую драму, что может быть охвачена за один присест, — пишет Шид, — есть объем, который литература едва ли может сразу освоить». К этим коротким романам Шид причисляет и свой «The Blacking Factory». Впрочем, в другом месте той же книги Шид, забыв о сказанном ранее, говорит, что есть только три коротких романа («an only short novels ever written»), и это: «Медведь» Фолкнера, «Смерть в Венеции» Томаса Манна и «Аспернские документы» Генри Джеймса.

Возникают определенные сложности обозначения жанра короткого романа при переводе. Профессор Чикагского университета Хью Маклин, переводчик и комментатор Зощенко, назвал три произведения Зощенко «Short novels»: «О чем пел соловей», «Сирень цветет» и «Мишель Синягин», выделив жанр «короткие романы» в особую часть издания. На мой взгляд, «О чем пел соловей» — рассказ, «Сирень цветет» — повесть, а «Мишель Синягин» — короткий роман, или микророман, истоки которого глубже, чем это кажется на первый взгляд.

В.Топоров справедливо обнаруживает истоки русской классической и даже психологической прозы в «Бедной Лизе». Довольно большое количество действующих лиц, смена мест и времени действия, эпилог в конце — доказательства того, что в «Бедной Лизе» налицо короткая романная форма. Можно сказать, что русская проза началась с микроромана и, таким образом, сразу оказалась более современной, чем всегда считалось.

Компактная форма «Пиковой дамы» появилась не без влияния

Шатобриана, вдохнувшего ветер демократизации во Франции после абсолютизма. Не случайно Пушкин считал его «первым мастером своего дела». Как назвал жанр «Пиковой дамы» сам Пушкин неизвестно, поскольку рукопись не сохранилась. «Пиковая дама» разбита на шесть глав, каждая начинается с легкой руки пушкинистов с отдельной страницы с спуском, хотя главы длиной всего пару страниц. Произведение имеет эпилог (Заключение), но от всего этого большим романом не становится. Пушкинисты считают ее повестью, КЛЭ называет ее новеллой. Но представляется, что по многим параметрам название «микророман» для «Пиковой дамы» в самую пору.

«Шинель» Гоголя уложилась в рассказ, ну, если будете настаивать, то в повесть: мало действующих лиц, спокойное действие. Коротким романом, как иногда пишут, не является. Кстати, не из гоголевской «Шинели», представляется, вышла русская литература. Из нее вышел Достоевский, которому хотелось это, как говорил князь Вяземский по другому поводу, «генерализировать». Повторение мысли «Все мы вышли из...» делает честь Гоголю, но обедняет русскую литературу, корни которой питались, помимо «Шинели», множеством источников как западных, так и российских. Не случайно партийный заместитель в советском кино брежневского времени Шауро эффектно заявил: «Мы вышли не из «Шинели» Гоголя, а из бурки Чапаева». Применительно к официальной литературе советского времени это так и было, что еще раз подтверждает, что у литературы было много корней, крепких и гнилых.

Толстой не работал в короткой романной форме, хотя размеры его рассказов больше коротких романов. Евгений Замятин писал: «В романах Толстого бомба, упавши, прежде чем взорваться, всегда долго крутится на месте, и перед героем, как во сне, проходят не секунды, а месяцы, годы, жизнь». Я против бомб, но уж если дано такое сравнение, в микроромане бомба долго не может крутиться, время в тексте спрессовано. Лесков создает особый жанр «русской новеллы» — близкой короткому роману («Левша», «Леди Макбет» и др.). Тургенева считают, и справедливо, утвердителем русского рассказа. Но он же под влиянием французской новеллы создал великолепный микророман «Клара Милич», не назвав жанр, но соблюдая все его каноны.

Американская славистика рассматривает Чехова как импрес-

сиониста. Чехов не раз в письмах сообщал, что пишет роман, но большое романное полотно так и не состоялось. Кажется, Чехов страдает, что не написал в жизни ни одного романа. А короткую романную форму писатель, особенно в последние годы, создавал параллельно с работой над рассказами. «Даму с собачкой», «Мужиков», «Душечку», «Ионыча» можно считать микророманами. А в большинстве современных изданий Чехова это публикуется под рубрикой «Повести и рассказы».

КОМПЕНДИУМ РОМАНА ИЛИ МИКРОРОМАН?

Дейвид Лодж, американский романист и теоретик литературы, предлагает немецкий термин *Gestalt*, что значит форма, фигура. Смысл в том, что задуманная автором первоначальная форма произведения меняется в процессе изготовления и в конце может принять иной, неожиданный оборот, которого сам автор не предполагал. Стало быть, в нашем случае новелла и, если достаточно динамичный, то и рассказ, могут превратиться в микророманы по внутреннему закону развития прозы. Эва Кейген-Кенс из Индианского университета называет русский роман «телескопической формой». И продолжает: «Не мудро рассматривать рассказ только как переходную форму, как лабораторию для будущего романа... В русской прозе рассказ — одна из наиболее продуктивных моделей». Телескопический — очень важное и современно звучащее вспомогательное определение жанровой рамы. Мой микророман — вовсе не обязательно бывшая новелла, которая расширилась, разыгравшись во времени. История литературы знает случаи, когда написанный и даже опубликованный рассказ превращался потом в большое полотно, поскольку проза имеет телескопическую тенденцию. Но к микророману проблема «расширения» относится несколько не в большей степени, чем к традиционному роману. Короткая романная форма — это не компендиум, не конспект романа и не растянутая новелла, а именно полный, законченный микророман.

Анализ показывает, что микророман отличается от трех традиционных и весьма гибких жанров русской прозы (рассказ, повесть, роман) и от трех столь же гибких жанров американской прозы (*novella*, *short story*, *novel*) и имеет право существовать в обеих литературах. По содержанию микророман шире и социаль-

но глубже новеллы, хотя имеет ее черты. Отличен микророман и от повести.

В таком миниатюрном романе присутствует, однако, вся та фабула, которую требует от романа традиционные западная и русская литературные школы. *Vorgeschichte* (предистория) — один из трех немецких терминов, которые в двадцатых годах замаячили в русской теории. В качестве отступления от основной канвы повествования *Vorgeschichte* предлагает описание событий, случившихся с героями до рамок основного сюжета. Некоторые авторы в двадцатых-тридцатых (Томашевский и др.) полагали, опираясь на то, что в новелле или рассказе автор или герой ссылается на прошлое, что *Vorgeschichte* свойствен прежде всего новелле. Однако дело тут в глубине описания прошлого и вмешательстве этого прошлого в перемену судьбы героев. Исторически и по существу это неременная составная часть микроромана.

Nachgeschichte (постистория) традиционно предполагает сведения о том, что произойдет с участниками событий после завершения сюжета. Опять-таки традиция держит этот термин в теории классической новеллы. Однако *Nachgeschichte* наряду с эпилогом как бы исчерпывает сюжет, и это свойство микроромана.

Наконец *Zwischengeschichte* (между историями) — сообщение о происшедшем между событиями, также необходимое составляющее короткой романной формы.

В микроромане романский сюжет упакован в новеллическую оболочку. Макросодержание в микроформе. Если повесть — часть романа, как бы незаконченный или несостоявшийся роман, то микророман — роман законченный, состоявшийся, только короткий. Малый жанр важен. «Я предпочитаю рассказ потому, что только в рассказе, а не в романе, писатель достигает совершенства, — пишет Айзек Сингер. — Когда вы пишете роман, особенно большой роман, вы не в силах управлять собственным текстом, поскольку реально не можете сделать план на пятьсот страниц и осуществлять его. Зато всегда есть возможность сделать рассказ по-настоящему великолепным». Нужно ли добавлять, что короткая романная форма, или микророман, и есть тот компромисс между новеллой (или рассказом) и романом, в котором писатель, стремясь к совершенному роману, оставляет ситуацию под контролем?

Принято говорить о трех формах прозы: малой, средней и боль-

шой. Из трех форм к какой принадлежит микророман — к средней? или это малая форма с большим содержанием? или ко всем ли трем? Категоричность тут неуместна: ведь «Ионыч» Чехова охватывает целую жизнь, оставаясь рассказом, а роман «Улисс» Джойса — один день. Говоря о ремесле, упаковать требуемое романное содержание нужно в определенный объем. Классический микророман «Бедная Лиза» — это пять тысяч слов, «Пиковая дама» — около девяти с половиной тысяч, — 20 процентов объема среднего западного романа. Дело, конечно, не в количестве слов: искусство, по Честертону, начинается с самоограничения. Как говорит мой любимый Жюль Ренар, стиль без слюней.

Почему я выбрал «микророман», а не «минироман»? «Мисго» — греческое «маленький, короткий», «мини» — латинское «наименьший». Выбор слова не так-то уж важен, но дело еще в том, что термин «микророман» уже внедрился в литературную практику. Впервые мой термин появился в Самиздате.

Микророманы отражают судьбу непечатной российской литературы нашего века. В начале семидесятых прошлого века рукопись после урезаний и замены слова «микророманы» на «рассказы» была принята издательством «Советский писатель» в Москве. Вопрос о выпуске отпал, когда автора исключили из Союза писателей. Издательство сообщило, что «папку не могут найти». Позднее на допросах микророманы фигурировали как улики, назывались «грязной писаниной», «идеологической диверсией», «клеветой на наш строй».

Печатались микророманы на Западе в журналах «Время и мы», «Двадцать два», газете «Новый американец». В Нью-Йорке, в издательстве «Word», вышла (1991 год) первая в мире книга под названием «Микророманы». Книжки моих микророманов выходили в Польше, в Болгарии, в Турции. В Калифорнийском университете, например, с 1990 года в курсах по прозе 19-го и 20-го веков микророман введен в качестве полноправного жанра наравне с другими.

В российских толстых журналах отдельные микророманы мои давно печатали, но держали за пасынков. Редакторы первым делом вычеркивали слово «микророман» и вписывали «рассказ». Потом начали, кажется, привыкать.

Сегодняшняя реальность — компактный жанр, поспевающий за нашим быстротечным временем. Беллетристика с вымыслом,

пружинистой интригой, новым сюжетом. Интернет принимает микророман как жанр, уместный для чтения на компьютере. Русские американцы слушают мой «автомобильный микророман» на компакт-диске по пути на работу и обратно. Что бы ни предрекали скептики, никакие жанры не умирают. Как видим, в XXI веке новый жанр узаконился, заполнилась жанровая ниша, в которой замысел большого романа аккумулирует энергию на площади одного-двух печатных листов.

Дейвис, Калифорния.

**МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ У ПРАБАБУШКИ
И ДРУГИЕ МИКРОРОМАНЫ**

Дружников Ю.

Подписано в печать 05.02.2005 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Times». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,22.
Тираж 1000 экз. Заказ № 143

Типография «Искандер»
г. Алматы, ул. Фурманова 103
Тел. 72-62-68, 61-55-45



студентка Люба Сиделкина приехала учиться в Америку, в Калифорнийский университет, и за рулем ее остановил полицейский из Сакраменто Патрик Уоррен, который патрулирует на вертолете скоростную дорогу №80. Он вызвался научить Любу водить машину. Обучение окончилось в постели. Летящий полицейский Уоррен сам заплатил за Любу штраф, и они пошли под венец. События завертелись в день свадьбы, на которую съехались 600 полицейских. Провести медовый месяц молодой муж решил на Кавказе, где у Любы родственники. Тут-то и начинается авантюра американского полицейского в России. Ни единого слова в этой истории не придумано, ибо автор живет в Сакраменто и профессор того университета, Люба его студентка, а Патрик сосед.

«Медовый месяц у прабабушки, или Приключения генацвале из Сакраменто» - один из десяти микророманов Юрия Дружникова, то скептика, то циника, но с непременным чувством юмора. Впервые книга «Микророманы» вышла в Нью-Йорке. Проза изгнанного из Советского Союза писателя, запрещенного пятнадцать лет, стала известна на Западе, но теперь издается в России. Это романы «Ангелы на кончике иглы», «Виза в позавчера», «Суперженщина, или Золотая корона для моей girlfriend». Полемические книги Дружникова «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», «Русские мифы», «Узник России», «Дуэль с пушкинистами» продолжают вызывать огонь на себя.